

Носов Николай Николаевич.

Тайна на дне колодца



Часть первая

К СОЛНЦУ

Взрослые часто не понимают детей, потому что видят мир не таким, каким его видят дети. В окружающих предметах взрослые видят их назначение, видят то, чем эти предметы полезны для них. Дети же видят лицо вещей. Они не знают, откуда эти вещи явились, кто их сделал и сделал ли кто. Дети знают, что вещи существуют, что вещи живут, и относятся к вещам, как к живым существам.

Помню себя маленьким – четырехлетним, может быть, трехлетним. Вижу себя в окружении вещей, которые не только будят во мне какие-то мысли, но и действуют на мои чувства. Вот сутулый с выдвинутыми вперед плечами, огромный, чуть ли не до потолка ростом, шкаф. Он стоит, подпирая своей широкой, плоской спиной стену, погрузившись в какую-то свою глубокую, бесконечную думу. От него не много добьешься слов. Если он и произнесет что-нибудь на своем скрипучем, непонятном для меня языке, то лишь когда открывают дверцы, чтоб достать что-нибудь из одежды, хранящейся в его недрах.

По сравнению со шкафом буфет более легкомысленное и франтоватое существо. У него и цвет не такой серо-бурый, а с красноватым отливом. Верхние дверцы на его груди украшены деревянной резьбой, изображающей битых уток, подвешенных вниз головой. На нижних дверцах такие же резные изображения корзин, наполненных виноградными гроздьями. У него какая-то несуразная маленькая головка в виде полукруга с вырезанным по краям хитросплетением виноградных листьев, а на плечах торчат выточенные из дерева шпалеобразные фигуры, напоминающие собой что-то вроде двух огромных шахматных ферзей. Этот чудак буфет, наверно, воображает, что очень красиво, когда на плечах две такие нелепые штуковины.

Во всяком случае, он не такой задумчивый и не такой молчаливый, как шкаф. На его полках хранятся сахар, печенье, варенье в стеклянных банках (иногда даже конфеты!), соль,

масло, хрен, перец, горчица, чай, кофе, какао, консервы, чашки, блюда, стаканы, графины, бокалы, кофейная мельница (ее можно вертеть сколько угодно, когда никто не видит). В ящиках, которые выдвигаются из его живота, лежат ложки, вилки, ножи, салфетки и другие разные вещи. На нижних полках – стопы тарелок, розеток, соусницы, селедочницы, суповые миски, огромные блюда, медные подсвечники, чугунная ступка – в общем, вещи все нужные, которые постоянно приходится доставать, отчего буфет то и дело говорливо скрипит, шипит, сипит, визжит, хрипит, крякает всеми своими дверцами и ящиками.

Словом, он существо хотя и нелепое, но вполне компанейское, чего не скажешь о креслах... Вот уж!.. В своих белых полотняных чехлах, из-под которых, точно из-под платьев, торчат только кончики ножек, они похожи на каких-то чопорных пожилых теток. Аккуратно протянув согнутые в локтях руки вдоль бедер с таким расчетом, чтоб была соблюдена строгая параллельность, они чинно сидят по углам комнаты, полуобернувшись друг к дружке, и молчат. Молчат напряженно, упрямо, сосредоточенно. Чувствуется, что им до зарезу хочется поговорить, посудачить о том о сем, да неохота показывать, что их могут интересовать такие пустяки, как праздные разговоры. Мне кажется, что, как только я уйду из комнаты, они сейчас же принимаются болтать о всякой всячине: их словно прорывает от длительного молчания. Но стоит мне возвратиться – и они тотчас прикусывают язык, ручки тотчас – вдоль бедер, и опять тишина, будто никакого разговора и не было.

В их обществе я чувствую себя лишним, ненужным, стесняющим: чем-то вроде гвоздя в сапоге. Ни на минуту не оставляет мысль, что эти старые ханжи только и ждут, чтоб я поскорей выкатился за дверь и не мешал им изливать друг перед дружкой душу или перемывать косточки своим знакомым.

Диван, который стоит вдоль стены, тоже из их породы, но характер у него другой. Он смешит меня тем, что старается быть похожим на кресла. Пыжится, напускает на себя важность, а ничего не выходит. Ему и невдомек, что нет смысла выпячивать

грудь и выставляя напоказ всем живот, которые до такой степени разрослись вширь, что уже ни на грудь, ни на живот непохожи. Не помогает ему и чехол, который он напялил на себя. Чехол до того широк, что уже потерял всякое сходство с платьем. А зачем ему платье? Он же мужчина! Диван, однако ж, не замечает всей смехотворности своего положения и, подражая креслам, тоже аккуратненько положил ручки вдоль бедер...

Но, может быть, он просто передразнивает кресла? Может быть, он подшучивает над ними? На самом деле его, может быть, распирает от смеха и от этого он такой надутый? Как все толстяки, диван – добродушное существо, а все, у кого добродушный характер, любят пошутить, посмеяться. Только какой же смех может быть в присутствии этих чванливых кресел! Если мне случится попрыгать по дивану, он с удовольствием поскрипит пружинами, маскируя этими звуками свой смех. Таким образом, и сено цело и овцы сыты: и посмеялся чуточку и не разозлил никого. Ну, мы-то с диваном понимаем друг друга. Только мне, сказать по правде, не то что прыгать, но даже сидеть на нем, точно так же как и на креслах, нельзя: могу чехлы испачкать.

Да это не очень-то мне и нужно. Подумаешь! У меня больше дружбы со стульями. Хотя они тоже чем-то смахивают на людей (и ножки у них и спинки), но они не пыжаты из всех сил, стараясь изображать из себя каких-то недотрог. Словом, ребята они вполне свойские, с которыми можно, как говорится, запросто, без особенных церемоний.

А вот самая близкая для меня вещь в мире вещей – моя кровать. На ее плоских железных спинках, выкрашенных голубой краской, – две замечательные овальные картинки. На картинке, которая у меня в ногах и на которую обычно устремлен мой взор, когда я лежу, изображены ветряная мельница, вдали – деревенские домики среди кудрявых лип и березок, а впереди – зеленая лужайка и поблескивающий на солнце ручей. Я люблю смотреть на этот “романтический” пейзаж... Вернее сказать, любил бы, если бы изготовители кровати не переусердствовали в своем стремлении усладить жизнь ребенка и не украсили верхушки обеих спинок

литыми или штампованными из металла изображениями головы какого-то чудовищного старика, сплошь заросшего волнистыми змеевидными волосами, как у мифической Горгоны, при взгляде на которую люди, как известно, каменели от страха. Приоткрыв в какой-то издевательской усмешке черную дыру рта, заросшего вокруг кольцами бороды и усов, старик уставился на меня своими жесткими, неподвижными глазами, прячущимися в завихрениях косматых бровей.

Даже днем при взгляде на это, с позволения сказать, украшение меня охватывает неприятное, беспокойное чувство страха. Но днем я могу убежать от него в другую комнату, во двор и постараться выбросить его из головы. Но вот наступает ночь. Приходится ложиться спать. Я забираюсь в кровать, стараясь не глядеть в сторону пугающего меня изображения старика. Но не глядеть на него я не могу. Его лик словно притягивает к себе мои взоры. Я словно хочу разгадать, зачем он так настойчиво на меня смотрит, чего ему от меня надо, что он задумал против меня.

Гасят свет, и комната погружается во мрак, только окна, которые до этого были темные, даже черные, моментально становятся светлыми. Я гляжу на окно, на лицо окна. Верхняя часть оконной рамы – это лоб. Под ним две форточки – глаза (бывают и одноглазые). Нижние открывающиеся створки – щеки, между которыми длинный, от бровей до самого подбородка, нос. Рядом – другое такое же окно-лицо. Оба окна выжидательно глядят на меня, словно думают:

“Ну-ка, посмотрим, голубчик, что ты теперь будешь делать”.

Мрак постепенно рассеивается, и я снова вижу страшного старика. В темноте вид у него еще более злобный. Я накрываюсь с головой одеялом и пытаюсь поскорее заснуть. Мое воображение разыгрывается. Мне чудится, что старик уже сошел со своего места и неслышно подкрадывается, чтобы схватить меня. Время идет. Никто меня не хватает. Наконец спасительный сон незаметно берет меня на руки и уносит в свое волшебное

царство. Я вижу замечательные, фантастические, счастливые сны. Просыпаюсь утром в комнате, залитой солнечным светом. Наскоро одевшись и бросив взгляд в сторону проклятого старика, я бегу во двор к цветам и деревьям, к траве, к солнцу, к небу, к радости. Народившийся новый день представляется мне нескончаемо длинным, и предстоящая очередная вечерняя встреча с мифическим стариком видится в таком отдаленном будущем, что уже не тревожит меня.

ВЕЛИКАН

Есть человек, которого я очень люблю. Это мой отец. Какой он? Я никогда не задавался этим вопросом и не берусь его описывать. Он такой как есть, каким должен быть и иным быть просто не может. Мне все нравится в нем: и лицо и голос. Он всегда ласков со мной и часто называет меня уменьшительными именами. Когда мы возвращаемся с прогулки и я шагаю из последних сил чуть не падая от усталости, он подбадривает меня:

– Ну, шагай, Кока, шагай! Смотри, совсем немного до дома осталось. Ты у меня молодчина!

Единственное, что я могу сказать о нем, это то, что он очень большой. Его туфли, которые он любит называть в шутку “мои скороходы” (производства обувной фабрики “Скороход”), каждый раз приводят меня в изумление своей величиной, особенно когда я вижу их отдельно от него, то есть когда он снимает их. Иногда я пробую влезть в эти скороходы и походить в них. Несоизмеримость моих ног с этой гигантской обувью особенно сильно действует на мое воображение, и мой отец представляется мне каким-то фантастическим существом.

Мне нравится, когда мой добрый великан берет меня руками под мышки и поднимает над своей головой. Я вижу мир не таким, каким вижу его обычно, то есть с высоты своего ничтожного роста. Мне начинает казаться, что я тоже вдруг стал великаном, и все мое существо наполняется гордостью. Если же отцу вздумается подбросить меня кверху, я громко смеюсь, испытывая

захватывающее чувство радости, смешанное со страхом. Но я люблю испытывать это чувство и прошу, чтоб он подбрасывал меня еще и еще.

Я не знаю, что делает мой великан на нашей планете: каково, так сказать, его жизненное поприще и чем он снискивает пропитание для себя и своей семьи. По моим представлениям, вся человеческая деятельность сводится к трем вещам: 1) бегать (можно ходить), 2) видеть и 3) есть, то есть потреблять продукты питания. Откуда берутся продукты питания – это мне предстоит узнать в будущем, а пока я знаю лишь, что время от времени великан уезжает, и я не вижу его иногда по нескольку дней. Я скучаю по нем и спрашиваю мать:

– Когда папа приедет?

Если мать скажет: “Вечером” или “Завтра”, это понятно мне. Вечером – это значит, когда кончится день. А завтра – это когда кончится день и пройдет еще ночь. Но если мать говорит: “Через пять дней”, как это понять? Ведь я не умею еще считать.

– Это будет в воскресенье, – объясняет мать, видя, что я не понимаю.

– А когда воскресенье? – задаю вопрос я.

– Воскресенье через пять дней.

– А сколько это пять дней?

Мать пытается наглядно объяснить мне значение этой числовой величины.

– Ну сколько у тебя на руке пальцев? – спрашивает она.

Я смотрю на свою руку с широко растопыренными пальцами и говорю:

– Много.

– У тебя пять пальцев, – говорит мать и, загибая один за

другим пальцы на моей руке, считает: – Один день, два дня, три дня...

Наконец все пальцы загнуты, и я с недоумением смотрю на свою руку, стиснутую в кулак. Видя, что я ничего не понял, мать подводит меня к висящему на стене календарю.

– Сегодня какой день? Вторник, – говорит она и начинает загибать кверху один за другим листки. – Вот смотри: пройдет вторник, за ним среда, потом четверг, пятница, суббота... а вот видишь на листочке красная цифра – это и есть воскресенье. Мы будем каждый день отрывать по листочку, и, когда дойдем до этого листка с красной цифрой, приедет папа.

– У, это долго, если каждый день по листочку! – говорю я. – Давай оторвем все сразу.

Мать невольно улыбается и начинает объяснять мне, почему нельзя сразу, но я что-то не очень понимаю, какая может быть связь между этими бумажонками на стене и приездом отца.

Вечером, ложась спать, я долго обдумываю этот вопрос. Наутро встаю и, еще не одевшись, отрываю от календаря один за другим листочки, пока не появляется листок с красной цифрой.

– Вот, сегодня папа приедет, – говорю я матери, которая застаёт меня за этим занятием, и показываю пальцем на красную цифру.

– Глупый! – говорит мать. – Я ведь тебе объяснила. Значит, ты ничего не понял! Один листок надо было оторвать.

– А если я хочу, чтоб папа приехал?

– Мало чего ты хочешь. Разве пройдут дни, оттого что ты оторвал листочки?

– Ну, я не знаю, как это там получается, – развожу я руками. – Может быть, и пройдут.

– “Может быть”, “может быть”! – передразнивает меня мать. – Слушал бы, что говорят старшие. Давай одевайся.

Я начинаю натягивать чулки, которые вечно норовят вывернуться кверху пяткой. Мать поправляет чулок на моей ноге. То, что казалось мне трудным и сложным, так легко и просто получается у нее. Я люблю, когда мать помогает мне одеться. Сквозь чулок, даже сквозь ботинок, когда она завязывает шнурки, я чувствую тепло ее ласковых рук.

Через полчаса я сижу за столом на застекленной веранде и пью чай с молоком. За окнами на ярком солнышке мельтешат своими серебристыми листочками березы, порхают бабочки, жужжат суежливые мухи разных пород и калибров, плавно проносятся деловитые пчелы. Словом, вокруг много всякой живности: тут и глазастые голубые стрекозы с трепетными прозрачными крылышками, и мохнатые добродушные шмели, и злые полосатые осы. Для меня особенное удовольствие – увидеть стрекозу. А ос я боюсь. Мне кажется, что у них только и мысли, как бы залететь на веранду и ужалить меня.

Сквозь окна и открытую настежь дверь мне виден почти весь участок, на котором стоит наш дом. Перед самым домом – клумбы с цветами. Я уже знаю названия многих из них. Вот пахучие, пылающие, как огоньки, настурции. Словно озорные мальчишки, они карабкаются по толстым, кривым, узловатым стеблям, прячутся под большими круглыми листьями, похожими на зеленые зонтики. Вот маргаритки. Они как маленькие примерные девочки: чистенькие, аккуратненькие, немного застенчивые, стоят на своих тонких ножках и, склонив набок головки, о чем-то секретничают между собой. А вот анютины глазки – гордые красавицы. Разодевшись в яркие нарядные платья, они словно собрались на бал.

Но мои самые любимые – резеда: скромные, крошечные, неприметные цветочки с тонким, неповторимым, на всю жизнь запоминающимся запахом.

Если встать ночью, когда все спят, то на клумбах можно увидеть гномиков, то есть маленьких человечков ростом с палец. Они приходят сюда из леса и нюхают резеду. Известно, что гномики ничего не едят и питаются запахом цветов. На головах у них красные остроконечные шапочки, а в руках – крошечные фонарики, которыми они освещают себе путь. Ночью мне надо спать, поэтому живых гномиков я пока не видал, но видал их на картинке, которую показывала мне мама.

Позади клумб – зеленая поляна, пестреющая беленькими ромашками, лиловыми колокольчиками, синими васильками и седыми, пушистоголовыми одуванчиками. За поляной – лес (десятка два молодых березок и ольх). Здесь живут мои милые подружки – безмятежно-спокойные, мечтательные фиалки и задумчиво-грустные ландыши (мне всегда ландыши почему-то кажутся грустными, может быть, потому, что выбирают места поединеннее, потемнее).

За лесом – лужайка, поросшая густым мхом и бледно-зелеными чешуйчатыми болотными хвощами (место здесь сыроватое). Дальше – серый, потемневший от времени деревянный забор с посаженными вдоль него запашистыми и липучими бальзаминовыми тополями. За забором – улица. Называется почему-то “Первая линия”.

Наклонившись над блюдцем, я пью чай и болтаю под столом ногами. Хотя мне не раз твердили, что, сидя за столом, болтать ногами нельзя, я неизменно нарушаю это установление. Дело в том, что меня неудержимо тянет к движению, к перемещению в пространстве. Ноги мои хотят бегать. Но поскольку пить чай и бегать в одно и то же время нельзя, то ноги мои просто болтаются, изображая бег, а бегают вместо них глаза. Скользнув по поверхности стола, они выскакивают за дверь и бегут по посыпанной песком дорожке, которая ведет через весь участок к калитке...

И тут вдруг случается то, что никак не должно было случиться. Калитка неожиданно открывается, и в ней появляется мой великан. Я хочу крикнуть: “Папа приехал!” – но вместо этого от

распирающей меня радости фыркаю прямо в блюдце, и весь чай с молоком выплескивается мне в лицо, попадая даже за уши. Выскочив из-за стола, я бегу по дорожке... нет, не бегу, а лечу над дорожкой, как шмель, как пчела... нет, как муха (мухи быстрее летают).

– Гоп!

С этим возгласом отец ловит меня, иначе я угодил бы ему головой прямо в живот. Минута – и я въезжаю в дом, сидя у него на плече.

– Вот! – торжественно объявляю я матери. – А ты говорила – глупый!

Отец рассказывает матери, что где-то что-то не то состоялось, не то не состоялось, поэтому он вернулся раньше, чем было намечено.

Мать рассказывает отцу про случай с календарем.

Весело хохочет отец. Спрашивает:

– Ты, может быть, думаешь, я на самом деле приехал потому, что ты календарь испортил? Это совпадение. Знаешь, что такое совпадение?

Он начинает объяснять мне, что такое совпадение. Я, конечно, не могу во всей полноте понять значение этого слова, но, когда впоследствии произошло еще одно совпадение, я уже знал, что это за штука такая, хотя кончилось в тот раз совпадение уже не радостью, а слезами.

НЕПОПРАВИМАЯ БЕДА

Встречаются люди, которые любят донимать детишек вопросами вроде: “Скажи, ты кого больше любишь, маму или папу?”

Они не понимают, что ребенку подчас трудно разобраться в своих чувствах, что ему к тому же не хочется обидеть мать или отца признанием, что он кого-то из них любит меньше. И невдомек

этим людям, что любовь не какое-то однозначное, измеряемое лишь количественно чувство, где все решается вопросом: больше – меньше, сильнее – слабее. Они не думают, что по-разному чувство любви проявляется к матери или отцу, к брату или сестре, к близкому родственнику или просто знакомому человеку, что многое здесь зависит не только от человека, которого любят, но и от человека, который любит, от сложившихся взаимоотношений, обстоятельств и прочее.

Отца я вижу реже, чем мать, поэтому и чувства здесь, особенно при встречах, проявляются более бурно: отец схватит на руки, обнимет, поцелует... С матерью я обычно не разлучаюсь. Она всегда рядом или где-нибудь поблизости. Поэтому тут нет ни бурных встреч, ни объятий, ни поцелуев и нежных слов. Если мне и достаются иногда поцелуи, то только по праздникам, когда, по обычаю, полагается поздравить друг друга или когда я заболею.

Вместе с тем вопрос, кого я больше люблю, кажется мне диким, непонятным, дурацким. Да кого же я могу любить больше матери? Да я разве люблю ее? Нет ничего, с чем можно было бы сравнить мое чувство к ней. Она – моя ненаглядная. Без нее я не мыслю своего существования.

Помню: уже я в постели. Мать что-то делает, бесшумно передвигаясь по комнате. Кажется, она раскраивает материю, расстеленную на столе, собираясь что-то из нее шить. Чтоб разогнать сон, который уже давно одолевает меня, я напеваю какую-то сейчас уже позабытую песенку, а глаза мои неотступно следят за матерью.

– Почему ты не спишь? – спрашивает мать. – Пора уже спать.

– Еще не хочется, – говорю я.

И, конечно же, вру. Я бы должен сказать:

“Мне ужасно хочется спать, да ведь если я усну, то уже не буду видеть мою милую мамочку. Вот я и стараюсь наглядеться на тебя досыта, пока не одолел сон”.

И тогда бы она сказала:

“Спи, родной! Завтра придет новый день, ты проснешься раненько и с утра можешь смотреть на свою ненаглядную. Смотри хоть весь день. Но тебе ведь скоро наскучит это, и ты убежишь гулять со своими друзьями... А когда вырастешь, тебе захочется повидать свет, и ты уедешь далеко-далеко. Вспомнишь ли ты тогда о своей мамочке? Приедешь ли хоть ненадолго повидаться с ней? Пришлешь ли о себе весточку?”

И я бы сказал:

“Я никогда не захочу расстаться с тобой, ненаглядная! А если поеду куда-нибудь, то и тебя заберу с собой. Мы всегда будем вместе”.

И тогда она обняла бы меня и сказала:

“Ты будешь хороший сын! Ты будешь хороший человек! Всегда люби свою мамочку. Нет ничего на свете выше и святее этой любви!”

Ничего этого не было сказано, и я очень жалею о том, потому что теперь этого уже не скажешь.

Если мое чувство к отцу – это горный поток, который бурлит, и плещет, и бьется о берега, то чувство к матери – широкая, спокойно несущая свои воды река. Течения ее не замечаешь. Но если на пути этого спокойствия возникнет преграда, то получится... Ниагара!

Отец уезжает часто. Я уже привык к этому и переношу его отсутствие беспечно. Но однажды (сейчас уже не помню, по какой надобности) уехала мать. Великий боже, что происходило со мной! Дом опустел без нее, словно из него вынесли все и остались одни голые, чужие, холодные стены. Сердце мое опустело и сжалось от боли. Солнце погасло на небе. Жизнь потеряла смысл. Слезы душили меня весь день. Более полувека прошло с тех пор, а я помню все, как будто это происходило вчера. На кухне Настя (домработница) стирает белье у

раскрытого настежь окна, а я в изнеможении от слез лежу во дворе под окном на голой земле, подложив под голову старый, прохудившийся голубой эмалированный тазик, перевернув его кверху дном. Настя, стирая, поет во весь голос какую-то нескончаемую заунывную песню, а я рыдаю под эту песню и удивляюсь лишь одному: откуда во мне, таком маленьком, такая огромная боль, такая исполинская нечеловеческая тоска. Вот только не помню, чем все это кончилось. Не помню радости встречи с матерью. Наверно, я просто уснул, прижавшись разгоряченной щекой к холодному тазу.

Пусть говорят психологи и физиологи, что дети и старики часто плачут оттого просто, что очень слезливы, оттого, дескать, что слезные железы у них легко выделяют влагу. Я-то знаю, что это не так! Они плачут потому, что у них еще нет (или уже нет) сил справляться с чувствами, которые внушает им эта непонятная и неумолимая жизнь. Страдание от этого не уменьшается, а лишь увеличивается.

Я уже знаю, что мы живем в Ирпене. А Ирпень – это железнодорожная станция в двадцати пяти километрах от Киева по теперешнему счету (раньше считали на версты). Местность здесь красивейшая: есть лес и река, поэтому у многих киевлян в Ирпене дачи. Но мы, как и другие ирпенские жители, живем здесь постоянно, то есть и лето и зиму.

За забором, вдоль которого тянется дорожка от нашего дома к калитке, – дача Капийковских. Дом Капийковских – словно средневековый замок с какими-то затейливыми террасками, балкончиками, мезонинчиками, островерхими башенками со шпилями и слуховыми окнами на крышах. Наш маленький беленький домик с зеленой двускатной крышей, без всяких прикрас, кажется чересчур простеньким и даже бедным по сравнению с этим роскошным “замком”, но, если бы мне предложили, я бы не согласился поменяться с Капийковскими домами, потому что наш дом – родной, а дом Капийковского для меня чужой. Мне в нем было бы скучно и неуютно, я чувствовал бы себя стесненно, как в присутствии чужого, несимпатичного мне человека.

Усадьба Капийковских обжитая, ухоженная; вся в прудах с бетонированными берегами и прозрачной водой, сквозь которую хорошо видны плавающие рыбы. Вокруг растут яблони, груши, сливы, вишни, а из бесполезных, то есть не плодовых, деревьев – акации.

Позади усадьбы Капийковских в просветах между деревьями видна железнодорожная насыпь. С крыльца нашего дома мне хорошо видно, как по железной дороге проносятся поезда. Для меня большое удовольствие увидеть поезд. А самое радостное событие – это когда мне дарят на праздник игрушечный паровозик с вагончиками. Жаль только, что в этом игрушечном железнодорожном составе всего лишь два вагончика. Но у меня план: когда-нибудь мне подарят еще паровозик с двумя вагончиками, я прицеплю все вагончики к одному паровозу, и получится как настоящий поезд.

Этому плану, однако, не суждено осуществиться. И не потому вовсе, что мне не дарят больше игрушечных поездов. Мне дарят, но они у меня не живут почему-то. Я их вечно ломаю, и к тому времени, когда мне дарят новый железнодорожный состав, от старого остается лишь одно воспоминание. Конечно, я не просто ломаю игрушки с целью уничтожения. Я их разбираю на отдельные детали, после чего собираю эти детали вместе, потом опять разбираю и опять собираю. И так до тех пор, пока не обломаются железки, с помощью которых детали держатся друг за дружку, после чего их уже не соединишь и остается лишь выбросить. Я, конечно, понимаю, к чему ведет это разбирание и собирание, но у меня какие-то непослушные руки. Я никак не могу заставить их не делать того, что им хочется.

Но вот наконец я снова (уже в который раз) счастливый обладатель любимой моей игрушки. Я лежу посреди комнаты и вожу по полу паровозик с прицепленными к нему двумя вагончиками. Когда лежишь, паровозик с вагончиками видны не сверху, а сбоку и выглядят совсем как 진짜 поезд. Мать примеривает перед зеркалом новую блузку или платье (сегодня какой-то праздник, мы ждем гостей или сами собираемся к кому-то в

гости, сейчас уже не помню точно). Я как зачарованный смотрю на свой поезд и думаю о том, что теперь уж ни за что не стану ломать игрушку; а когда мне подарят еще такую же, вагонов станет вдвое больше и поезд будет длинней, а потом мне подарят еще – поезд станет еще длинней. Он растет у меня на глазах. Я уже вижу, как он мчится по стальным рельсам через поля и леса. Машинист в своей будке поворачивает рычаг, чтоб увеличить скорость, кочегар бросает лопатой черный уголь в паровозную топку. Сизый дым валит из паровозной трубы. Белый пар с шипением вырывается из-под колес. Веселые пассажиры выглядывают в окна вагонов и машут мне руками. Слышен паровозный гудок. Гремят по рельсам колеса...

Кррак!

Мать отошла от зеркала, сделав шаг назад, и наступила ногой на поезд. Весь состав – и паровоз и вагончики – оказался сплюснутым в лепешку. Колеса отломались. Одно из них покатилося по полу далеко в сторону.

Я обомлел при виде такой катастрофы.

– Вот ты вечно бросаешь на полу свои игрушки! – с укоризной сказала мать. – Я и не заметила, что здесь твой поезд.

Только тут я понял всю непоправимость случившегося, и слезы брызнули из моих глаз.

– Ну, не реви, не реви. Я скажу папе, чтоб купил новый.

Да! Это еще жди, чтоб купил! И потом: когда купит новый, не будет старого, и опять состав получится только из двух вагончиков. Надо же было случиться такому как раз тогда, когда я дал себе клятву беречь игрушку, не ломать ее! Я еще громче заплакал. Ведь погиб не просто паровозик с двумя вагончиками. Погибла мечта собрать побольше вагонов, чтоб вышел настоящий железнодорожный состав.

– Вот ревет! – теряя терпение, сказала мать. – Небось если бы

мать умерла, не плакал бы так.

Услышав это, я начинаю рыдать с удвоенной силой. Новое горе сдавило грудь. Ах, милая мамочка, зачем ты сказала такие слова! Теперь меня неотвязно будет преследовать мысль, что ты вдруг умрешь и я никогда-никогда не увижу свою ненаглядную.

— Ишь что делается! — качает головой мать. — И все это из-за какого-то паровозика! Из-за пустой игрушки!

“Нет! Не из-за игрушки! — хочется крикнуть мне. — Как ты могла подумать, что какая-то игрушка мне дороже тебя! Пусть соберут все игрушки со всего света, разве я возьму их, если для этого нужно будет расстаться с тобой? Что мне весь мир без тебя!”

Мать иронически усмехается, и я чувствую, что она даже не знает, какую рану нанесла моей душе. Рана эта не заживет никогда.

ЗАЧЕМ Я ЭТО СДЕЛАЛ?

А вообще-то я не один. Нас двое. Я и мой старший брат. Он старше меня на полтора года и представляет собой самостоятельную жизненную единицу, способную проявлять свою волю, принимать и отменять собственные решения, знающую, что, где, как и когда надо делать. Я же при нем нечто вроде тени, отбрасываемой в солнечный день предметом. Иными словами, я делаю то, что делает он, и бегу вслед за ним, если ему вдруг вздумается куда-нибудь бежать.

Вот мы вдвоем играем во дворе, отбивая палками штукатурку от стены нашего дома. Зачем нужно отбивать штукатурку, да еще от собственного дома, я не знаю, но меня занимает этот процесс, в результате которого из-под осыпающейся известки все больше обнажается деревянная стенка, обитая дранкой. Может быть, в этом действии проявляется познавательный инстинкт (интересно узнать, что там, под штукатуркой, и из чего сделан дом). Удовлетворение же инстинкта, как известно, всегда сопровождается переживанием положительной эмоции, то есть,

попросту говоря, доставляет удовольствие.

Но вот брату наскучивает это занятие. Он закидывает палку на крышу дома и, не сказав ни слова, бросается куда-то бежать. Я тоже кидаю палку на крышу. Но палка не долетает до крыши, а, ударившись о стенку дома, отскакивает и летит прямо в меня. Повернувшись, я удираю от палки, но она догоняет меня и стучает по спине. Не обращая на это особенного внимания, я бегу вслед за братом, путаясь ногами в высокой траве.

Нужно сказать, что мой брат – особенный человек. Он не любит бегать или ходить по дорожкам. Если уж он бежит, то бежит по прямой линии: трава так трава, лужа так лужа, грязь так грязь...

Преодолев травяные пампасы, мы мчимся через лесной массив, причем брат попутно сбивает ногами шляпки с попадающихся поганок и мухоморов, после чего преодолеваем болотистую местность, заросшую густым мхом, в котором буквально тонут ноги, и оказываемся перед забором. Брат и тут не сворачивает в сторону, чтобы выйти на улицу через калитку. Он лезет прямо через забор. Я лезу за ним, хотя поначалу препятствие это мне кажется неодолимым. Загнав под ногти пару заноз и оцарапав ногу, я взбираюсь на вершину забора, откуда прыгаю уже с другой стороны, но, не удержавшись на ногах, падаю. Ничего! Достижение все же есть. Я тоже могу лазить через заборы!

Брат между тем бежит дальше. Поднявшись, я бегу за ним. На пути канава. Брат с разгона ловко взвивается в воздух – вот он уже на другом берегу канавы. Я тоже взвиваюсь в воздух и плюхаюсь точно посередине канавы, увязая по пояс в грязной, рыжевато-коричневой воде. Цепляясь руками за траву, растущую по берегам канавы, я выкарабкиваюсь из засасывающей меня трясины и бегу, стараясь догнать брата, который уже далеко впереди.

Наконец мы у цели нашего путешествия. Обогнув усадьбу Капийковского с обратной стороны, мы оказываемся на берегу болота, тянущегося вдоль подножия железнодорожной насыпи. Над

спокойной поверхностью болотной воды, затянутой местами ряской, возвышаются зеленые кочки и островки с растущими на них тонконогими, худосочными березками и ольхами. У некоторых деревьев стволы торчат прямо из воды. Берега болота усеяны голубоглазыми незабудками. Я уже давно заметил, что эти миленькие цветочки любят сырые места.

Однако не незабудки влекут сюда брата, а нечто иное: лягушки. Их тут полно. Настоящее лягушиное царство. Брат очень ловко умеет справляться с ними. Зажав пойманную лягушку в кулаке, он высоко поднимает руку кверху и с силой бросает лягушку на землю. Бац! Лягушка остается лежать без движения.

Не знаю, сам ли он придумал этот фокус с лягушками или видел, как это делали другие ребята, но я с завистью смотрю на его лягушачьи подвиги. Мне тоже хочется поймать хоть одну лягушку, но для этого у меня не хватает ловкости. Не успею я подбежать к высунувшейся из воды лягушке, как она тут же ныряет обратно под воду и прячется от меня в тине.

Постепенно мне становится ясно, что моя тактика не годится. Надо не бегать от лягушки к лягушке, а спокойно сидеть на берегу и, как только поблизости из-под воды высунется лягушка, тут же хватать ее.

Я приседаю на корточки у края болота и терпеливо жду. Скоро мое терпение вознаграждается. Прямо передо мной над поверхностью воды появляется лягушачья голова с выпученными, глядящими прямо в небо глазами. Я уже готов протянуть руку, но медлю, боясь спугнуть добычу. В это время лягушка начинает энергично шевелить под водой лапами, поворачивается головой прямо к солнцу и, зажмурив глаза, громко говорит:

“Квак!”

Тут-то я и схватил ее. Какое счастье! Все-таки я своего добился. Взмах руки. Бац! Лягушка остается на земле без движения.

Осуществилась моя мечта... Но что это? Какое-то неприятное чувство овладевает мной. Я уже не ощущаю почему-то прилива счастья, которое только что охватывало меня.

Если бы я был способен в те годы формулировать свои мысли, то, наверно, выразил бы их в таких простых словах:

“Зачем я это сделал?”

Впоследствии, как в детстве, так и уже будучи взрослым, я не раз убеждался, что мы часто сами не знаем, в чем наше благо. Нам кажутся заманчивыми такие вещи, которых мы не стали бы делать, если бы знали, какие чувства будем испытывать, после того как наше стремление осуществится. Но ведь чтобы испытать эти чувства, надо, чтоб стремления осуществились, чтобы дело уже было сделано, чтобы слова, которых уже не вернешь, были сказаны...

У брата между тем новая идея.

— У тебя, кажется, есть денежки? — говорит он и, сунув руку ко мне в карман, достает два или три медных кружочка с выбитыми на них непонятными для меня обозначениями и буквами.

Такие кружочки, независимо от их размеров, носят у меня название денежек или копеек, но в чем назначение этих денежек, я не знаю. По моим представлениям, это предметы скучные и никакой ценности не представляющие. По сравнению с ними пуговицы куда полезнее и интереснее: их можно к чему-нибудь пришить, а многие из них даже очень красивы.

Зажав в кулаке монетки и не сказав ни слова, брат начинает бежать. Я, разумеется, бегу за ним. На этот раз цель нашего бега — бакалейная лавочка немца Шеккера на соседней улице. Прибежав в лавочку, брат протягивает стоящему за стойкой Шеккеру зажатые в кулаке монетки и просит дать ему сдобных булочек, именуемых в просторечии плюшками. Бросив полученные монетки в ящик под стойкой, Шеккер заворачивает в розовую бумажку несколько булочек и отдает брату.

Выйдя из лавочки и усевшись неподалеку на пустыре под большим дубом, мы начинаем уплетать с аппетитом плюшки, которые после продолжительной беготни на чистом воздухе кажутся особенно вкусными. Меня, однако, интересует вопрос, зачем брат отдал Шеккеру монетки, и я спрашиваю его об этом.

– Что ж ты хотел, чтоб он дал нам плюшки без денег? Он не дурак, – отвечает брат.

– А если б ты ему не отдал копеечки, он бы не дал тебе плюшки? – спрашиваю я.

– Какой же дурак станет давать тебе плюшки даром? – отвечает брат.

– А зачем Шеккеру деньги? – недоумеваю я.

– Ты дурак, – говорит брат. – Деньги каждому дураку нужны, потому что каждый дурак может купить за деньги, что ему надо.

Постепенно мне становится ясно, что никакой дурак никакому дураку ничего не даст, если тот ему не даст взамен денег. Это была для меня новость. Открытие! Я начинаю понимать, что эти скучные кружочки, которые я ни во что не ставил, имеют какое-то магическое свойство, в силу которого их можно обменивать на все, что тебе захочется.

В это время я замечаю, что брат, не доев булочку до конца, бросает оставшийся кусочек в траву и принимается за другую. Меня удивляет, как можно выбрасывать такую вкусную вещь, и я спрашиваю брата, зачем он это делает. Брат объясняет, что он брал руками лягушек, а теперь, чтоб не испоганить всю булочку, держит ее за кончик и, когда булочку съест, этот кончик выбрасывает.

Опять что-то такое, чего не понимаю я. Лишь впоследствии я понял, что у меня тогда еще не было чувства брезгливости. Ведь брезгливость, как и стыдливость, не заложена в человеке от природы, а воспитывается обществом (животные обходятся без

этих чувств). В то время я не считал лягушку чем-то гадким, омерзительным, скверным, и разговор с братом лишь напомнил мне о той, о моей лягушке, которая, вытянув задние лапки и раскинув передние, словно ручки, осталась среди незабудок на берегу.

Почему-то события этого дня запомнились мне во всей их последовательности. Безусловно, потому, что я узнавал каждый раз что-то новое, важное для себя и испытывал сильные чувства. Со временем и у меня появилось чувство брезгливости и отвращения к лягушкам. Мне приходилось делать над собой усилие, чтоб взять в руки лягушку, ящерицу или тритона. Но я никогда больше не делал этим животным зла. Даже когда стал взрослым.

Теперь, вспоминая те времена, я не удивляюсь тому, что чего-то не знал, но удивляюсь мыслям, которые приходили мне в голову. А беспокоила меня тогда ужасно мысль: каким человеком я вырасту, если все время буду бегать хвостом за Павлушкой, то есть за братом, и делать все как он. Я боялся, что из меня получится какой-нибудь никудышный, безвольный, несамостоятельный, бесхарактерный человек, неспособный принять какое-нибудь решение и осуществить его, человек, которому постоянно нужна будет нянька.

И мне ужасно хотелось сделать что-нибудь вполне самостоятельное, чтоб можно было сказать:

“Это я сам!”

ПРИГОВОРЕННЫЙ К КАЗНИ

В наш механизированный век детям рассказывает сказки машина, называемая телевизором. В дни моего детства таких машин не было, и детям рассказывали сказки ближайшие родственники, чаще всего дед или бабка или какая-нибудь прижившаяся в семье старушка нянюшка. В нашей семье не было ни дедки, ни бабки, ни прижившейся нянюшки, а сказки рассказывал отец. И, нужно сказать, хорошо умел это делать. Мы с братом, бывало, чуть

вечер – просим его рассказать сказочку. Он долго отнекивается (так уж принято), говоря, что уже все рассказал и никаких новых сказок не знает. Но мы ведь и не просим новых. Мы согласны слушать старые, уже слышанные по пятьдесят раз сказки, чтоб еще раз пережить испытанные нами чувства.

Сказки эти – самые распространенные, ходовые русские народные сказки, которые действительно можно слушать по многу раз, и не надоест. Среди самых любимых сказок – “Кот, петух и лиса”, в которой коварная лиса хитро выманивает из дому глупого петуха: “Петушок, петушок, золотой гребешок, маслена головушка, шелкова бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку”. И петух – дурень такой! – поддавшись на лесть, выглядывает в окошко, лиса тут же хватает его, после чего петух начинает призывать на помощь своего друга кота, ушедшего на охоту: “Котик, братик, выручи меня! Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы, в глубокую нору”. Услыхав эти призывы, кот бросается на выручку и спасает петуха, предупреждая, что в следующий раз он уйдет далеко и не сможет услышать его крик, поэтому не надо поддаваться на уговоры лисы. Но простоватый петух все же каждый раз делал не так, как советовал ему кот. Конечно, он поступал глупо, непоследовательно, но я его понимал, этого петуха: бывает, и не хочешь чего-нибудь сделать, а вот возьмешь и сделаешь; и помнишь, что тебе двадцать раз твердили: нельзя, нельзя, нельзя, а тебя словно под руку кто-то толкает. Было в натуре этого петуха что-то детское, доступное чувствам ребенка.

Умиляла в этой сказочке трогательная дружба кота с петухом и то постоянство, с которым кот приходил каждый раз на выручку своему незадачливому другу, ничего, впрочем, от него не получая взамен.

Нравилась также сказка про волка и лису, в которой лиса подучила волка сунуть хвост в прорубь, чтоб наловить рыбы. Вот волк-простофиля опустил хвост в прорубь, вода в проруби замерзает, а лисица приговаривает: “Мерзни, мерзни, волчий хвост”. Волк спрашивает: “Что ты, кумушка, говоришь?” – “А я

говору, ловись, рыбка, большая и маленькая”. От сказки этой оставалось все же какое-то болезненное, неприятное чувство. Хвост у волка примерзал ко льду, прибежали мужики, начинали колотить волка, волк отрывал хвост и убегал. Жалко было волка. Думалось: ему ведь без хвоста больно!

Самая страшная сказка была про медведя на липовой ноге. О том, как повадился медведь на пасеку к мужику мед воровать, а мужик выскочил с топором. Медведь – удирать, а мужик бросил топор и отрубил медведю ногу. Баба стала варить мясо от этой медвежьей ноги, шерсть ободрала и стала прясть. А медведь решил отомстить. Сделал себе деревянную ногу из липы и березовую клюку, ночью пошел в деревню. Идет и приговаривает: “Скирлы, скирлы, скирлы, на липовой ноге, на березовой клюке. Все по селам спят, по деревням спят, одна баба не спит – мою шерстку прядет, мое мясо варит...”

Как только отец начинал страшным голосом это “скирлы, скирлы”, мы с братом залезали с головой под одеяло и тряслись от страха, и все же каждый раз просили рассказать эту сказку.

Но самое неизгладимое впечатление произвела на меня сказка “Мальчик с пальчик”, которая рассказывалась в таком варианте. Жили муж и жена. И у них было много детей. Самый маленький был мальчик с пальчик. Муж и жена были небогатые, а скоро и совсем обеднели. И вот однажды вечером муж говорит жене: “Давай заведем наших детей в лес да там и оставим. Все равно у нас уже нет денег, и кормить их нечем будет”. Так они и решили. А мальчик с пальчик в это время не спал и все слышал. На следующий день он набрал полные карманы камешков, а когда отец повел его вместе со всеми братьями в лес, как будто на прогулку, он тайком бросал из кармана по одному камешку на землю. Вот отец отвел их в самую гущу леса да там и бросил, сказав: “Вы тут погуляйте, а я пойду поищу грибов”. Ребята играли, играли, а отца все нет и нет. Видят, уже и вечер скоро наступит. Все стали плакать. А мальчик с пальчик: “Не плачьте, я найду дорогу домой”. И вот он по тем камешкам, которые бросал, когда по лесу шли, нашел дорогу домой. Пришли братья

из леса, а войти в дом бояться. Стоят под окном и слушают, как отец с матерью разговаривают. Оказалось, что приехал брат отца и привез им много денег, и теперь они жалеют, что отвели своих детей в лес. Мать говорит, что надо идти искать их, а отец отвечает, что их все равно уже растерзали, наверно, хищные звери. Отец и мать начали плакать, а мальчик с пальчик и братья бросились поскорей домой. “А вот и мы!” – говорят. Все были рады. И стали жить-поживать да добра наживать.

С тех пор как я услышал эту сказку впервые, в моей душе поселилась тревога. Я только и думал о том, что родители мои обеднеют и отведут нас с братом в лес на растерзание диким зверям. Я, правда, не высказывал никому своих опасений, но мысли эти не покидали меня. Может быть, я был излишне впечатлительным ребенком. Может быть, я был в таком возрасте, когда еще рано слушать подобного рода сказки. А то ведь бывают сказочки и похлеще этой. Про бабу-ягу, например, которая варила детишек в огромном котле или сажала их на лопату – да в печь. Малый ребенок еще не понимает, что здесь к чему, где здесь правда, где ложь, и что у него в голове там творится, взрослым и невдомек. Они знай себе рассказывают свои сказочки, не задумываясь, какие мысли это внушает ребенку.

Один веселенький случай произошел со мной в таком возрасте, хотя и не на сказочной почве, но это как раз то, о чем к месту здесь рассказать.

В этот день отец был дома, а у нас почему-то был мальчик лет четырнадцати, которого я ни до того, ни после того ни разу не видел. Кажется, он приехал откуда-то к нашим соседям, а зачем пришел к нам, это было мне неизвестно. Звали его Тадеуш. Он был поляк и не совсем правильно говорил по-русски; то есть он говорил довольно чисто, без акцента, но некоторые слова он забывал или путал. Отец и этот Тадеуш что-то мастерили; сейчас, хоть убей, я не могу вспомнить, что именно, но то, что они делали, было для меня до чрезвычайности интересно. В ход были пущены и пила, и топор, и нож, и молоток, и напильник. Мне нравилось, что отец разговаривает с Тадеушем как с равным,

советуется с ним, что и как лучше сделать. И сам Тадеуш мне нравился. Он был стройный, красивый мальчик и очень увлечен был тем, что делал. У них что-то не ладилось. Отец обстругивал ножом какие-то палки, потом сказал, что нож тупой. За нож взялся Тадеуш. Я, положив локти на стол и подперев подбородок руками, как зачарованный следил за всеми их действиями и с нетерпением ждал, что же из всего этого в конце концов выйдет. Воображение мое рисовало нечто доселе невиданное, фантастическое.

И, как бы пробуждаясь от своих грез и возвращаясь к нашей странной действительности, я слышу фразу, которую ни с того ни с сего вдруг произносит Тадеуш.

– Его, – говорит, – надо зарезать.

Ужас обуял меня. Я решил, что он предлагает зарезать меня. Ведь, кроме меня и их двоих, в комнате никого не было. Если бы Тадеуш имел в виду отца, он сказал бы: “Вас надо зарезать”; если бы он имел в виду себя, то сказал бы: “Меня надо зарезать”; но он сказал: “Его надо зарезать”, а в третьем лице можно было говорить лишь обо мне в сложившейся ситуации. Что такое “зарезать”, я уже знал тогда. Бывало, зарежут курицу или петуха – и в суп... Первой моей мыслью было спастись бегством, но, к своему удивлению, я не мог пошевелить ни ногой, ни рукой; даже пальцем не мог шевельнуть. Я словно окаменел. Нет! Это неправильное сравнение. Камень тяжелый, а у меня было такое впечатление, будто все мое тело онемело и потеряло вес. Мне казалось, что если из-под меня вытащить стул, я так бы и остался сидеть, повиснув в воздухе без всякой опоры.

– Ты хочешь сказать “наточить”? – словно сквозь сон, услышал я голос отца.

– Да, наточить, – смущенно махнув рукой, в которой держал нож, ответил Тадеуш.

– У нас нет бруска, но можно поточить о кирпич, – ответил отец.

Жизнь постепенно возвращалась ко мне. Я начал понимать, что парень просто ошибся из-за недостаточного знания русского языка и, вместо того чтоб сказать “наточить”, сказал “зарезать”. Испуг, перехвативший мое дыхание, понемножечку проходил. Я уже мог свободно дышать, шевелить пальцами и потихоньку болтать под столом ногами. Все это произошло в несколько секунд, может быть даже за одну секунду, но мне показалось, что протекла вечность.

Так в течение какой-нибудь ничтожной секунды я пережил чувства приговоренного к смертной казни и испытал радость помилованного.

Многие ли могут о себе это сказать?

СЧАСТЬЕ

Спросите любого взрослого, что такое счастье, и вы увидите, как трудно ему будет ответить на этот вопрос. Я же хотя и не взрослый, но без всякого затруднения скажу, что счастье – это когда у нашей кошки Мурки появляются маленькие котята.

Вытянувшись во всю длину и повернувшись на бок так, чтоб котят было удобно сосать молоко, Мурка лежит под крыльцом на куче ветоши, из которой она устроила для котят гнездо. У нее такой спокойный, удовлетворенный вид! Глаза ее светятся счастьем, я бы даже сказал – блаженством. Видно, что она очень довольна тем, что у нее есть маленькие котята и ей можно заботиться о них.

Если взять одного котеночка и отодрать его от живота Мурки, она ласково скажет:

“Мур-р!”

И лизнет вашу руку, как бы в благодарность за то, что вы приласкали ее детеныша.

Котята с таким усердием, с таким наслаждением, я бы даже сказал, с таким упоением сосут молоко, припав к животу матери,

что не возникает никакого сомнения в том, что они тоже счастливы.

И если человеческое счастье заключается в том, чтобы видеть счастливыми тех, кого любишь, то я очень счастливый человек, так как очень люблю этих милых, симпатичных зверьков и могу любоваться ими, когда мне вздумается.

Одного любования, впрочем, ребенку мало, так как ему из всего хочется устроить игру. Мой старший брат (очень изобретательный человек) придумывает эксперимент: взять у кошки одного котенка, положить подальше в траву и посмотреть, что она станет делать. Кошка тотчас же вскакивает, подбегает к котенку, и, батюшки, что она делает! Она хватает его прямо зубами и тащит обратно в свое логово. Меня прямо передергивает от страха. Ведь котенку, наверно, больно, думаю я. Мне уже известно, какие острые у кошки и зубы и когти. Я внимательно осматриваю котенка, но не замечаю на его теле никаких следов кошачьих зубов. Видать, кошка умеет очень осторожно брать котенка зубами и не причиняет ему вреда.

В дальнейшем опыты усложняются. Мы с братом прячем от кошки в траву всех котят и наблюдаем, как она переносит в зубах по одному котенку обратно в гнездо. Потом прячем котят подальше за домом. Но где бы мы их ни прятали, кошка обязательно находит их и водворяет на место. Наверно, если бы у нас с братом не было других дел, мы уморили бы котят голодной смертью, так как кошке некогда было бы их кормить.

Сказать по правде, мне по временам становится жалко Мурку, глядя, сколько ей приходится переносить забот и трудов, но я стараюсь заглушить в себе чувство жалости. Во-первых, надо же как-то играть, а во-вторых, брат старше и лучше знает, что, как, когда и в каких случаях надо делать.

Дни между тем идут. Котята подрастают. У них прорезаются глаза, да такие большие, красивые. Котята начинают играть между собой. Борются, бегают друг за дружкой. А то какой-

нибудь котенок спрячется за спину матери, а потом выскочит, как из засады, на кого-нибудь из своих братьев. Кошка с удовлетворением наблюдает за их игрой и ничуть не сердится, когда кто-нибудь из котят вздумает вскарабкаться ей на спину.

Этой безмятежной идиллии наступает конец, когда появляемся мы с братом. В руках у нас довольно большой, сколоченный из толстых сосновых досок ящик из-под гвоздей. Он напоминает собой те ящики, в которых высаживают на балконах цветы, только покороче. Мы сажаем в этот ящик котят и несем к пруду.

На нашем участке позади дома, недалеко от сарая, есть пруд. Нужно сказать, что он не из того сорта прудов, которыми украшена дача Капийковского. Он похож, скорее всего, на огромную черную четырехугольную яму, вырытую в черноземной почве и наполненную черной, как деготь, застоявшейся водой, в которой не живут ни рыбы, ни лягушки, ни пиявки, а живут какие-то противные бледно-серые, мягкотелые жуки величиной с большого кузнечика. Этих жуков мы с братом называем щипалками.

Пока мы несем котят в ящике, Мурка бежит за нами, трется боками о наши ноги и просительно заглядывает нам в глаза, как бы умоляя не сделать зла ее детям. Мы, однако ж, продолжаем невозмутимо шагать со своей ношей.

Подойдя к пруду, мы спускаем ящик с котятами на воду и отталкиваем его от берега. Ящик выплывает на середину пруда. Котята выглядывают из ящика, словно заправские матросы из-за бортов парохода. Мне даже кажется, что они улыбаются, радуясь тому, что плывут по воде.

Кошке, однако, не до радости. Она встревоженно мечется вдоль берега пруда то в одну сторону, то в другую, но, видя, что посуху ей до котят не добраться, вдруг прыгает в воду и плывет к ящику. Такой поступок с ее стороны для меня неожиданность. Я всегда был уверен, что кошки боятся воды и не умеют плавать. Но Мурка плыла с таким умением, будто всю жизнь только этим и занималась. Из воды торчали только ее голова и кончик хвоста.

Вот она подплывает к ящику и... Глупая! Что она делает!.. Она цепляется когтями за борт ящика. Ящик опрокидывается и начинает наполняться водой. Кошка успевает схватить одного котенка зубами и плывет с ним обратно к берегу.

Наблюдая эту волнующую сцену, я мысленно кричу: “Глупая! Одного спасла, а остальные утонут!”

Погружаясь все больше в воду, ящик ложится набок, но котята не тонут. Спасаясь от заливающей ящик воды, они выкарабкиваются на боковую стенку. Но ящик, продолжая вращаться, переворачивается кверху дном. Каким-то чудом котята успевают перебраться со стенки на дно. Ящик между тем вертится дальше и ложится на другой бок. Спасаясь от наступающей воды, котята перекочевывают на этот бок. Вращение ящика все убыстряется, и котятам приходится совершать чудеса эквилибристики, чтоб удержаться на поверхности.

– Спасай! – раздается команда брата.

Я поспешно сбрасываю штанишки и, преодолевая отвращение к щипалкам, лезу в воду. Добравшись до тонущего ящика, я вытаскиваю его вместе с котятами на берег. Кошка уже тут как тут. Собрав измокших котят вокруг себя, она ведет их обратно в свое гнездо, где тщательно облизывает каждого языком.

В этот день мы не повторяем больше этот эксперимент. Но на следующее утро мы с братом снова появляемся со своим ящиком возле Муркиного гнезда, и кошачья водяная феерия разыгрывается в той же последовательности, с теми же подробностями и с тем же концом. Этот кошачий “цирк” мы с братом устраивали для себя чуть ли не ежедневно, пока котята не подросли настолько, что научились выскакивать из ящика и удирать от нас до того, как нам удастся спустить ящик на воду.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Мать считает, что мы с братом становимся невозможными. В результате в доме у нас появляется новая вещь – кнут. Самый

обыкновенный извозчицкий кнут, которым погоняют лошадей. Он состоит из кнутовища, то есть из небольшой дубовой палочки, к которой привязан тонкий ремешок из гибкой сыромятной кожи. На конце этот ремешок завязан узелком, чтоб было больнее, когда им стегают.

Кнутом этим нас, однако, никто не бьет. Он просто стоит в углу комнаты на видном месте для устрашения. Предполагается, что, видя кнут, мы с братом будем воздерживаться от шалостей из опасения, как бы кнут не погулял по нашей спине.

Кнут все же не оказывает на нас своего магического воздействия. Мы продолжаем шалить. Мать то и дело грозит, что скажет отцу и попросит наказать нас. И она часто приводит в исполнение свою угрозу. Но отец дома бывает обычно в благодушном настроении. Ему неохота затевать возню и устраивать побоище.

— Ничего, — стараясь сделать вид, будто сердится, говорит он. — Я им все соберу в кучу.

Собрать в кучу на его языке означает — подождать, когда у нас с братом накопится побольше провинностей, и тогда уже за один раз рассчитаться с нами.

Наконец жалоба матери совпадает с соответствующим настроением отца.

— Ну, я им задам лупцовку! — грозитя он. — Сейчас я им устрою мойку!

Для того чтоб устроить так называемую мойку или лупцовку, отцу не нужны кнут, плетка или ремень, которыми пользуются в таких случаях в других семьях. Ему нужно полотенце. Это полотенце он берет за середину зубами так, чтоб оба конца свободно свешивались вниз, затем начинает скручивать руками один конец наподобие толстой веревки. Скрутив этот конец как можно туже и придерживая его рукой, чтоб он не раскрутился, он начинает точно таким же образом скручивать и второй конец.

Лоб у него нахмурен, щеки отдуваются, губы оттопырены, усы лежат двумя жесткими щеточками на полотенце, которое он держит в зубах. Лицо у него от этого какое-то чужое, незнакомое, несимпатичное. К тому же он еще громко сопит носом. Мы с братом притихли и, замирая от страха, прислушиваемся к этому сопению.

Но вот и второй конец полотенца скручен так же туго, как первый. Отец берет оба конца в правую руку и выпускает полотенце из зубов. Освободившись, оба конца полотенца уже сами собой скручиваются плотным жгутом. Размахивая этим жгутом, отец начинает гоняться за нами по всем комнатам, нанося удары по спине то одному, то другому. Я бы сказал, что это не так больно, как страшно. Боль от удара жгутом хотя и вполне ощутимая, но не резкая. После удара тело как бы зудит или чесывается. Но это ощущение быстро проходит. Набегавшись по комнатам и воображая, что с честью выполнил свой родительский долг, отец успокаивался и вешал полотенце на место.

Не думаю, что подобного рода меры имели какое-нибудь воспитательное значение, так как в чем заключались наши провинности?.. Ну, разбил чашку или стакан, порвал или испачкал одежду, промочил ботинки, лазая по болоту, вертел швейную машинку, не ел суп, так как наелся сахару перед обедом, опрокинул стакан с киселем и размазал кисель по скатерти, стараясь собрать его обратно в стакан. Все это такие вещи, которые трудно не сделать, а сделав, невозможно исправить. Никто же нарочно чашку не разбивал, и никто со злым умыслом не размазывал кисель по скатерти, и никто не рвал одежду специально для того, чтоб доставить неудовольствие родителям. Все это происходило случайно или по необходимости. Попробуйте, например, удержаться, чтоб не крутить швейную машинку, когда можно покрутить, или не сунуть в рот кусок сахару, когда так хочется сладкого. И попробуйте не промочить ноги, когда вам нужно лазить по болоту. А однажды я положил измокшие сандалии (совершенно новенькие, между прочим, только

что купленные) для просушки в духовку, а они там изжарились: стали твердые, словно костяные, так что ими можно было забивать гвозди, но уж никак не надевать на ноги. Разве я знал, что так выйдет? А в другой раз я упал в бочку с водой. Я полез вслед за братом на крышу сарая и сорвался со стремянки. А бочка стояла рядом. Еще хорошо, что она была лишь наполовину наполнена водой. Поэтому я промочил только штанишки.

От таких случайностей никто не застрахован, и тут хоть бей, хоть не бей, а ничего не изменится. В итоге мать продолжала жаловаться на нас отцу, отец по временам брался за полотенце, сопел носом и гонялся за нами по комнатам.

Результат от всего этого какой-то был, безусловно. Однако ж не тот, которого ждали. Постепенно мне становилось ясно, что мой добрый великан не такой уж добрый и не такой уж великан, если сказать по чести. В свете всей этой суетни, беготни и сопения носом его величие как-то тускнело в моих глазах. Я, безусловно, видел, что человек он, в общем, добродушный, добросердечный, но убеждался также и в том, что он может быть не только добрым, но и злым, даже страшным по временам. И он уже не был для меня каким-то чудом. И я уже не ждал его приезда с таким нетерпением, как раньше, а вернее сказать, даже вовсе не ждал – без него было спокойнее.

Кстати, тогда я уже был в том возрасте, когда ребенок начинает замечать, что взрослые люди хоть они и взрослые, но состоят не из одних достоинств, а также и из недостатков.

Отец мой не любит, например, делать что-либо в спешке, и ему приходится иной раз платить дань этой своей неторопливости. По утрам он любит поваляться в постели, и, если ему нужно с утра ехать в Киев, он не встанет пораньше, а поваляется, как обычно, но, поскольку к отходу поезда нужно поспеть на станцию вовремя, он придумал пить чай на ходу. Шагает себе не спеша по дорожке. В одной руке у него чашка, из которой он прихлебывает чай, в другой руке бутерброд, от которого он по кусочку откусывает. Как раз к тому времени, когда он подходил к

калитке, чай оказывался выпитым, бутерброд доеденным. Тут же раздавался гудок приближавшегося к станции поезда. Услышав гудок, отец кидал пустую чашку в специально выкопанную для этой цели яму возле забора и, выскочив из калитки, бросался бежать как сумасшедший к железнодорожной станции, которая была в конце улицы. На поезд он садился уже на ходу или перед самым его отходом. Не мудрено было и опоздать в такой ситуации, но обычно ему все сходило с рук. Только один раз, насколько у меня осталось в памяти, произошла, как принято говорить, осечка.

Однажды отец ушел на поезд, сказав, что вернется из Киева лишь завтра, так как у него были там какие-то дела. Мать была занята по хозяйству, а мы с братом, почувствовав свободу, решили покататься по комнате на швейной машине. Эта машина была ножная, то есть такая, механизм которой приводится во вращение ногами. Внизу у машины были колесики, на которых ее можно было перекатывать по полу с места на место. Колесики эти были маленькие и вертелись плохо. Машина к тому же была тяжелая. Ее и с места можно было сдвинуть с трудом. И все же, поскольку были колесики, брату пришла в голову мысль катать друг друга на этой машине. Решено было, что сначала он покатает меня, потом я его. Подставив стул, я вскарабкался на машину и уселся на ней верхом, а брат принялся толкать машину сзади. Несмотря на неимоверные усилия, машина двигалась со скоростью садовой улитки. Могу удостоверить, что езда на такой скорости не доставляет никакого удовольствия и недостаток скорости в таких случаях следует дополнять избытком воображения. Сейчас уже не могу сказать, сколько понадобилось времени и усилий, чтобы выкатить машину на середину комнаты.

Но тут как раз отворилась дверь, и в комнату вошел отец. Уже сам вид его не предвещал ничего доброго. Лицо было сердитое. Усы топорщились. Схватив брата за руку, он надавал ему по шее, потом стащил меня с машины и тоже надавал по шее, после чего поставил машину на место.

С плачем мы выбежали во двор, и брат сказал, вытирая кулаком

выступившие на глазах слезы:

– Чего это он? Ведь он сказал, что вернется из Киева завтра.

– Ну, – ответил я, разводя руками, – совпадение.

Мне как раз пришел на память случай, когда отец вернулся раньше, чем его ждали, и тогда это было названо совпадением.

– Ты дурак, – ответил мне брат, потирая ушибленное место. – Никакого совпадения здесь нет, потому что он вовсе и не ездил в Киев.

– А куда он ездил?

– Да никуда, – ответил с презрением брат. – Каждый дурак догадается, что никакой дурак не успеет за такое время доехать до Киева и вернуться обратно. Просто он опоздал на поезд.

Так оно, конечно, и было. Отец опоздал на поезд и с досады отколотил нас. Вообще он наказывал нас под горячую руку, давая выход накопившемуся раздражению, а не для нашей, как говорится в таких случаях, пользы.

То, что я рассказываю, – лишь отдельные случаи. Обида проходит, как проходит боль. На тех, кого любишь, нельзя долго сердиться. И да не подумает никто, что у меня было несчастливое детство. Я был счастлив хотя бы уже тем, что меня никогда не воспитывали при помощи наказаний. Меня никто никогда не ставил в угол или на колени, не оставлял без обеда или без сладкого, не заставлял сидеть в душной комнате, когда так хотелось побегать на свежем воздухе во дворе, и т. д. Если мне иногда и влетало, то это можно было рассматривать лишь как случайность, непредвиденное обстоятельство или стихийное бедствие вроде наводнения или землетрясения, от чего не убережешься и на что нельзя сердиться, как нельзя сердиться на угол стола, о который ушибся.

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

Читать я научился в пятилетнем возрасте. Причем меня никто не учил. Учили моего старшего брата, а возле него и я выучился.

У отца был свой собственный метод обучения грамоте. Он не раз говорил, будто сам учился читать по вывескам на магазинах, и потому, вероятно, считал, что самое важное в этом деле – величина букв. И вот, когда брат выучил азбуку, отец взял газету (она называлась “Новости”) и велел брату прочесть название, которое было напечатано самыми крупными буквами.

Брат начал называть подряд все буквы:

– Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и.

– Ну, и что получилось? – спросил отец.

Брат немного подумал и ответил:

– Газета.

– Вот и болван! – рассердился тут же отец. – Читай снова внимательно.

– Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и, – повторил брат.

– Ну, и что вышло?

Брат еще немного подумал и снова сказал:

– Газета.

– Ну и балбес! Где же ты видишь “газета”? Какие тут буквы? Читай.

– Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и, – в третий раз повторил брат.

– Ну, и что будет?

Брат изобразил на своем лице глубокомыслие и опять сказал:

– Газета.

– Вот балда так балда! – кипятился отец. – Смотри, какая здесь первая буква? Эн?

– Эн, – согласился брат.

– Вторая буква какая?

– О, – потупившись, отвечал брат.

– Правильно! Третья какая?

– Вэ.

– Вэ! Правильно! Вэ! – подхватил отец. – Дальше какая?

– О.

– О! – завопил отец. – О! Правильно. Дальше!

– Эс.

– Эс. Дальше.

– Тэ.

– Так, правильно! Тэ. И последняя буква какая?

– И.

– И! – торжествующе закричал отец и хлопнул рукой по газете. – Что вместе будет?

– Газета, – буркнул угрюмо брат.

Я сидел тут же и смотрел на все происходившее, как на какое-то состязание, в котором ни один из соперников не хотел уступить победу другому. Отец обзывал брата последовательно балдой, балбесом, дубиной, пентюхом и ослом, но не мог от него добиться другого ответа. Брат же, очевидно, не совсем понимал (или, вернее сказать, совсем не понимал), что от него требовалось, и, должно быть, воображал, что, повторяя одно и то же, он может каким-то образом переубедить отца. К тому же

совершенно ясно было, что перед ним лежала именно газета, а не, к примеру сказать, одеяло или садовая лейка.

Вместе с тем, судя по той горячности, с которой отец принимал его ответы, видно было, что написано не “газета”, а что-то другое. И я почему-то вспомнил, как иной раз, проснувшись поутру, отец спрашивал: “Принесли “Новости”?” Он любил иногда почитать газету в постели. И вот, когда, уже не помню в какой раз, отец заставил брата повторить все эти буквы: “Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и” – и спросил, что получится, я потихоньку сказал:

– Новости.

Что тут было!

– Правильно! “Новости”! – закричал отец. – Смотрите, что делается: Колька маленький, а уже научился читать. А его ведь и не учил никто! Как же это ты сумел, а?

Он тут же усадил меня рядом за стол и велел прочитать какое-то совсем маленькое слово: не то “каша”, не то “Маша”, сейчас уже точно не помню, и был очень удивлен, когда я не смог это слово прочесть. Буквы я, как и брат, называл правильно, а когда отец спрашивал, что получилось, я только и мог сказать:

– Не знаю.

– Как? – закричал отец, потеряв терпение. – Такое слово, как “Новости”, ты сумел прочесть, а тут пустяк прочитать не можешь! Э, так ты, значит, не прочитал, а просто угадал, что там написано “Новости”!

Он прогнал из-за стола и меня и брата.

Мы побежали гулять. Но меня все время сверлила мысль, как это я догадался, что на газете написано “Новости”. То есть для меня было ясно, что я догадался, так как знал, что газета называется “Новости”, но вот как из букв получается слово – в этом была какая-то тайна.

Вечером я взял газету, развернул ее на том месте, где было напечатано крупными буквами “Новости”, положил перед собой и крепко задумался. Я думал над тем, как из букв получается слово “Новости”. В том, что должно получиться именно это слово, сомнения не было. Но вот вопрос: как? Мне словно нужно было решить задачу, когда ответ известен, а самого хода решения никто не знает.

Я твердил про себя подряд все буквы: “Эн, о, вэ, о, эс, тэ, и” – и ломал голову, как же из них получается слово “Новости”. Ведь если складывать, приставляя как бы вплотную друг к дружке все эти буквы, то должно получиться какое-то чудацкое, непонятное слово “Эновэоэстэи”, совсем не похожее на слово “Новости”. Я то и дело повторял это “Эновэоэстэи”, и мне постепенно стало казаться, что оно все же чем-то смахивает на слово “Новости”, только его вроде как бы произносит какой-то косноязычный, криворотый человек со свернутой набок челюстью. А то еще такие люди бывают, подумал я, которые ничего не могут сказать без того, чтоб вначале не протянуть: “Э-э”. Это “э-э” нужно им как бы для разбега, без которого они никак не могут заговорить. Вот и тут: если написано “Новости”, то к чему же вначале “э”?

Я попробовал отбросить это начальное “э”, и вместо “Эновэоэстэи” у меня стало получаться “Новэоэстэи”. Это уже показалось мне больше похоже на то, что требовалось. Однако и сквозь это слово как бы проглядывал косноязычный человек, у которого рот устроен так, что он ничего не может сказать, чтоб не сунуть куда надо и куда не надо это противное “э”.

Я попробовал держать рот поровней и поуже, так, чтобы при чтении звук “э” не выговаривался, и, когда я прочитал слово таким способом, у меня получилось не что иное, как “Новости”. Я почувствовал, что нахожусь на верном пути. “Э” явно здесь было лишнее. И у меня мелькнула мысль, что буквы, должно быть, имеют свои имена или названия. При чтении названия не произносятся полностью, а произносятся лишь частички этих названий. Например: “эн” – это название буквы, а при чтении

“э” отбрасывается, а выговаривается только “н”. У буквы “тэ” опять же отбрасывается “э”, а произносится “т”.

Я заволновался вдруг. Меня охватило какое-то непонятное чувство. Такое чувство, наверно, испытывает ученый, находящийся на пороге великого открытия. Он и рад и в то же время боится: вдруг его теория или гипотеза окажется ошибочной. Для того чтобы убедиться в правильности своей гипотезы, ему нужно проверить ее: поставить эксперимент.

Какой же эксперимент я мог поставить? И я сразу же догадался, что надо попробовать прочитать какое-нибудь новое, незнакомое слово с помощью вновь открытого мною способа. Я прочитал попавшееся мне на глаза слово в газете, и получилось “утро”. Не какое-нибудь неизвестно что обозначающее “утээро”, а утро, которым начинается каждый день. Я прочитал еще слово, и получилось “нога”. Опять же не какая-то непонятная “эногэа”, а самая обыкновенная, самая настоящая человеческая нога.

С этого момента я уже не мог остановиться и принялся за “чтение”, то есть прочитывал отдельные слова, где бы они ни попадались мне: в книжке, в газете, на коробках с чаем, кофе или конфетами, на бутылках с уксусом или квасом, на вывесках магазинов... Радовался я этим словам, как встрече с добрыми старыми друзьями. В каждом из них было что-то знакомое, близкое. Трудности, конечно, на первых порах были, но я их преодолевал и через несколько дней уже вполне сносно читал.

К тому времени и брат одолел словесный барьер, то есть научился складывать из букв слова. Мы оба могли читать. Дядя Володя (брат отца) подарил нам по книжке. Это были два довольно толстеньких, красивых томика издававшейся в дореволюционное время “Золотой библиотеки”, на обложке которой в круглой рамке были изображены маленькие мальчик и девочка, склонившиеся над книгой. Томик, подаренный мне, назывался “Чудо-сказки”, а другой, подаренный брату, – “Волшебные сказки”.

В тот же день я принялся читать свои “Чудо-сказки” и уже не отходил от книги, пока не дочитал до конца, после чего засел за “Волшебные сказки”. В моих представлениях о нашем странном мире, в котором мы с вами живем, произошел огромный скачок. Все как бы переменялось вокруг. Оказалось, что, кроме обыкновенных людей, которых я знал, существуют еще какие-то сказочные короли и королевы, принцессы и принцы, добрые и злые волшебники и волшебницы, феи и эльфы, колдуны, оборотни, ведьмы, великаны люди, наделенные разными сверхъестественными способностями. Я узнал, что на свете существуют такие вещи, как волшебные палочки, шапки-невидимки, ковры-самолеты, сапоги-скороходы, а вокруг нас постоянно творятся волшебства и чудеса. Я снова и снова перечитывал эти сказки и ходил как зачарованный, не понимая, что со мной делается.

Так началась моя дружба с книгой.

НЕРАВНОПРАВИЕ

Видя, что в деле освоения грамоты я не отстаю от брата, родители решили отдать нас в гимназию одновременно. В результате мы оба стали ходить к учительнице, которая взялась подготовить нас в подготовительный класс. Звали учительницу смешно: Павла Аполлинариевна. Она почему-то вообразила, что при поступлении в гимназию будет экзамен по французскому языку. Пришлось нам, помимо прочих предметов, учить еще и французский язык. Никакой особенной премудрости здесь, впрочем, не было. Некоторые французские буквы, как “а” или “о”, например, были такие же, как и русские. Даже некоторые французские слова были похожи на наши. “Лампа”, например, по-французски будет “ля лямп”, “линейка” – “ля линеаль”, “самовар” – “ле самуар”, а “утка” – почему-то “ле канар”. Все это не представляло для меня трудности, хотя и не понадобилось на экзамене.

Говорили, что в обычную, государственную гимназию нас не возьмут, так как туда принимали только детей дворян. Но мы могли поступить в частную гимназию, куда принимали и недворян.

К тому времени я уже знал, что люди бывают богатые и бедные. В Ирпене у нас был лесопильный завод, принадлежавший богатому немцу, фамилия которого была Ганс. Был кирпичный завод, принадлежавший богачу Сагатовскому. По соседству с нашим участком были огромнейшие заливные луга, владельцем которых был богач Пинский. Эти луга так и назывались – болота Пинского. На высоком берегу реки Ирпень стояла красивейшая двухэтажная каменная дача, принадлежавшая киевскому фабриканту дрожжей богачу Чоколову. Таким образом, о богачах я уже имел какое-то представление. Но я впервые слышал о том, что существуют люди, которые считаются благородными, которым было позволено то, что не позволялось другим, неблагородным или вроде как бы нечистопородным людям. Благородные были дворяне, неблагородные – мещане или еще того хуже: крестьяне.

Быть таким вот неблагородным или вроде как бы нечистопородным казалось обидно. Пожалуй, даже обиднее, чем быть бедным. В конце концов, богатым мог стать и бедный, если б каким-нибудь путем разжился деньгами.

“Стать богачом нетрудно, – любил говорить мой отец, – нужно только узнать, как это делается”.

А вот стать дворянином было нельзя. Дворянином надо было родиться, то есть надо, чтоб родители твои были дворянами. Если же родился недворянином, то тут хоть пищи, а ничего не выйдет. Так тебе всю жизнь и будут твердить:

“Не суйся с суконным рылом в калашный ряд”.

Сознавать это было унижительно. И стыдно было за людей, которые придумали это деление на благородных и неблагородных, да еще чванятся перед другими своей чистопородностью, словно псы на собачьей выставке, одним из которых дают медали за то, что у них морда на пять сантиметров короче, чем нужно, а другим за то, что у них уши такой длины, что по земле волочатся. Конечно, в те годы сформулировать свои мысли я еще не умел, но нутром, так сказать, чувствовал, что это

несправедливо и даже смешно.

Отец мой дворянином не был, так как родился в простой мещанской семье, богачом же не стал, видать, потому, что так и не узнал, как это делается. По профессии он был актером, или, вернее сказать, артистом, а если сказать совсем точно – эстрадным артистом, певцом.

В дореволюционные годы на эстраде существовал так называемый квартет “сибирских бродяг”. Все четверо участников этого квартета (и отец в том числе) одевались в ветхую, изорванную одежду, покрытую всевозможнейшими заплатками, обувались в крестьянские лапти, изображая собой арестантов, бежавших с каторги и пробиравшихся сквозь дебри сибирской тайги к себе на родину. Нарядившись в такую живописную рвань, артисты выходили на сцену и пели про то, как “глухой неведомой тайгой бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой”, или популярнейшую в те времена “Дубинушку” и другие “Песни тюрьмы и воли”, как значилось на афише.

Этой своей артистической, “бродяжьей” деятельности отец отдавался до самозабвения. Он был участником русско-японской войны 1904–1905 годов и, таким образом, дважды пересек всю Сибирь, то есть когда отправлялся на войну и когда ехал обратно. Для него остров Сахалин, сибирская тайга, озеро Байкал и забайкальские степи, о которых пелось в песнях, были не звук пустой, а что-то близкое, осязаемое, то, что он видел своими глазами, что составляло как бы частицу его собственной жизни, частицу его души. Чувство тоски по родине и жажда свободы, испытываемые каторжниками и ссыльными, томящимися в неволе, или бродягами, рвущимися обратно в “Расею”, чтобы хоть одним глазом взглянуть на родные места, прижать к своему истосковавшемуся сердцу близких, были в какой-то степени пережиты и им самим за годы царской солдатчины. И он на чужбине скучал по родным местам, по своим близким, страдал от разлуки со своей невестой, своей будущей женой – моей матерью, с которой обручился перед отправлением на войну. Рассказывая о случаях из своей солдатской жизни, о боях, в которых он

участвовал в Порт-Артуре, на Сахалине или в Маньчжурии, он всегда вспоминал, как одолевала его тоска, как ему хотелось поскорей вернуться домой.

Его второе путешествие через Сибирь после окончания русско-японской войны совпало с разгаром революционных событий 1905 года. Отец с воодушевлением и с какой-то мальчишеской радостью рассказывал о революции, которую видел своими глазами. И он говорил, что революция не победила в тот раз, но она вспыхнет снова и победит. И тогда будет свобода: не будет ни царя, ни дворян, ни богатых, ни бедных, все, люди будут равны между собой, и всем будет хорошо.

А пока... пока по-прежнему был царь со своими тюрьмами и всякой неволей. А у народа были песни тюрьмы и воли, в которых только и говорилось, что о кандалах, о цепях, о каменных острогах, о железных решетках, за которыми изнывали люди, жаждавшие свободы:

Солнце всходит и заходит,

А в тюрьме моей темно:

Дни и ночи часовые

Стерегут мое окно.

Или:

По диким степям Забайкалья,

Где золото роют в горах,

Бродяга, судьбу проклиная,

Тащился с сумой на плечах.

Неспроста поется в этой песне про золото. Сибирь в те времена – это страна золота и... проклятий.

Отец часто рассказывал о работах на золотых приисках, где ему

пришлось побывать, о встречах в тайге с золотоискателями или старателями, как их называют в Сибири. Он и сам попытал счастья, бродя с тазиком по берегам одной из таежных золотоносных речушек. Намытое им ради сильных ощущений, как он говорил, золотишко (золотой песок) хранилось в шкатулке с разными безделушками на дне крошечного флакончика из-под духов с хорошо подогнанной пробкой. С виду это была просто щепотка песка, но не светлого, как на берегу реки, а темноватого, не просвечивающегося. Когда дома никого не было, мы с братом доставали из шкатулки флакончик и разглядывали золото. Если посмотреть на золотые песчинки в увеличительное стекло, то они становились крупнее, а при некотором усилии воображения превращались в настоящие самородки, светившиеся как бы изнутри магическим золотым цветом. Вот она, романтика! Вот оно, золото, на которое человечество затрачивает столько стараний и которому шлет столько проклятий.

Песни, исполнявшиеся квартетом “сибирских бродяг”, были очень созвучны эпохе. В них отражались общественные настроения предреволюционных лет. И, конечно же, именно поэтому квартет “сибирских бродяг” пользовался большой известностью. Он выступал во многих городах тогдашней России и везде имел шумный успех. Весь или почти весь его репертуар был записан на грампластинках. Тогда ни радио, ни телевидения еще не было, но граммофон уже был.

Кончилось дело, однако, тем, что на эти бродяжьи песни тюрьмы и воли обратила внимание царская цензура. Кто-то в цензурном комитете будто бы сказал: “Что это еще за песни тюрьмы? Кому нужно слушать песни тюрьмы? И какая еще там воля? Чтоб никакой воли и духу не было!” В результате исполнять эти песни было запрещено, и квартет “сибирских бродяг” прекратил свое существование. Не знаю, как устроились другие члены квартета, а отцу удалось поступить на работу плотником в киевские железнодорожные мастерские. Там он делал деревянные лопаты для очистки железнодорожных путей от снега, а в летнее время, когда увеличивалось движение пригородных поездов, работал

кочегаром на паровозе.

Обстоятельства сложились так, что меня и брата могли совсем не принять в гимназию, даже в частную, так как теперь мы были дети простого рабочего. Отец, однако, придумал выход из положения.

– Зачем мне говорить, что я рабочий? Буду говорить, что я домовладелец. У меня дом есть. Так и в анкете буду писать.

– Уж ты выдумаешь! – сказала мать. – Домовладелец – тот, у кого большой дом с квартирами, которые он сдает жильцам за плату. А у тебя какой дом?

– Будто кто-то поедет смотреть, какой у меня дом, – возразил отец. – Может быть, у меня тут дом в пять этажей.

– Это в Ирпене-то! Пять этажей! – ужаснулась мать. – Скажи еще, что у тебя небоскреб тут.

– И скажу.

– Сумасшедший! – с иронией отвечала мать.

С прекращением деятельности квартета заработок отца значительно уменьшился. Семья же наша к тому времени увеличилась. Кроме старшего брата, у меня уже была сестра младше меня на четыре года и брат младше на пять лет. Прокормить семью из шести человек да еще платить за обучение нас двоих в гимназии было отцу не по средствам. Поэтому решено было наш дом в Ирпене продать и нанять квартиру в Киеве. Все равно мы с братом не могли ежедневно ездить на занятия из Ирпеня в Киев. Да и отцу было удобнее жить в Киеве, чтоб не тратить каждый день время и деньги на поездки по железной дороге.

– Как же ты будешь говорить, что ты домовладелец, если решил продать дом? – сказала мать.

– Ну, пока я не продал дом, буду говорить, что домовладелец, –

ответил отец. — А когда продам, буду говорить, что торговец, торгую домами: один дом продал, куплю другой, а другой тоже продам.

— Тогда уж лучше говорить, что ты какой-нибудь маклер или же аферист.

— Что ж, это идея, — согласился отец. — У нас к какому-нибудь аферисту больше доверия, чем к рабочему человеку.

ВЫДЕРЖАЛ ЭКЗАМЕН

Наконец наступил день, когда нам с братом надо было поехать в Киев для сдачи вступительных экзаменов в гимназию. Еще накануне брат был совершенно здоров, но, проснувшись утром, он только приподнялся на постели и тут же опустил голову на подушку.

— Вставай, одеваться пора, — поторопила его мать.

— Головка болит. — жалобным голосом отозвался брат.

Мать подошла, приложила ладонь к его лбу.

— По-моему, у него жар, — встревоженно сказала она отцу.

Отец подошел и тоже приложил ладонь ко лбу брата.

— По-моему, жара нет, — сказал он, пожав плечами.

— Отчего же голова болит? — возразила мать.

— Очень болит? — спросил отец.

— Очень, — подтвердил брат и страдальчески поморщился.

— Может быть, простудился, — сказал отец, продолжая растерянно пожимать плечами. — Как же теперь с экзаменом быть?

— Ну какой тут экзамен, когда ребенок болен! — ответила мать. — Договорись на потом как-нибудь.

Мать всегда очень терялась, когда у кого-нибудь из нас появлялись признаки заболевания. В перспективе ей чудились самые губительные болезни: скарлатина, дифтерит, тиф, холера...

Нечего делать, отец повез на экзамен одного меня. Ехать нужно было сначала поездом, потом трамваем через весь Киев, от трамвая пешком до Рыльского переулка, где находилось пятиэтажное здание гимназии. Самого этого путешествия я не запомнил, возможно, потому, что и раньше иногда ездил с отцом или с матерью в Киев. Запомнился мне почему-то класс, в котором происходил экзамен: огромная (непривычно огромная для меня), скучная комната с высоким беленым потолком, такими же белеными стенами, только в нижней части окрашенными до высоты человеческого роста клеевой краской в красновато-коричневый цвет. Три огромных, высоких окна, черная доска на стене, несколько рядов черных парт. В то время я даже не знал, что такое парта и как нужно сидеть за ней. Но другие ребята садились. Сел и я.

Запомнилось мне также общее впечатление от ребят. Я никогда раньше не видел такого большого количества мальчишек за один раз. Меня удивило, что все они разные и какие-то вроде бы не такие, как надо. У одного были слишком толстые, выпяченные вперед губы; другой был слишком курносый; у третьего были какие-то нелепо торчащие в стороны уши несколько большего размера, чем полагалось, на мой взгляд, по норме; у четвертого было неестественно бледное лицо с узко поставленными черными глазками и съехавшимися на переносице бровями; у пятого лицо было красноватое, словно поджаренное, сам же он будто и не замечал, что ходит в таком поджаренном виде; у шестого на лице словно застыло выражение удивления: брови как бы сами собой лезли на лоб, а рот постоянно был чуточку приоткрыт; седьмой как-то осовело смотрел по сторонам сквозь узенькие щелочки глаз, будто вот-вот собирался заснуть...

Впоследствии я заметил, что все эти мелочи в человеческом облике обычно бросаются в глаза лишь с первого взгляда, но потом, при более близком знакомстве, их перестаешь замечать, и люди

начинают казаться нам более обыкновенными, более естественными или, вернее сказать, более привычными. Тогда уже больше обращаешь внимания не на их внешний вид, а на их привычки, склонности, замашки или характер, то есть начинаешь видеть уже не только внешность, но и внутреннее содержание человека.

Приемные испытания я выдержал с полным успехом. В диктанте по русскому языку не сделал ни одной ошибки. Точно так же, без ошибок, решил по арифметике все заданные примеры на сложение, вычитание, умножение и деление. На экзамене по закону божию вполне исправно отбормотал молитву “Отче наш”. И на этом все кончилось.

Отец радовался, как дитя малое, словно я совершил какой-то героический подвиг. Из гимназии мы шли по улице. Он крепко держал меня за руку, называл Коленькой, Колюхой, говорил, что я молодчина, что мне всего шесть лет, а я уже гимназист. Мне и вправду не исполнилось тогда и семи лет, знания же, требовавшиеся для поступления в подготовительный класс, соответствовали приблизительно знаниям окончившего второй класс теперешней школы. Широко шагая по тротуару, отец дергал меня за руку, в результате чего я совершал гигантские прыжки. Мне казалось, что отец и сам готов запрыгать от радости.

Потом мы ехали на трамвае, на поезде. Отец понемногу уgomонился, но время от времени он как бы спохватывался, вспоминая о счастливом событии этого дня, широко улыбался и гладил меня рукой по голове. Когда, сойдя в Ирпене с поезда, мы подошли к нашей калитке, первое, что я увидел, был брат. Он бродил по двору возле пруда и старательно сшибал палкой колючки с чертополоха. Увидев его, отец как-то многозначительно крикнул и, не сказав ни слова, зашагал к дому. Я же подбежал к брату и закричал, ликуя от радости:

— Я экзамен выдержал!

— Вот и дурак! — ответил брат, продолжая сшибать палкой колючки.

На его лице не отразилось ни радости, ни печали по поводу того, что я выдержал экзамен.

– Почему дурак? – озадаченно спросил я.

– Потому что будешь теперь как дурак ходить каждый день в гимназию. Понял?

– А ты разве не будешь? – удивился я.

– Зачем же я буду ходить? Я не дурак, – сказал брат. – Я ведь не сдавал экзамен. А в гимназию без экзамена не берут.

– Ты ведь заболел, – сказал я.

– Ты дурак, – ответил брат. – Я вовсе не заболел. Я так просто сказал, что заболел, чтоб на экзамен не ездить.

Тут только я понял, какую совершил глупость, не догадавшись прикинуться больным и увильнуть от экзамена, как это сделал брат. Расстраиваться по этому поводу было поздно, но настроение у меня было испорчено, и я, понурившись, побрел домой.

Впрочем, как выяснилось позже, если бы я даже догадался прикинуться больным, это меня не избавило бы от гимназии. Дня через два или три отец, вставши поутру и увидев, что брат с аппетитом позавтракал и уже вышел из-за стола, спросил:

– Ну как, сегодня у тебя не болит головка?

– Ничего не болит. Пойду гулять, – беспечно отвечал брат и вприпрыжку побежал к двери.

Но отец остановил его:

– Тогда собирайся. Поедем сдавать экзамен в гимназию.

Оказывается, отец узнал, когда можно дополнительно сдавать экзамен, но брату решил ничего не говорить заранее, а сказать в то утро, когда нужно будет ехать, чтоб понапрасну его не

волновать. Чудаки родители вообразили, что в прошлый раз он заболел, переволновавшись в ожидании экзамена.

Таким образом, брат ничего не выгадал. Он выдержал экзамен, как я, и мы оба сделались гимназистами.

Фамилия владельца нашей гимназии была Стельмашенко, в силу чего учащихся этого учебного заведения звали стельмашенковцами, стельмашаковцами или же просто стельмашаками. Форма у нас была такая же, как и у остальных гимназистов, то есть: синевато-серые гимнастерка и брюки и синяя фуражка, украшенная кокардой. По этой кокарде легко было отличить стельмашенковца от учащегося любой другой гимназии. У всех других гимназистов на кокарде была изображена цифра, обозначающая номер гимназии, в которой он учился. У нас же на кокарде вместо цифры была буква "С", то есть начальная буква фамилии Стельмашенко. Таким образом, с этой буквой на лбу мы ходили как бы клейменные, и нередко на улице можно было услышать по своему адресу:

"Вот стельмашака идет!"

Не знаю, как другим, а мне лично это казалось обидным.

Я УЗНАЮ О ТАЙНЕ

Наш милый уютный беленький домик с зеленой крышей был продан отцом человеку по фамилии Елисеев. Этого Елисеева я ни разу в жизни не видел, но, так сказать, заочно невлюбил его за то, что он купил наш дом. У меня было такое чувство, будто он не купил, а отнял у нас наше пристанище, наше гнездо. Мне была нестерпима мысль, что в доме, где все мне казалось таким близким, словно слившимся со мной самим, поселится теперь кто-то чужой, а нам даже нельзя будет прийти сюда и взглянуть на родной очаг.

До этого я не знал, что дом можно продать или купить, словно какую-нибудь тыкву, буханку хлеба или кусок колбасы. Акт купли-продажи представлялся мне в таком виде. Покупатель

приходит в магазин или на рынок, дает продавцу деньги, получает нужную ему вещь и уходит, унося покупку с собой. Когда начались разговоры о продаже дома, у меня в голове зашевелилась глупая мысль: “Как же он (то есть тот, кто купит наш дом) унесет его? Разве можно унести дом?”

Скоро я понял, что, когда продается дом, покупатель приходит, платит деньги, но уже не уходит, а вместо него уходит продавец.

Продавая дом, отец решил не продавать вместе с ним весь земельный участок, а продать только ту половину, где находился дом. Другую половину отец решил оставить себе, надеясь впоследствии, когда позволят обстоятельства, построить новый дом. Для меня было новостью, что можно продавать не только дома, но и саму землю. Мысль об этом никак не укладывалась в моей голове. Продавать землю, казалось мне, все равно что продавать воздух, который нужен всем и которым вправе пользоваться все в одинаковой мере.

Я уже привык к мысли, что земля, на которой стоял наш дом, была наша... Хотя нет! Вру. Вернее, я просто не думал, чья эта земля и принадлежит ли кому-нибудь вообще. Вместе с тем во мне жило какое-то чувство, подсказывавшее, что наряду с вещами, которые могут принадлежать кому-нибудь лично, существуют вещи, принадлежащие всем, иначе говоря, находящиеся в общем пользовании, как, например, улица или река. Каждый мог ходить на реку: любоваться ее красотой, купаться, кататься на лодке или просто валяться на песчаном берегу, загорая на солнышке. И никому не следовало поступать подобно дрожжевому фабриканту Чокотову, который велел огородить свою дачу так, что забор подходил к самой реке. Дача стояла на вершине холма, а забор спускался все ниже по косогору и, подойдя к реке, уходил еще метра на три в воду. Проникнуть на берег реки по ту сторону забора уже было нельзя, так как это значило бы забраться на чужую дачу, по которой разгуливали два здоровенных свирепых пса. Как раз в том месте река делала крутой поворот, образуя как бы залив, поросший по краям камышом и белыми кувшинками с

огромными, круглыми, плававшими на поверхности воды темно-зелеными листьями, а на берегу стояли, склонившись над рекой, плакучие ивы с длинными, свисающими к самой воде ветвями. Казалось, там, за забором, было самое красивое место на всей реке. И почему-то страшно хотелось туда. И каждый раз, когда я видел этот забор, мною овладевало неприятное чувство: словно на меня надевали ошейник или намордник или ни с того ни с сего сажали в клетку, как кролика. Я думал, что если каждый станет подобным образом захватывать себе место возле реки и огораживать его забором, то останется множество людей, которым места на берегу не хватит, и они не смогут не то что купаться или кататься на лодке, – не смогут даже прийти, чтоб взглянуть на реку, потому что вокруг будут одни заборы. Жизнь этих людей представлялась мне безрадостной и унылой. И я очень жалел их, этих людей. Вот какие мысли внушало мне мое разбушевавшееся воображение, когда я видел этот идиотский забор, а видел я его часто, так как он находился возле самого посещаемого места на реке: рядом с пляжем, недалеко от лодочной пристани.

Помню, отец, продавая дом, долгое время не мог договориться с Елисеевым относительно того, какая часть земли отойдет ему вместе с домом. Отцу обязательно хотелось, чтобы колодец остался целиком на нашей части земли. Елисееву же хотелось, чтоб граница между обоими участками проходила по колодцу, то есть так, чтобы воду можно было брать как с той, так и с другой стороны. В этом был определенный разумный смысл. Известно, что вода в колодце тем чище, чем чаще из него берут воду. Если воды берут мало, она медленно обновляется, в колодце заводятся личинки комаров и других насекомых, а вслед за ними лягушки, для которых эти насекомые и их личинки служат хорошей пищей. А кому же интересно пить воду из колодца с лягушками! Неспроста многие соседи сооружают один общий колодец на границе своих владений. Некоторые даже делают колодец перед домом, на улице, чтоб и живущие поблизости могли пользоваться водой. В таких колодцах вода обычно бывает хорошая, как говорят – “вкусная”.

Однажды, когда мать доказывала отцу разумность такого решения, он обронил фразу:

– Ты же знаешь – тайна на дне колодца...

Я, случайно вертевшийся поблизости, тут же пристал к отцу с расспросами, какая тайна.

Он сказал:

– Тайна – это то, чего никто не должен знать, иначе она не была бы тайной. Так что ты держи язык за зубами и о том, о чем слышал дома, не вздумай нигде болтать. Понял?

Я ответил, что понял. Но с тех пор меня прямо-таки распирало от желания рассказать кому-нибудь, что у нас в колодце есть тайна. От этого желания язык так и корчился у меня во рту, вроде как бы чесался. Для начала я рассказал о тайне колодца брату, который не слышал нашего разговора. Брат сказал:

– Раз мы не знаем, какая тут тайна, то надо сперва узнать, что это за тайна. Может быть, это какая-нибудь тайная тайка, которую надо держать в тайне, потому что если всякий дурак поймет, что эта тайна – уже не тайна, а такая тайна, которая известна каждому дураку.

Поделившись тайной с братом, я почувствовал некоторое облегчение, словно переложил часть тяжести на его плечи. Язык уже не так корчился у меня во рту. Мы побежали к колодцу и стали разглядывать, что там на дне. Однако ничего, кроме двух-трех лягушек, мне лично разглядеть не удалось. То, что в колодце живут лягушки, не было для нас тайной. Мы знали, что отец время от времени принимался чистить колодец, то есть вычерпывал из него воду и вылавливал лягушек, спустившись вниз по лестнице.

Сделав свое открытие, мы побежали домой, и брат тут же доложил отцу, что в колодце опять завелись лягушки.

– Много? – спросил отец.

– Четыре, – ответил брат. – В каждом углу по штуке.

– А с чего это вы вздумали смотреть в колодец? – вскинулся вдруг отец.

– Мы хотели проверить, есть ли там лягушки, – не моргнув глазом, ответил брат.

– Гм! – сказал отец и метнул понимающий взгляд в мою сторону.

Он, однако ж, ничего не сказал мне, только сердито засопел носом, и усы у него ошетинились.

После всех переговоров отец согласился провести границу между нашими владениями и елисеевскими по колодцу, то есть так, чтобы обе суверенные договаривающиеся стороны в равной степени имели доступ к воде. Поделившись с соседом колодцем, отец, однако, не поделился с ним тайной. Тайна так и осталась тайной. Сколько мы с братом ни торчали возле колодца, сколько ни смотрели на дно, тайна не открывалась. Потом почему-то мы стали думать, что отец верит, будто этот колодец должен или может принести ему счастье. Ведь бывают такие вещи, которые приносят счастье. Вот и этот колодец такой. Сначала мы с братом по секрету от всех называли колодец тайным, потом стали называть колодцем счастья или просто счастливым колодцем. Постепенно вера в то, что колодец счастливый, укрепилась в нас или мы просто привыкли так думать. Мысль о том, что у нас есть такой тайный счастливый колодец, приносила какое-то удовлетворение. Вселяла надежду. На что? Я даже не знаю сам.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Переехав в Киев, мы поселились на Глубочицкой улице, которая залегала в глубине огромнейшего оврага или каньона, как было бы правильнее его назвать. По этой улице или (что одно и то же) по дну оврага можно было спуститься из верхней части Киева в его нижнюю часть, расположенную вдоль берега Днепра и называвшуюся Подолом.

Я часто пытался представить себе нашу будущую киевскую

квартиру. Мне почему-то казалось, что мы поселимся в большом пятиэтажном доме с балконами, с затейливыми лепными украшениями на стенах, с какими-то чудесными замысловатыми статуями у подъезда или над подъездом (иной раз и не поймешь, что или кого такая статуя изображала: ангела или демона, “Размышление” или “Задумчивость” или еще какую-нибудь аллегория). Я часто видел такие дома, когда ездил с отцом и матерью в Киев, а потом вспоминал о них, как о каком-то чудесном видении. И не было у меня мечты прекраснее в те времена, чем мечта навсегда поселиться в Киеве, где такие замечательные парки, бульвары и скверы, с красивыми оградами и аккуратно подстриженными кустами и деревьями, где дома – словно сказочные дворцы, а по улицам движутся толпы прохожих, скачут во всю прыть рысаки, звенят трамваи, проносятся автомобили, оглашая воздух трубными звуками сигнальных рожков. Правда, автомобилей было тогда, как говорится, не густо, но они существовали уже и вносили свою долю оживления в кипучую городскую жизнь.

Я был еще очень мал тогда. У меня не было никакого жизненного опыта, и я не мог знать, что мечты не всегда соответствуют действительности, что за очарованием часто следует разочарование, что планы, которые мы создаем в своем воображении, обычно бывают богаче, чем их воплощение, что мы часто сами не знаем, нужно ли нам хотеть того, чего хочется, и не лучше ли нам хотеть не того, чего хочется, а того, чего и не хочется вовсе.

Дом на Глубочицкой улице, в котором отец нанял квартиру, оказался не пятиэтажный, как ожидал я (или, вернее сказать, как мне хотелось), а одноэтажный, причем какой-то серый, невзрачный, скучный на вид. В нем было всего несколько квартир. И что это за квартиры были! Ступив на небольшое, в три ступеньки, крылечко, вы попадали в холодные дощатые сенцы с решетчатым окном во всю стену до потолка, как обычно делается на закрытых террасках. Из сеней дверь вела прямо в кухню, в левой стене которой прилепилась одним своим боком

большая русская печь с огромной черной, широко разинутой пастью. Напротив этой пасти было окно, выходившее, однако же, не во двор, а в сенцы, в результате чего в кухне даже в яркий солнечный день было полутемно. Из кухни дверь вела в единственную комнату с единственным окном, смотревшим на улицу.

В эти “хоромы”, как насмешливо обозвала нашу новую квартиру мать, мы и переехали со всеми вещами и мебелью во главе с глубокомысленным шкафом и говорливым буфетом, со всеми кроватями, стульями и столами, с сундуком, комодом, швейной машиной, граммофоном, а также с картинами, о которых было известно, что отец привез их с японской войны. На этих картинах были изображены разные японские виды с неизменно торчащей где-нибудь на заднем плане конусообразной горой Фудзияма. Отец говорил, что японцы иначе не рисуют. Им обязательно надо, чтобы на каждой картине хоть где-нибудь в углу была изображена эта их любимая Фудзияма.

Не поехали с нами лишь чванливые, чопорные кресла и добродушный толстяк диван. Для таких важных персон в нашей новой квартире положительно не было места, и пришлось их оставить до лучших, как говорится, времен в Ирпене, в сарае. Я лично, сказать по правде, расстался с ними без сожаления, поскольку мне все равно не разрешалось на них сидеть.

Вход в описанную мной квартиру был со двора, если можно назвать двором то, что это слово должно было обозначать. В сущности, никакого двора здесь не было, так как, выйдя из сеней, вы упирались в подножие обрыва, то есть в крутую, почти отвесную стену оврага, на дне которого стоял дом. Чтобы выбраться на улицу, надо было пройти по узкой дорожке между стеной оврага и домом мимо других таких же, как наша, квартир. Повернув за угол и пройдя вдоль боковой стены дома, вы тут же попадали к деревянным воротам с калиткой. Одним словом, не разгуляешься. Во всем чувствовалось стеснение. Тесно было в доме, тесно было в этом, с позволения сказать, дворе, тесно было и на улице с узенькими, лепящимися прямо к стенам домов

тротуарами, шагая по которым только и приходилось глядеть, как бы не налететь на кого-нибудь из прохожих.

Вот когда я пожалел об ирпенском раздолье. С тех пор как мы переехали в Киев, в душе у меня поселилась мечта о возвращении обратно в Ирпень. Да и не только у меня в душе. У всех была такая мечта. Все только и твердили об этом, больше же всех отец.

“Ничего, – ободряюще говорил он. – Главное то, что у нас в Ирпене земля есть. Раз есть земля, можно построить дом. Вот если бы земли не было, тогда и думать, конечно, нечего. Не в воздухе же дом построишь. А поскольку земля есть, все можно сделать... Не сразу, конечно, а постепенно, потихонечку, помаленечку: сначала сарайчик построить, а там, глядишь, понемножку и домик... Сразу ведь ничего не делается...”

И он долго мог рассуждать на тему о том, что сразу ничего не делается, что все делается постепенно, что все нужно начинать с маленького... Я с удовольствием слушал эти рассуждения. Под них так хорошо мечталось! Отец как бы видел в своем воображении уже готовый сарайчик, выросший, словно по мановению волшебного жезла, где-нибудь в углу двора, а я видел себя на лугу (на болоте Пинского), где среди сочной зеленой травы копошилось бесчисленное множество разнообразнейших кузнечиков, кобылок, божьих коровок, жучков, паучков, мотыльков, букашек, мурашек, козявок, словом, всего, что на всяческие лады бегало, прыгало, скакало, ползало, порхало, летало, радуя глаз и заставляя душу замирать от восторга. У отца сарайчик постепенно наполнялся сосновыми бревнами, тесом для строительства дома, а мое воображение уносило меня в лес с его таинственным зеленым шумом и птичьим гомоном или на реку с ее тихими заводями и песчаными отмелями, где можно было сколько душе угодно барахтаться вместе с другими ребятами в воде, поднимая туга брызг и оглашая окрестности дикими криками, визгом и хохотом, которые самопроизвольно вырывались из груди, не желая сидеть внутри тела, когда вокруг было столько света, воздуха, красоты и простора.

К счастью, мы недолго прожили на дне описанного мной оврага и вскоре (уже не помню, в силу каких причин) переехали в один из окраинных районов Киева, именовавшийся в те времена Шулявкой, на Борщаговскую улицу, № 70. Почему-то мне запомнился этот номер: может быть, потому, что число было круглое, то есть заканчивающееся нулем. Дом здесь был тоже одноэтажный, и квартиры были устроены по тому же принципу, что и на Глубочицкой улице, то есть сначала сени, потом полутемная кухня с окном, выходящим в сени, потом комната. Разница заключалась в том, что и сени, и кухня, и комната были немного просторнее. А главное, не было торчащей под самым носом и закрывавшей доступ свету стены оврага. Выйдя из сеней, теперь уже можно было увидеть не подножие обрыва, а невысокий деревянный заборчик, за которым весело зеленел сад: яблони, груши, сливы, вишни, кусты смородины и малины. В комнате было два окна, выходивших во двор (дом стоял во дворе). Под окнами росла большая черемуха. Весной она зацветала так пышно, что казалось – это уже не дерево, а белое облако, каким-то чудом опустившееся на землю. Летом все дерево было осыпано темно-синими, почти черными ягодами величиной с горошину, которые мы поедали в огромных количествах. А зимой... О! Зимой было самое интересное, потому что на черемухе в это время года бывали частыми гостями снегири. Их хорошо можно было разглядеть, если забраться на подоконник и прижаться лицом к стеклу так, чтоб видеть верхние ветки дерева. Много лет прошло с тех пор, но я и сейчас очень легко представляю себе эту сказочную картину. На ней лишь одни голые, корявые темно-серые ветки черемухи, опушенные сверху белым снежком, а на ветках сидят красногрудые птички.

Милые друзья моего детства, мои милые снегири! Как я мечтал поймать хоть одного из вас и держать дома в клетке! Я воображал, что был бы самым счастливым человеком на свете, если бы мне подарили вдруг снегиря. Но мое детство так и прошло без снегиря. Никто никогда не дарил мне ни снегиря, ни какой-нибудь другой птички в клетке. Но я не жалею об этом. Я даже рад, что никогда не сажал вольную птицу в клетку, не

держал ее взаперти, в то время как она могла летать и наслаждаться свободой.

И не знаю сейчас уже, испытал бы я полное счастье в те времена, если бы стал вдруг обладателем снегиря. Но зато хорошо знаю, что был самым счастливым человеком на свете именно тогда, когда смотрел на моих любимых пичужек из окна и предавался своим мечтам.

ПЕРВЫЕ ДВОЙКИ

Обычно, возвратившись из гимназии, мы с братом обедали, потом садились делать заданные на дом уроки, после чего отправлялись гулять. Но однажды, после обеда, когда мы уже вышли из-за стола, а мать была чем-то занята в кухне, брат сказал, не разжимая зубов и с каким-то индифферентным, то есть ничего не выражающим, выражением на лице:

– Пойдем гулять.

– А уроки делать когда? – спросил я.

– А уроки сегодня не будем делать, – с тем же невозмутимым видом ответил брат.

– А вдруг завтра спросят? – высказал опасение я.

– А может быть, и не спросят.

В этом ответе чувствовалось какое-то разумное основание. Ведь в гимназии было совсем не то, к чему мы привыкли, занимаясь с Павлой Аполлинариевной, которая каждый раз проверяла, сделали ли мы заданное на дом. Но если у Павлы Аполлинариевны нас было всего двое, то в гимназии, в классе, было около сорока учеников. Конечно, учитель при всем желании не мог на каждом уроке опросить всех учеников. Это мы, безусловно, скоро заметили, и мой сообразительный брат пришел к совершенно логическому умозаключению, что если учитель не каждый день спрашивает уроки, то можно не каждый день и учить их.

Мы потихоньку оделись и двинулись через кухню к выходу. Мать, конечно, увидела наш маневр и спросила:

– Куда же вы? А уроки учить?

Этот вопрос застал нас врасплох, но мой находчивый брат и тут не растерялся.

– Нам сегодня ничего не задано! – закричал он, успев выскочить в сени.

– Нам сегодня ничего не задано! – закричал я ликующим голосом, проскакивая боком сквозь полуоткрытую дверь вслед за братом.

Я нарочно кричал ликующим голосом, чтоб мать видела, как я радуюсь по поводу того, что нам ничего не задано. Эта уловка, очевидно, подействовала, и мать не стала задерживать нас.

Мы прогуляли до вечера, а на следующий день, к счастью (может быть, вернее было бы сказать – к несчастью), никто из учителей не спросил нас. Опыт, как говорится, удался, и мы стали его повторять. Не каждый день, конечно, так как в этом случае мать догадалась бы, что мы ее обманываем, а с промежутками. Однако теперь, когда мы садились за уроки, то выполняли их не целиком, а только наполовину или процентов на тридцать пять. Если мать спрашивала, почему мы так быстро сделали уроки, то мы отвечали, что сегодня нам мало задано.

Результаты такого отношения к учебе не замедлили сказаться на нашей успеваемости. В тетрадях у нас и в дневниках запестрели двойки и единицы. Я научился, как принято говорить, хлопать глазами, то есть молча стоять на виду у всего класса, когда учитель вызовет к доске и велит отвечать урок. В такие моменты мне было, конечно, стыдно, но я полагал, что это от непривычки, а когда я попривыкну, то перестану стыдиться своей нерадивости, глупости, тупости или неспособности к учению (не знаю, какое слово тут лучше употребить), и тогда все будет хорошо.

В конце концов родители все же заметили, что по части учения дела наши идут далеко не блестяще. Теперь по возвращении с работы отец время от времени устраивал нам проверку, в результате которой обнаруживалось, что задачки по арифметике решены нами неправильно или даже вовсе не сделаны. И в том и другом случае мы оправдывались тем, что задачи трудные и мы не знаем, как их решить. Приходилось отцу объяснять нам, но для этого ему самому сначала надо было понять, как сделать задачу. Однако задачи попадались подчас такие, что и ему были не по зубам. Он подолгу просиживал над задачником, морщил лоб, хмурил брови, сердито сопел носом и на чем свет стоит проклинал составителей задачника, которые придумывают для детей такие задачи, что и взрослый не может решить.

К его чести нужно сказать, что он всегда додумывался до правильного решения. Но это была только половина дела. Вторая половина заключалась в том, чтоб растолковать нам, как сделать задачу, но тут у него, нужно прямо сказать, совсем ничего не получалось. Не могу припомнить, чтоб я хоть раз понял что-нибудь в его объяснениях. Обычно, объясняя, он нервничал, горячился, кричал, удивляясь, как это мы не понимаем того, что ему было совершенно ясно. Ему почему-то казалось, что чем громче он будет кричать, тем нам будет понятнее. Результат же получался противоположный. Я лично настолько шалел от этого крика, что терял способность соображать и уже даже не пытался понять задачу, а отвечал наобум, если отец задавал какой-нибудь вопрос. Услышав неправильный ответ, отец еще больше ярился, стучал по моему лбу указательным пальцем и кричал:

— Думать надо! Думать, а не болтать чепуху! Вот слушайте еще раз задачу.

И он снова, не знаю в какой раз, начинал громко читать задачу про какого-нибудь купца, который купил столько-то пудов муки первого, второго и третьего сорта, причем муки первого сорта было на столько-то меньше, чем муки второго сорта, и стоила она на столько-то дороже за пуд, чем мука третьего сорта, а муки третьего сорта было на столько-то больше, чем первого

сорта, и стоила она на столько-то дешевле за пуд, чем мука второго сорта. И спрашивалось, сколько денег заплатил за всю купленную муку купец, если известно, что за муку третьего сорта он заплатил столько-то рублей.

Прочитав задачу, отец делал паузу, чтобы дать нам подумать, и спрашивал:

– Что нужно сделать?

– Помножить, – отвечал брат.

– Что помножить?

Брат называл число, выражавшее общее количество пудов муки, и число, обозначающее стоимость муки третьего сорта.

– Ну, и что будет? – с иронией спрашивал отец.

– Нет, поделить, поделить, – поспешно отвечал брат, видя, что не угадал.

– Ну, и что будет? – с той же иронией спрашивал отец.

– Не знаю, – пожимал брат плечами.

– Вот и балбес! Не знаешь, а говоришь! Что же будет, если ты станешь делить всю муку на стоимость третьего сорта? Что нам известно?

Мне хотелось сказать, что нам ничего не известно, но неверным ответом я боялся навлечь на себя гнев родителя и поэтому помалкивал. Видя, что мы оба молчим, отец сам отвечал на свой вопрос:

– Нам известно, сколько всего было муки, – это раз; известно, что муки первого сорта было на столько-то меньше второго, а третьего на столько-то больше, чем первого, – это два; еще известно, что пуд муки первого сорта был на столько-то дороже, чем пуд второго сорта, а пуд третьего сорта был на столько-то дешевле второго. Известно также, сколько стоила вся мука

третьего сорта. Что мы можем узнать? – задавал он очередной вопрос.

Мне хотелось сказать, что мы ничего не можем узнать, но я решил сохранять благоразумие и продолжал молчать.

– Мы знаем, сколько стоила вся мука третьего сорта, – стараясь натолкнуть нашу мысль на верный путь, сказал отец. – Если бы мы знали, сколько стоит пуд муки третьего сорта, то, поделив, могли бы узнать, сколько пудов было третьего сорта. Мы можем узнать цену пуда муки третьего сорта.

На этот раз мне со всей решительностью хотелось сказать, что этого мы не можем, но отец продолжал:

– Можем! Почему?... Потому что мы знаем, что пуд третьего сорта стоил на столько-то дешевле пуда второго, а пуд второго – на столько-то дешевле пуда первого. Сложив эти числа, мы узнаем, на сколько дешевле был пуд третьего, чем пуд первого, а чтоб узнать, сколько стоил пуд третьего, надо это число отнять от цены пуда первого сорта. Мы не знаем цены пуда первого, но мы можем узнать, так как знаем, сколько было всего пудов муки, и знаем, что первого было на столько-то меньше второго, а третьего – на столько-то больше второго. Если мы сложим эти числа и результат отнимем от общего количества муки, а то, что получится, поделим на три, а к тому, что получится, прибавим, на сколько больше, то узнаем, сколько было пудов муки первого сорта... Отсюда уже нетрудно будет узнать, сколько было второго и третьего сорта, так как мы знаем, на сколько их было меньше...

Нужно сказать, что когда отец доходил до этого места в своих рассуждениях, я уже переставал представлять себе, что происходит вокруг, и понимал не больше, чем если бы он говорил не на русском языке, а по-китайски. Я сидел, словно погруженный в гипнотический сон, от которого меня пробуждал радостный возглас отца, которым он заканчивал свои рассуждения:

– Вот видите – все ясно! Значит, какой будет первый вопрос?

“Какой будет первый вопрос? Какой будет первый вопрос? – вертелось у меня в голове. – Да убей меня бог на этом самом месте, если я могу сказать, какой будет первый вопрос!”

Очевидно, у брата было не больше на этот счет соображений, чем у меня, так как и он сидел, не раскрывая рта. Наше молчание приводило отца в ярость. Он сам говорил, какой будет первый вопрос, и снова повторял все свои рассуждения, а когда доходил до конца, то оказывалось, что к этому времени мы уже успевали забыть, какой будет первый вопрос, и все приходилось начинать сначала, впрочем с тем же результатом. В конце концов он брал лист бумаги, записывал первый вопрос, производил соответствующее арифметическое действие, потом записывал второй вопрос, повторяя вслух каждое слово, словно вдабливал его в наши головы, опять делал нужное по ходу задачи сложение, вычитание, умножение или деление, записывал третий вопрос, и так до конца задачи. Обычно на этой стадии мы с братом говорили, что все поняли, и нам оставалось переписать отцовские записи в свои тетрадки, дополнив ошибками, которые были вполне оправданны, если учесть то состояние, в котором мы к тому времени находились.

Спустя несколько лет мне пришлось помогать в занятиях моим младшим сестре и брату, и неожиданно для себя я снова встретился с этим купчишкой, покупавшим пудами муку разных сортов. Я заметил при этом, что в задачнике шли задачи сначала попроще, потом посложней. Сначала купец покупал муку двух сортов, потом – трех, но в одинаковых количествах, и т. д.

Научившись предварительно решать задачки попроще, мы без особенного труда разобрались и в сложных задачах. Оказалось, вся беда заключалась в том, что, когда надо было решать простые задачи, мы с братом преспокойно гуляли, а когда отец наконец взялся за нас, было поздно. Мы уже очень отстали. Класс за это время ушел вперед.

Не понимая, о чем на уроке ведется речь, я вообще переставал слушать объяснения преподавателя. Мысли мои витали где-нибудь

далеко. Я все больше и больше привыкал к этому витанию и витал уже даже в тех случаях, когда разговор шел о чем-нибудь вполне доступном моему пониманию. Кризис, таким образом, усугублялся. Развязка приближалась.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Для меня лично все это кончилось, как принято говорить, плачевно: я остался в приготовительном классе на второй год. Это был первый крепкий щелчок, полученный мной от жизни, заставивший меня поверить, что я в каком-то смысле человек исключительный. На самом деле: исключая меня, все учившиеся вместе со мной ребята были переведены в первый класс. Даже брат мой был переведен, и для меня это было удивительнее всего. Уж я-то прекрасно знал, что отметки у него были ничуть не лучше, чем у меня.

Отцу, который по окончании учебного года побывал в гимназии, сказали, что старшенького, то есть моего брата, перевели в первый класс, а младшему будет полезнее посидеть еще годик в приготовительном классе, потому что он (он — это я, значит) слишком мал.

Такая акция со стороны гимназического начальства показалась мне крайне непоследовательной и несправедливой. Получалось, что меня оставили на второй год не потому, что я плохо учился, а потому, что был мал. Из этой истории можно было сделать лишь один согласующийся с законами логики вывод: плохо — не плохо учиться, а плохо быть маленьким.

О том, что плохо быть маленьким, мне и без всякой логики было известно, так как это я проверил на своей собственной практике. Ни для кого не секрет, что маленьким не только надо учиться, то есть ходить в школу, решать головоломные задачки, хлопать глазами, когда учитель спрашивал урок. У маленьких сверх того бывают еще разные обязанности по дому. На мне с братом лежала обязанностью носить из колодца воду и ходить в булочную за хлебом.

Ходить в булочную было страшно, так как у ее двери постоянно дежурил преогромнейший, ростом с теленка, рыжий лохматый пес с толстым, как полено, хвостом и страшной, свирепой мордой, представлявшей собой нечто среднее между мордой дикой свиньи и пятнистой гиены. К каждому, кто выходил из булочной, этот рыжий разбойник бросался и хриплым лаем выпрашивал подачку. Все покупатели уже знали этого попрошайку и, проходя мимо, бросали кусочек хлеба, который он ловил на лету и проглатывал, словно акула.

Меня этот рыжий бродяга, этот сухопутный крокодил, этот, с позволения сказать, “наш четвероногий друг” изводил до такой степени, что я не рад был и жизни. Ему было мало того, что я платил ему обычную дань, то есть, выходя из булочной, бросал кусочек хлеба. Нет! Проглотив подачку, он тут же бросался за мной вдогонку и рывкал у меня над ухом с такой силой, что душа моя уходила в пятки. Чтоб отделаться от моего преследователя, я швырял еще кусочек хлеба, стараясь забросить его назад, подальше, в надежде, что, пока пес будет разыскивать хлеб, я успею удрать. У пса, однако ж, был наметанный глаз и хороший нюх. Он быстро находил брошенный кусок и, проглотив его, снова догонял меня, так что приходилось швырять ему еще кусок, впрочем, все с тем же результатом.

Так он обычно преследовал меня чуть ли не до самого дома, после чего возвращался обратно к булочной.

Дома дело обходилось без нежелательных разговоров, если продавец отпускал в этот день мне хлеб с довеском. В таком случае можно было израсходовать на моего мучителя довесок, и пропажа не обнаруживалась. Если же довеска не было, приходилось отламывать для собаки кусочки от каравая или буханки. Мать обычно тут же замечала, что хлеб общипан, говорила, что этого нельзя делать, что если я хочу есть, то должен потерпеть до обеда... Если я пытался объяснить, что хлеба не ел, а отдал собаке, то мать говорила, что собаки бояться не надо, потому что она старая и беззубая и никого не кусает, что она вовсе не злая и не страшная. Все это, впрочем, ни в чем

меня не убеждало. Я продолжал бояться собаку, и если бы это от меня зависело, то согласился бы совсем не есть хлеба, лишь бы не ходить в булочную.

Говорили, что эта собака настолько большая и прожорливая, что хозяин не в состоянии накормить ее досыта, и поэтому она промышляет у булочной по собственной, так сказать, инициативе. Говорили также, что у нее вовсе нет хозяина, что она просто бездомная и вынуждена сама заботиться о своем пропитании. Я все же думал, что хозяин у нее имелся, так как иногда ее у дверей булочной не было, и можно предположить, что в это время она отдыхала дома. Но, может быть, покушав у булочной хлеба, она отправлялась куда-нибудь в мясную, чтоб подкрепиться мясом?

В сущности, для меня было безразлично, отдыхала собака дома или пошла в мясную. Не встретив на своем обычном посту моей мучительницы, я чувствовал себя счастливым... если в этот день мне не предстояло еще идти за водой.

В те времена в Киеве на таких окраинных улицах, как наша Борщаговская, водопровода вообще не существовало. Воду брали из колодцев, а колодцы имелись далеко не во всех дворах. Ближайший колодец, из которого разрешалось брать воду всем желающим, находился в полутора кварталах от нашего дома. Тащить ведро с водой в такую даль обременительно даже для взрослого, а для ребенка моих лет и вовсе было не под силу. При своей мизерной комплекции я еле мог дотащить полведра воды, да и то приходил с насквозь промокшими по бокам штанами: проклятая вода выплескивалась из ведра, и я, как ни старался, ничего не мог с ней поделать.

Это, однако, заботило меня меньше всего. Самое трудное заключалось в том, чтоб достать воду из колодца, над бревенчатым срубом которого имелся ворот с наматывающейся на него длиннущей цепью. К этой цепи привязывалось ведро. Первый этап операции состоял в том, чтобы, вращая железную рукоятку ворота, опустить ведро на дно колодца, вслед за чем наступал

наответственной момент: необходимо было сманипулировать рукояткой так, чтоб ведро наполнилось не целиком, а только наполовину (полное ведро я бы не смог вытащить из колодца). Если эта часть операции проходила успешно, нужно было снова вращать рукоятку, в результате чего цепь наматывалась на ворот, ведро с водой постепенно поднималось, пока наконец не появлялось вверху над срубом колодца. Тут наступал второй ответственный и даже рискованный, я бы сказал, момент. Прекратив вращение, теперь надо было одной рукой придерживать рукоятку ворота, а второй рукой поскорей схватить ведро за дужку, чтоб оно не полетело обратно в колодец. После этого можно было совсем отпустить рукоятку и, уже ухватившись обеими руками за дужку, вытащить ведро наружу.

Выполнять этот маневр было одинаково трудно как летом, так и зимой, но зимой дело осложнялось тем, что от постоянного расплескивания воды вокруг колодца постепенно образовывалась ледяная куполообразная гора. Воду приходилось доставать, стоя на вершине этого купола, поскользнувшись же на льду, можно было вполне свободно полететь в колодец с ведром в руках. Этого со мной, однако, не случилось ни разу, и скорее всего потому, что работать воротом мне самому приходилось не так уж часто. Обычно у колодца брал воду кто-нибудь из взрослых, и каждый из них охотно наливал мне полведра воды. Если же у колодца никого не было и я, доставая воду, терпел бедствие, что случалось, когда ведро наполнялось целиком и у меня не хватало сил “выкрутить” его из колодца, я терпеливо ждал, пока не прибудет помощь. И помощь в виде идущих к колодцу мужчины или женщины с ведром в руках обычно вскорости появлялась. Спасибо всем этим добрым людям. Это я считаю своим долгом сказать теперь, потому что тогда я, кажется, частенько забывал даже поблагодарить их.

Свет, как говорится, не без добрых людей, и если бы на свете были одни только добрые люди, то я даже не знаю, что было бы! К сожалению, на свете, помимо добрых, всегда имеется и некоторое количество злых людей. На нашей Борщаговской улице

тоже жил один злой человек, от которого мне приходилось много терпеть. Звали этого злого человека Степка-растрепка. Он был на год или на два старше меня и часто ходил мимо нашего дома. Первое время после того, как мы переехали на Борщаговскую улицу, я этого Степку не замечал. Мне до него не было дела. И ему до меня не было дела. Каждый из нас был сам по себе. Но на нашей улице напротив нашего дома жили две маленькие девочки. Сейчас я уже не помню, как их звали. А может быть, я даже и не знал их имен. Мне до них тоже, в общем-то, дела не было. Помню, что одна из них была черненькая, то есть черноглазая и с черными волосами, другая – беленькая. Они играли у себя во дворе, часто выскакивали из калитки на улицу и бегали в палисаднике перед домом.

И вот однажды, когда Степка шел по улице, они высунулись из калитки и, подождав, когда он пройдет, крикнули вслед:

– Степка-растрепка, Бешеный Огурец!

Степка моментально остановился, круто повернулся и бросился к обидчицам. Девчонки, однако, успели захлопнуть у него перед носом калитку и запереть на крючок. Степка с разбегу налетел на калитку и тут же отскочил от нее, как футбольный мяч, попавший в штангу ворот. Видя, что калитка заперта, он поднапер на нее плечом, но так как это не помогло, он в сердцах стукнул по ней ногой и, больно ударившись, запрыгал на одной ноге.

Вся эта сильно комическая сцена разыгралась у меня на глазах, а так как я был большой любитель посмеяться, то тут же расхохотался. Услышав смех, Степка обратил весь свой гнев на меня.

– А ты тут чего еще зубы скалишь? – закричал он и помчался через дорогу прямо ко мне.

Я быстро юркнул к себе во двор, а он, остановившись в калитке, закричал, грозя кулаком:

– Ну, ты еще попадешься мне!

И действительно! С тех пор я стал ему “попадаться”. Обычно, увидев меня на улице, он бросался за мной в погоню и если успевал догнать до того, как я скроюсь в калитке, то давал мне по шее. Это было обидно и ужасно меня сердило. Не зная, как отплатить ему, я дожидался в бессильной злобе, когда он отойдет от наших ворот подальше, и, высунувшись из калитки, кричал:

– Степка-растрепка, Бешеный Огурец!

Он же отвечал, что я еще попадусь ему, что мы еще встретимся, что он мне покажет, и прочее в таком роде. И, конечно же, оказывался прав. Я не раз улепетывал от него, и успех мне сопутствовал лишь в том случае, когда я был ближе к спасительной калитке, чем он. Если же дислокация была такова, что ближе к калитке оказывался он, то дело не обходилось без подзатыльников и тумаков.

Самая неблагоприятная ситуация для меня возникала, если я попадался ему, когда нес из колодца воду. Поставить ведро на тротуар и вступить в единоборство с ним я не мог, поскольку он был и старше меня и сильнее. Оставить ведро и убежать тоже было нельзя, так как он мог плюнуть в ведро или просто опрокинуть его и разлить воду. В таких случаях я, насколько мог, убыстрял шаг, стараясь не выпустить из рук ведро, а он спокойненько шел за мной и отвешивал подзатыльники один за другим, пока, в конце концов, я все же не добирался до заветной калитки.

В общем, терпеть от этого Степки мне приходилось не меньше, чем от собаки, дежурившей у булочной. Может быть, даже больше. В действиях собаки не было ничего оскорбительного, унижающего мое человеческое достоинство. Собака просто хотела есть и не имела намерения обидеть или напугать меня. Но Степка систематически и сознательно колотил и унижал меня. И за что? За то, что я смеялся? Но попробуйте не смеяться, когда вам

смешно, и вы увидите, что это так же трудно, как плакать, когда не хочется плакать. Ну и пусть бы я был виноват в том, что смеялся, все-таки кара за это была неестественно велика. Наказание, так сказать, не соответствовало преступлению.

Степка наказывал меня лишь потому, что он мог наказывать, а не потому, что я заслуживал наказания. Допустим, что я был бы такой же большой, как Степка, а Степка был бы такой маленький, как я в те времена. И если бы я (большой) посмеялся над Степкой (над маленьким Степкой), разве он мог бы после этого колотить меня? Нет! Пришлось бы ему потерпеть, вместо того чтобы показывать свою власть. Таким образом, вся моя беда заключалась лишь в том, что я был слишком мал.

И вот в довершение всех бед я остался еще на второй год. И опять-таки, выходит, потому, видите ли, что был “слишком уж мал”. Что тут скажешь на это?.. Ха-ха, как говорится! И ничего больше.

НА ДНЕ

Люди, не имеющие детей, иной раз больше любят заниматься с детишками, нежели их собственные родители. Родители, должно быть, думают, что с этим еще успеется, а время между тем потихонечку идет себе да идет, ребята вырастают, а тогда чего уже с ними играть? А может быть, родителям и без того надоедает возиться с детишками, так сказать, в силу своих родительских обязанностей? Бездетные же люди имеют какую-то потребность общения с детьми и поэтому не прочь иногда поиграть с ними, пошутить, поговорить на разные темы.

У дяди Володи, очевидно, имелась такая потребность, а поскольку своих детей не было, он любил подурачиться со мной и братом: поиграть с нами в мяч или в снежки, сходить в лес или покататься с горы на санках. К тому же он часто покупал нам подарки, так как у него всегда были деньги. Вернее, деньги были у его жены Софьи Павловны или, проще говоря, моей тети Сони, но, поскольку он на ней женился, эти деньги считались все равно что его, и он начал думать, как бы пустить их в

оборот. В конце концов он додумался заняться торговлей и открыл лавку.

В те времена на Галицкой площади (то есть на одной из самых больших киевских площадей) был огромный рынок. Как раз в том месте площади, где кончался Бибиковский бульвар, был построен ряд новых деревянных лавок. Одна из этих лавок была дяди Володина. Купил он ее или арендовал, этого я не знаю. Торговля в этой лавке велась дегтем, колесной мазью, мелом для побелки стен, коноплей, просом, овсом, отрубями, жмыхами, мылом – в общем, всем, что могло понадобиться крестьянам, привозившим на рынок продукты своего хозяйства. Кроме того, торговля велась древесным углем, употреблявшимся в те времена повсеместно для жаровен и самоваров.

Держать уголь в лавке было нельзя, так как он все вокруг пачкал. Весь запас этого товара хранился в специальном амбаре, построенном во дворе позади лавки. Было, однако, хлопотно каждый раз закрывать лавку и отправляться с покупателем в амбар, чтобы отпустить уголь. Поэтому дядя Володя придумал, чтоб на время летних каникул мы с братом по очереди (то есть один день я, другой день он) сидели в амбаре и отпускали покупателям уголь. Он сказал, что это дело нехитрое, что сидеть в амбаре придется каждому лишь через день, так что останется время и на гулянье, а между тем мы будем потихонечку приучаться к делу.

Таким образом, началось наше великое (как мы его называли потом) сидение в амбаре.

Этот амбар представлял собой огромный погреб или, если выразиться более современно, бункер, то есть наполовину врытый в землю сарай с серым цементным полом и потолком и такими же цементными стенами. В этом бункере имелось лишь одно крошечное, забранное железной решеткой окно, к тому же находилось оно не на обычном уровне, как в домах, а высоко под потолком, как это делается в тюрьмах. Кроме маленького кусочка неба, в это окно ничего не было видно.

Тут же, под окном, то есть на самом освещенном месте, была насыпана куча древесного угля, стоял стул, на котором я мог сидеть, а к железному крюку, прикрепленному к потолку, были подвешены огромные весы с коромыслом и двумя большими медными чашками. На этих весах я взвешивал уголь. При этом поднимались целые тучи мельчайшей угольной пыли, которая оседала у меня на лбу, на носу, на щеках и даже на ушах, так что на сплошь черном, словно покрытом сажей, лице у меня сверкали только белки глаз да зубы во рту. Мало того: эта проклятая пыль лезла и в нос и в рот, так что мокрота, которой я то и дело отхаркивался и сморкался, была чернее самого черного дегтя.

Время от времени ко мне в подвал спускался кто-нибудь из покупателей с записочкой от дяди Володи, на которой было обозначено, сколько угля следовало отпустить. Каждому покупателю я отвешивал требуемое количество угля и от каждого выслушивал какое-нибудь насмешливое замечание по поводу того, что я слишком мал, или что я слишком черен, или что я здесь, в этом подвале, словно чертенок в аду, а уголь у меня, стало быть, для поджаривания грешников. На все эти не слишком разумные замечания я отвечал презрительным молчанием, так как что тут ответишь? Разве моя вина в том, что я был слишком мал, и разве я мог не быть черным, если имел дело с углем?

Когда торговля кончалась и я отправлялся домой, прохожие на улице оглядывались на меня и тоже отпускали разные шуточки по моему адресу. А маленькие ребятишки бежали иной раз за мной гурьбой и кричали, захлебываясь от смеха:

– Трубочист! Негритенок! Страшила! Чучело! Особенно тягостными были для меня первые дни сидения в этом угольном каземате. Покупатели являлись не часто, поэтому скучать приходилось главным образом в одиночестве. Сидя на стуле, я глядел на кучу угля, над которой в серебристой полоске солнечного луча, падавшего из окна, толклись мириады угольных пылинок. Но мысленно я был далеко от этой кучи. Я был со своими друзьями, которые, как всегда в это время, гуляли в Кадетской роще, купались или удили рыбу в Кадетском пруду. Пруд этот огромный

– целое озеро – был тут же, рядом с Кадетской рощей. Кроме пруда, неподалеку имелось еще обширнейшее болото, по которому можно было путешествовать, прыгая с кочки на кочку или бродя по колено в воде.

Как раз накануне, совершая путешествие по болоту, мы нашли под кустом, на кочке, гнездо дикой утки с выводком диких утят. Утята были крохотные, пушистые и до такой степени легкие, что, казалось, ничего не весили. Их можно было брать из гнезда и сажать в воду, и они не тонули, а без всяких усилий держались на поверхности воды. Самой утки поблизости не было. Может быть, мы спугнули ее и она пряталась от нас где-нибудь в кустах или зарослях камыша. Мы решили утят не трогать, а приходить сюда ежедневно и наблюдать, как будут они расти.

Ну и вот!.. Теперь, вместо того чтобы гулять в лесу, купаться или ловить рыбу в пруду, вместо того чтобы путешествовать по болоту и любоваться дикими утятами, я должен был сидеть в темном, сыром подвале в ожидании редких покупателей и томиться от скуки.

Когда глаза мои полностью освоились с царившим вокруг полумраком, мое внимание привлекла лежавшая в одном из темных углов подвала куча того, что теперь называют макулатурой, а тогда называлось просто бумажным хламом. Здесь были старые газеты, журналы, не переплетенные и даже не разрезанные книжки собраний сочинений разных писателей, которые давались в приложениях к выходившему в те времена журналу “Нива”. По мере надобности дядя Володя брал из этой кучи бумагу и относил ее в лавку для завертывания покупок своим покупателям.

Как только эта куча попалась мне на глаза, я принялся читать книгу за книгой и в сравнительно небольшой срок прочитал полные собрания сочинений Гауптмана, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка и ничего или почти ничего в них не понял. В то время я еще не умел выбирать книги, подходящие для моего возраста, а читал все без разбора и не бросал книгу, если видел, что она для меня непонятна, а продолжал упорно читать,

надеясь, что мне вдруг, каким-то чудом откроется ее тайный смысл.

Однажды, роюсь в куче бумажного хлама, я вытащил какую-то старую, истрепанную книжонку, в которой листочки еле держались, а некоторые и вовсе были оторваны. Обложка истерлась до такой степени, что мне с трудом удалось прочитать название. Это были сказки Ганса Христиана Андерсена. Я хотел эту книжку тут же бросить обратно в кучу, но подумал: если она так сильно потрепана, то это потому, должно быть, что ее читали многие люди, а раз так, то, наверное, она интересная. Я начал эту книгу читать и уже не мог от нее оторваться. Хотя я уже знал в то время, что сказки – это неправда, мне казалось, что в этих сказках изображена самая настоящая, самая доподлинная жизнь.

Особенно сильное впечатление произвела на меня в этой книжке история, которая называлась “Гадкий утенок”. Я очень сочувствовал бедному утенку, потому что мне самому приходилось в жизни терпеть много обид: и от страшной собаки, и от бешеного Степки-растрепки, и от ребятишек, которые дразнили меня, и от насмешливых покупателей. К тому же еще я остался на второй год и меня все время сверлила мысль, что, как только закончится лето, я снова пойду в школу, и все ребята, с которыми я учился в прошлом году, будут подходить ко мне и с презрением говорить:

“Эх, ты! Остался на второй год! Мы теперь будем первоклассники, потому что мы умнее. А ты глупый. Ты глупый гадкий утенок, вот ты кто!”

ЗА ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

А в общем, все обошлось как-то. Никто не дразнил меня, когда я пришел осенью в школу, никто не говорил презрительных слов. Все для меня началось заново, с той разницей, что теперь я сидел за партой уже не с братом, а был у меня товарищ Володька Митулин, маленький худенький мальчик с остреньким носиком, бледным лицом и большими голубыми глазами. Я очень привязался

к нему, так же как и он ко мне. У него была страсть: дарить что-нибудь. Бывало, придет утром в класс с каким-нибудь красивым карандашом и показывает мне:

– Смотри, какой карандаш. Правда, красивый?

– Красивый, – соглашаюсь я.

– Вот попробуй, как хорошо рисует.

Я возьму карандаш, почеркаю по бумаге.

– Правда, хорошо?

– Хорошо, – соглашаюсь я.

Он заглядывает мне в глаза. Видит, что карандаш на самом деле нравится мне.

– Хочешь, тебе подарю?

Я, понятное дело, отказываюсь. Мне не хочется отбирать у него вещь, которая его так радует. Тогда он начинает клясться, божиться, что ему ничуть не жалко, что, если он захочет, у него завтра же будет тысяча таких карандашей. Видя же, что я не соглашаюсь, он кричит своим тоненьким голосом:

– Ну хорошо, пополам! Пополам!

И, уже не дожидаясь моего согласия, вытаскивает из кармана перочинный нож и разрезает карандаш на две части.

Я, конечно, тоже старался не оставаться в долгу, и у нас установилось такое обыкновение: что бы у кого ни было – карандаш, грифель, ластик, мелок, кусок смолы, сургуча, пластилина или оконной замазки, – все пополам. Но бывают ведь вещи, которые не разделишь так просто: какая-нибудь диковинная пуговица, красивая открытка, иностранная монетка или почтовая марка. Попробуй, однако, отказаться от медной блестящей пуговицы (самой настоящей солдатской пуговицы!), если ему уж

так хочется подарить тебе! Сегодня ты не взял у него пуговицу, а завтра он не возьмет у тебя переводную картинку, которую тебе хочется подарить ему.

– Вот возьмишь, – говорит, – пуговицу, тогда возьму у тебя картинку.

В общем, был он какой-то, что называется, “шиворот-навыворот”, не такой, как другие мальчишки, с которыми один разговор:

“Вот ты не дал мне вчера пуговицу, которую я просил, а сегодня не получишь у меня картинку. Как говорится – фигос под нос!”

Однажды приносит осколок красного стекла. Если приложить его к глазу, а другой глаз зажмурить, то весь мир вокруг преобразается: все становится ярким, красочным, необычным, словно попадаешь в какое-то волшебное царство. Смотришь в это стеклышко, смотришь, никак наглядеться не можешь. А он только улыбается:

– Хочешь, тебе подарю?

Увидев, однако, по выражению лица, что ты не можешь принять от него такую драгоценность, тут же спохватывается:

– Ну, ладно, пополам! Пополам!

Как всегда быстрый на руку, он кладет стеклышко на пол – и трах каблуком. Вместо того чтоб расколоться надвое, стеклышко разлетается на мелкие части, которые и собрать нельзя. Он смотрит на них с каким-то спокойным недоумением и не спеша садится за парту.

– Ну вот, – говорит, – ни мне, ни тебе не досталось.

И все это с каким-то непривычным добродушием, без всякой досады, будто и дело было только в том, чтоб никому не досталось.

Нужно сказать, что игрушками, которые есть у теперешних ребят,

мы не были избалованы, потому что тогда шла война. Это была первая мировая война, которая началась, еще когда мы жили в Ирпене, то есть до нашего поступления в гимназию. Вначале все думали, что война скоро кончится, но шли дни, недели, месяцы и годы, а конца ей все не было видно. Множество народа было убито, искалечено, отравлено ядовитыми газами. Миллионы рабочих и крестьян были оторваны от своей работы и посланы на фронт. В деревнях не хватало рабочих рук. Некому было сеять хлеб. Жить с каждым днем становилось трудней.

Теперь мне не просто надо было сходить в булочную да купить хлеба. Приходилось иной раз отстоять в длинной очереди. А бывало и так, что хлеба на всех не хватит, и вернешься домой с пустыми руками.

Люди потихоньку говорили между собой, что простому русскому человеку, так же как и простому рабочему-немцу, не за что убивать друг друга, что война нужна только нашему царю Николашке (так непочтительно называли в народе царя Николая Второго) и немецкому кайзеру Вильгельму, которые задумали отнять друг у друга какие-то земли, и вот если мы сделаем революцию и свергнем царя Николая, а немцы свергнут своего Вильгешку, то война прекратится сама собой, солдаты разъедутся по домам, и всем сразу станет легче.

Таким образом, Февральская революция, которая произошла, когда я второй год учился в подготовительном классе, не была неожиданностью для меня, но в то же время она совершилась неожиданно, как случается то, чего давно с нетерпением ждешь. Сейчас я уже не помню, на каком из уроков явившийся в класс учитель с торжественной значительностью в голосе объявил нам, что произошла революция и царь Николай Второй отрекся от престола.

Это сообщение вызвало всеобщее ликование. И тут же обнаружилось, как понимали мы, дети, смысл происшедшего. В нашем представлении слово “революция” было равнозначно словам “свобода”, “воля”. А свобода, по нашему мнению, была, когда

каждый мог делать, что ему хочется, и не делать, чего не хочется; следовательно, мог бы и не учиться, потому что учиться нам, в общем-то, не хотелось. Кто-то из учеников тут же выскочил из-за парты и, несмотря на присутствие учителя, широко распахнул дверь и выбежал вон из класса. Вслед за ним бросились и мы, то есть все остальные.

Коридор быстро заполнялся учениками, выбежавшими из других классов. Все мы с диким визгом, криком и гиканьем ринулись вниз по лестнице, словно лавина с гор, и, выбежав на улицу, принялись рвать в клочья свои тетради, дневники и даже учебники. Весь коротенький Рыльский переулок был густо усеян изорванными листочками из книг и тетрадей.

На следующий день поднялся сильный ветер. Он вымел из Рыльского переулочка все эти бумажки прямо на Софийскую площадь. Они кружились в воздухе, словно птичья стая, вокруг памятника Богдану Хмельницкому. И железный гетман, сидя на железном коне, властно указывал на вихрившиеся вокруг обрывки бумаги своей гетманской булавой. Мне запомнилась эта картина.

Время, однако, шло, а перемен что-то не видно было. Заводы и фабрики по-прежнему оставались в руках богачей фабрикантов. По-прежнему богачи помещики владели огромными землями, а у бедняков крестьян земли не хватало и нечем было прокормить себя и свою семью. И самое главное – по-прежнему шла война, уносившая тысячи жизней.

Но правду сказать, перемены все же какие-то произошли, и заключались они в первую очередь в том, что если о чем-то прежде говорили таясь, потихоньку, то теперь не стеснялись говорить во весь голос. Все повсюду о чем-то спорили... хотя вру, прошу прощения – спорили не о чем-то, а о том, как жить дальше, что делать, какая должна быть революция, какая власть.

У нас в доме споры происходили между отцом и дядей Колей, братом моей матери. Дядя Коля часто приходил к нам и был очень дружен с отцом. Предметом их споров были обычно разногласия

между большевиками и меньшевиками. Отец был за большевиков и считал, что правы большевики. Дядя Коля был за меньшевиков и считал, что правда на их стороне. Слушая эти споры, я никак не мог понять причину разногласий, да, признаться, подозревал, что и сами спорщики этого до конца не понимали. Если отец говорил, что правы большевики, так как они хотят того-то и того-то, то дядя Коля отвечал, что ведь и меньшевики хотят именно этого, на что отец отвечал, что меньшевики хотят не этого, а чего-то другого, а дядя Коля отвечал, что чего-то другого хотят именно большевики. Спорщики постепенно забирались в такие словесные дебри, из которых сами уже не могли выбраться, и спор кончался тем, что дядя Коля, суя в пепельницу уже не знаю какую по счету выкуренную папиросу, с добродушным упрямством мотал головой и говорил:

– Не-ет, я все-таки меньшевик!

– А я большевик! – не сдавался отец.

Нужно сказать, что спорили они вполне корректно, без запальчивости, не теряя уважения друг к другу. Может быть, тому причиной были родственные отношения и разница в возрасте. Дядя Коля был младше. Отец знал его еще мальчиком, по привычке говорил ему “ты” и называл просто Колей. Дядя Коля неизменно говорил отцу “вы” и называл Николаем Петровичем.

Ни тот, ни другой не были членами большевистской или меньшевистской партий, но в тогдашние времена было такое обыкновение: кто был за большевиков, тот считал себя большевиком и говорил, что он большевик, а кто разделял взгляды меньшевиков, говорил о себе: “Я меньшевик”.

Что касается меня лично, то я безусловно был за большевиков, но, признаюсь, вовсе не потому, что знал программу большевистской партии и мог сказать, чем она отличается от других всяких программ, а, во-первых, потому, что за большевиков был отец, во-вторых, само слово “большевик” мне нравилось, а слово “меньшевик” не нравилось по той ассоциации,

что больше всегда лучше, чем меньше; лучше иметь чего-нибудь больше, нежели меньше, лучше быть большим, а не маленьким и т. д. К тому же из всех разговоров определенно чувствовалось, что большевики против буржуев (так тогда было принято называть богачей), что они за народ, то есть за бедняков, и не просто за бедняков, а за самых бедных, за неимущих, у кого совсем ничего нет, за пролетариев. Кстати, слово “пролетарий” тоже нравилось; в нем было что-то легкое, воздушное, летающее.

Эти слова, то есть “большевики” “меньшевики”, “буржуи” и “пролетарий”, были самые употребительные в те времена. Их можно было услышать дома и во дворе, на улицах и площадях. Наравне с ними употреблялось, пожалуй, только слово “долой”: “Долой войну!”, “Долой буржуев!”, “Долой Временное правительство!”, “Долой десять министров-капиталистов!” (то есть тех десять богачей-министров, из которых состояло Временное правительство).

Ветер революции только подул, а взбаламученное людское море уже не могло успокоиться. Оно бурлило, кипело. Его, как говорится, штормило. На городских площадях то и дело происходили митинги. На платформу подкатившего к тротуару грузовика один за другим взбирались ораторы и выступали перед собравшейся вокруг толпой. Они говорили, щедро уснащая свои речи такими словами, как “эксплуатация”, “экспроприация”, “национализация”, “демократизация”, “демобилизация”, “контрибуция”, “реставрация”, “узурпация”, “милитаризация” и так далее в этом роде. Насыщенные такими словами речи были непонятны мне. Да и не одному мне, насколько я мог заметить. Уже после митинга в поредевшей толпе начинались свои, более понятные для меня разговоры.

— Чего там рассусоливать долго, — говорил какой-то бородатый дядя, обращаясь к стоявшему рядом такому же дяде, но без бороды. — Отобрать у богачей все богатства и поделить между остальными.

— А как делить? Поровну, что ли? — спрашивал тот, который без

бороды.

– Знамо дело, поровну. Как же еще?

– Ишь ты! “Знамо дело”! – передразнивал который без бороды. – Вот поделим поровну. Тебе, скажем, тыщу рублей и мне тыщу. Ты свою тыщу проедать начнешь, а я в дело пушу: фабричку заведу, рабочих найму, продукцию выпускать начну да тебе и таким, как ты, продавать буду. Ты свою тыщу через год проешь да ко мне в работники наниматься придешь. Вот так и будет: сначала поровну, а пройдет время – новый класс богачей народится. Тогда что? Новую революцию делать?

– Ну, тады что? Тады новую, – растерянно бормотал бородач.

– Эх, ты! “Тады, тады”! – корчил презрительную гримасу собеседник и, раскрыв рот, показывал бородачу язык: – Вот тебе и “тады”!

Такие разговоры были более понятны и оставались в памяти. Постепенно становилось ясно, что простым дележом награбленных богачами капиталов дела не решишь, а нужны меры, чтоб одни люди не могли обогащаться за счет других.

Многие революционеры, томившиеся при царе в тюрьмах, получили свободу. То было время, когда в Россию вернулся Ленин, скрывавшийся от преследования царского правительства в Швейцарии. Возвращались и другие революционеры, бежавшие из России в разные страны. Постепенно возвращались политические ссыльные и каторжники из далекой Сибири.

Как только произошла Февральская революция, все запреты царского правительства отпали как бы сами собой, и на сцене снова появился квартет “сибирских бродяг”. В это время я и услышал песни тюрьмы и воли, но уже не дома, а на концерте, на который взял меня с братом отец. До этого я ни разу на эстрадном концерте не был. Был только несколько раз в кино, два раза в цирке и один раз в оперном театре.

Никакой концерт тогда не обходился без так называемых куплетистов, рассказчиков, танцоров (в большом ходу был эстрадный танец чечетка), а также оригинального жанра, то есть фокусников, иллюзионистов, отгадчиков мыслей на расстоянии, эксцентриков, которые до упаду смешили публику, разыгрывая самые уморительные сценки. Впервые попав на концерт, я на все это смотрел, как говорится, разинув рот и развесив уши, а когда в конце концов на сцене появился квартет “сибирских бродяг”, я не узнал этих хорошо мне знакомых людей, в том числе и родного отца. Мало того, что они нарядились в какую-то несусветную рвань, у всех были всклокоченные, словно давно не чесанные волосы, лица заросли дремучими бородами, за плечами – котомки, в руках – длинные суковатые палки или посохи. Лишь у одного палки не было, а был баян. Уже когда запели, я понял, что тот, который с баяном, и есть мой отец, так как я знал, что он не только поет в квартете, но и аккомпанирует на баяне. Я догадался, что он, как и другие, загримировался, надев парик с косматыми волосами, наклеив бороду и усы. Помимо лаптей с онучами и покрытого разноцветными заплатами коричневого крестьянского армяка, на нем была старая, помятая, выдавшая виды черная шляпа, на полях которой зияла дыра величиной с кулак.

После исполнения квартетом каждого номера публика оглушительно хлопала в ладоши, кричала “браво”, стучала ногами и приходила в такое неистовство, словно перед ней были не артисты, а самые настоящие беглые каторжники, явившиеся на сцену прямехонько из сибирской ссылки.

С тех пор мы с братом пользовались любой возможностью, чтоб попасть куда-нибудь на концерт, а концерты тогда давались не только в эстрадных театрах или концертных залах, но даже в кино. Некоторые киевские кинотеатры в те годы работали не по обычному графику. Отдельных сеансов в этих кинотеатрах не было. На весь вечер полагался один киносеанс, перед которым устраивали большой эстрадный концерт. Публика в убытке не была. Насладившись концертом, она смотрела еще на закуску

кинопрограмму, состоявшую обычно из так называемого видового фильма, кинохроники, короткометражной комедии с тумаками и подзатыльниками и большой драмы с завлекающим названием или американского боевика с ковбоями, с погонями, убийствами, нападениями, похищениями, с индейцами, вигвамами, мокасинами и томагавками.

Фильмы эти были так называемые немые, но шли они не в абсолютной тишине, а под музыку, исполняемую на пианино. Пианист время от времени поглядывал на экран и, если в картине было что-нибудь грустное, исполнял выбранную на свой вкус какую-нибудь грустную мелодию; если в фильме происходила битва, драка, погоня, падение поезда под откос или с моста в реку, он играл что-нибудь бравурное; когда же на экране общество веселилось или происходили танцы, он тут же переключался на какой-нибудь плясовой мотив. Без такого музыкального сопровождения немой фильм терял больше половины своей прелести, и многое в его восприятии зависело от квалификации пианиста, от его умения подобрать на каждый момент соответствующую музыку и тронуть, так сказать, зрителя за душу качеством исполнения.

Я не знаю, какой кинофабрикой был поставлен демонстрировавшийся в те времена кинофильм под названием “По диким степям Забайкалья”. Содержание его примерно следующее. У какого-то бедняка крестьянина за неуплату долга помещику городовые отбирают единственную корову. Отчаявшийся крестьянин оказывает сопротивление полиции. За это его отдают под суд и ссылают в Сибирь на каторгу. Дома остаются жена, малые ребятишки, старенькие родители. Истосковавшись по родным, по дому, бедняга совершает побег, пробирается с невероятными трудностями через всю Сибирь, но, когда уже почти добирается до родного дома, его снова хватает полиция и водворяет обратно на каторгу, так и не дав повидаться с родными.

Не знаю также, кому именно принадлежала мысль показывать этот фильм не просто под музыку, а в сопровождении квартета “сибирских бродяг”, но эффект получился самый ошеломляющий.

Содержание исполняемых квартетом песен предельно соответствовало содержанию фильма, и это производило такое эмоциональное воздействие на публику, что все плакали. Когда я впервые смотрел этот фильм, то, оглядевшись по сторонам, заметил, что весь зал буквально пестрел беленькими носовыми платочками, которыми зрители утирали слезы. Я был уверен, что у меня ко всем этим песням уже давно выработался стойкий иммунитет. Поэтому я довольно долго крепился, но когда исполнение дошло до слов:

Бродяга к Байкалу подходит,

Рыбацкую лодку берет,

Унылую песню заводит:

Про родину что-то поет...

и увидев в то же время на экране, что бродяга действительно садится в лодку и, открывая рот, что-то поет, я не выдержал, и слезы брызнули из моих глаз. Теперь уже до конца фильма слезы душили меня. Жалко было невинно пострадавшего беднягу. И в душе зрела ненависть к обездолившему его богачу помещику и вообще ко всем богачам, полицейским, царским чиновникам, чинившим суд и расправу над бедняками. И я, может быть впервые, понял, что неспроста народ сочинил песни тюрьмы и воли. Неспроста существовали эти песни и квартет, распевавший их. Они будили мысли и чувства людей и тем самым служили делу борьбы за торжество справедливости на нашей земле.

“ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ”

С империалистической войной покончила лишь Октябрьская революция. Однако тут же началась гражданская война, так как беяки вовсе не хотели уступать власть Советам. Когда в городе устанавливалась Советская власть, отец вместе со всем квартетом работал в культпросвете (то есть в отделе культурного просвещения) Красной Армии. Работа эта заключалась в тех же выступлениях квартета “сибирских бродяг”, но

происходили они уже не в театрах или концертных залах, а в красноармейских частях или военных госпиталях. На одном из таких выступлений в госпитале мне случилось побывать, и этот день мне особенно запомнился, может быть, потому, что тогда я познакомился с настоящим большим искусством театра.

Я и раньше знал, что существуют драматические театры, где актеры играют пьесы, но думал, что это неинтересно, поскольку там не показывают фокусов, не пляшут чечетку, не играют на музыкальных инструментах, даже не поют под музыку, как в опере, а просто говорят простыми человеческими словами, как в простой человеческой жизни. К тому же я воображал, что выступления артистов будут происходить в какой-нибудь больничной палате, где на койках будут лежать раненые. Эти раненые будут стонать от боли, а артисты будут делать свое дело, то есть петь, играть, плясать, не обращая внимания на стоны и слезы.

Все, однако, вышло не так, как рисовалось моему воображению.

Оказалось, что при госпитале, который помещался в здании бывшего военного училища, имеется большой зал со сценой, как в настоящем театре. Мы приехали задолго до начала спектакля, но на сцене несколько актеров и актрис уже готовились к представлению: намечали, где что будет стоять из мебели, кто и откуда будет выходить на сцену, наскоро проговаривали текст своих ролей, и из услышанных слов я понимал, что собирались играть гоголевскую “Женитьбу”. Это произведение моего любимого Гоголя к тому времени я уже прочитал, но оно не произвело на меня такого впечатления, как “Вий”, “Тарас Бульба” или “Страшная месть”.

Я слонялся по скупо освещенной сцене, разглядывая кулисы и несложную декорацию, вернее сказать — задник, изображавший стену комнаты со стоящими на подоконниках олеандрами, фикусами и геранью в горшках. Сбоку была приколочена к полу довольно шаткая рама с навешенной на нее легкой фанерной дверью, открывая которую актеры могли входить, появляясь на сцене.

В зрительном зале, отгороженном от сцены занавесом, тоже был полумрак. От пустых, не заполненных зрителями рядов стульев веяло казарменной скукой. Через некоторое время в зале включили полное освещение. Понемногу, не спеша начали собираться зрители. Своим внешним видом большинство их ничем не напоминало раненых бойцов. Некоторые были в старорежимных солдатских гимнастерках или матросских бушлатах, другие – в простых рубахах-косоворотках, куртках или вошедших тогда в моду френчах с застегивающимися на пуговицы огромными накладными карманами. Очевидно, это был период, когда в Красной Армии еще не было введено специальное обмундирование и бойцы воевали в той одежде, в которую их одели еще в царской армии или в которой они пришли из дому. В общем, публика почти ничем не отличалась от обычной городской публики. Разница была лишь в том, что обычно, отправляясь в театр, люди старались принарядиться, а эти были в простом, если так можно выразиться, затрапезном виде, впрочем без всяких следов неряшливости, расхристанности. Бросалось в глаза отсутствие женщин, которые обычно придают нарядный вид театральной толпе. Здесь были одни так называемые мужики. Попадались среди них раненые: кто с рукой на перевязи, кто с палочкой или даже с костылем, но в основном это были уже почти совсем оправившиеся от своих ран бойцы. Они приходили с какими-то серьезными, даже, как мне показалось, суровыми лицами. Было заметно, что чувствовали они себя тут привычно, как дома, но вели себя тихо, разговаривая между собой негромко, без шуточек, без смеха, без балагурства, которое частенько бывает необходимой принадлежностью мужского общества, как только оно соберется в количестве более двух человек. Дисциплинка, так сказать, ощущалась. А может быть, сказывалось уважение к месту, в котором собрались бойцы.

К началу спектакля зал был наполнен так, что не было ни одного свободного стула. Меня оставили за кулисами, а это я любил: хотя и приходилось все время стоять, но лучше было видно, что происходит на сцене. Представление началось с концерта, а концерт, как обычно, начался с пения. На сцену вышел певец в

черном старомодном фраке и с такими же черными, прилизанными до блеска волосами, словно он только что выскочил из парикмахерской, и запел не то “Куда, куда вы удалились”, не то “Не счесть алмазов в каменных пещерах”. В общем, какую-то чушь, по тогдашним моим понятиям.

Я вообще, нужно сказать, не любил пение, а этих певцов и певиц просто ненавидел и каждый раз с нетерпением ждал, когда они наконец уберутся со сцены. Мне к тому же казалось, что на концерте для бойцов уместнее было бы спеть что-нибудь боевое, какую-нибудь залихватскую солдатскую песенку, а не это хныканье про неизвестно куда удалившиеся дни. Я заранее был уверен, что бойцам не понравятся ни этот тип с его буржуйским фраком, ни его козлиное пение, и был удивлен теми щедрыми аплодисментами, которыми наградили певца слушатели, как только он кончил романс. Впрочем, я тут же решил, что бойцы хлопают в ладоши просто из вежливости, чтоб не обидеть артиста, который так чистенько вырядился для них и причесался и так старательно пел. И еще одна досадливая мысль шевелилась в моем мозгу хлопают, дескать, чтоб показать, будто понимают толк в пении (в этом я постоянно подозревал публику, когда она одобряла то, что не нравилось мне).

Так или иначе, хороший прием, оказанный слушателями певцу, ни в чем меня не переубедил, и я решил набраться терпения, зная, что теперь он не уйдет, пока не споет еще два-три, а то и все четыре романса. Аплодисменты утихли, и он принялся за новый романс: “Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье-е...” Как раз в это мгновение за кулисой с противоположной стороны сцены появилось мимолетное виденье в образе женщины, довольно еще молодой и красивой. Должно быть, артистка какая-нибудь, подумал я и от нечего делать принялся разглядывать это “мимолетное виденье”, а она тоже поглядывала на меня с едва заметной улыбкой на губах. Впрочем, как я убедился тут же, никакой улыбки не было, а это у нее просто так губы были устроены, что казалось, будто она чуточку улыбается. Приглядевшись, я заметил, что лицо у нее спокойное,

глаза серьезные, даже немножечко грустные. Мне почему-то стало казаться, что я уже где-то видел это лицо, только я никак не мог вспомнить где.

Пока я раздумывал, она вдруг исчезла, а через минуту появилась за кулисой, рядом со мной.

– Хорошо поет, правда? – прошептала она.

Я хотел сказать: “Плохо”, но, взглянув на нее, увидел в ее глазах что-то такое покорное и покоряющее в то же время, что у меня сразу пропала охота перечить ей, и, кивнув головой, я сказал:

– Ага!

– Тебе нравится? – спросила она.

– Ага!

Очевидно, решив, что, кроме этого “ага”, от меня все равно ничего не добьешься, она сказала ласково, словно угощая меня этим пением:

– Ну, слушай, слушай!

И, слегка прикоснувшись ладошкой к волосам на моей макушке, ушла так же бесшумно, как появилась.

Концерт оказался паршивый (с моей точки зрения), так как в нем только пели. После певца выступала певица, после певицы – опять певец, только другой, потом еще певица, так что я извелся вконец и всем им желал провалиться поочередно под сцену. Все это закончилось выступлением квартета, который мне и без того надоел.

Потом началось представление “Женитьбы”, и я увидел, что эта моя Мимолетное Виденье была не артистка, а что-то вроде режиссера. Она предупреждала артистов, когда кому выходить на сцену, говорила, когда поднять или опустить занавес, и все

время находилась за противоположной кулисой, но я уже на нее и не смотрел вовсе, так меня захватила игра актеров. Все они переоделись, загримировались, как требовалось по пьесе, и были сами на себя не похожи, словно переродились: и говорили и ходили не так, как тогда, когда я видел их на репетиции. Это перевоплощение чрезвычайно удивило меня и ужасно смешило. Тот, который играл Подколесина, нарядился в какие-то чудацкие гороховые штаны, наклеил бакенбарды и все время валялся на диване. Превратившись в какого-то лежебоку, байбака, тюфтя, он тянул слова жалобным, недовольным, хныкающим голосом, так, словно его обидел кто.

— Степан! — канючил он, зовя слугу, краснощекого кудрявого парня.

А когда Степан являлся, он начинал расспрашивать, ходил ли он к портному, и шьет ли портной фрак, и много ли уже нашил, и не спрашивал ли портной, на что, мол, барину нужен фрак, не задумал ли барин жениться. Узнав же, что портной этим не интересовался, он отпускал слугу, а через минуту звал снова и допытывался, ходил ли он в лавочку за ваксой, и не спрашивал ли лавочник, для чего барину вакса, и не хочет ли, “дискать”, барин жениться. Он так и говорил: не “дескать”, а “дискать”. А этот Степан ходил все время с надетым на руку сапогом, а в другой руке у него была сапожная щетка, которой он старательно начищал сапог. В первый раз, как только пришел, он тут же хотел почесать кончик носа и испачкал его ваксой, после чего так уже и ходил с черным носом. Каждый раз, как только он появлялся со своей простодушной румяной физиономией и черным носом, я начинал хохотать, ну, и все зрители тоже, конечно, смеялись. Я обратил внимание на то, что каждый раз я начинал смеяться первый, а вслед за мной смеялись уже все остальные. Это потому, думалось мне, что я нахожусь ближе к актерам и раньше всех вижу и слышу, что происходит на сцене.

Вскоре я заметил, что Мимолетное Виденье делает мне из-за противоположной кулисы какие-то знаки, отрицательно качая головой и прикладывая палец к губам. Я понял, что не должен

громко смеяться, и стал больше сдерживаться. Но известно, что смех такая штука: чем больше сдерживаешься, тем громче смеешься, когда он в конце концов все же прорвется. Это и случилось со мной, когда явилась сваха Фекла Ивановна. Актриса, которая играла эту Феклу Ивановну, была совсем еще не старая женщина, а тут она превратилась в какую-то допотопную старушенцию в широченном салопе с невероятным количеством складок и заговорила совершенно натуральным старушечьим голосом, нараспев, что само по себе уже было смешно. К тому же многие слова она произносила не так, как надо, а перековеркивала на свой лад: вместо “флигель” у нее получалось “хлигерь”, вместо “этажи” – “елтажи”, вместо “нравится” – “ндравится”, вместо “деликатес” – “великатес” (это она невесту назвала деликатесом), а дойдя до слова “обер-секретарь”, она никак не могла одолеть его, несколько раз начинала сначала, и в конце концов у нее получилось что-то вроде “обер-секлехтаря”. Когда она добралась до этого “обер-секлехтаря”, я уже больше не мог выдержать и, забыв все на свете, заржал, как молодой конь, выпущенный на свободу. Вслед за мной загрохотал и весь зрительный зал.

Еще смех окончательно не утих в зале, как Мимолетное Виденье опять явилась передо мной и с ласковой укоризной сказала:

– Ну миленький! Ну так нельзя! На сцене никто не должен смеяться.

Схватив мою руку, она потащила меня из-за кулис. Я бежал за ней, спотыкаясь о какие-то косяки, прибитые к полу сцены. Мигом мы очутились в фойе. Там она прихватила стул и, войдя в зрительный зал, поставила его посреди прохода между рядами, прямо против сцены. Усадив меня на этот стул, она сказала:

– Сиди вот и смейся сколько угодно. Тут можно.

Нагнувшись, она крепко поцеловала меня в щеку и быстро ушла, оставив вокруг запах духов, которые очень хорошо пахли.

Нужно сказать, что в детстве я обладал каким-то необъяснимым

магическим свойством, в силу которого ни одна хорошенькая женщина не могла передо мной устоять и обязательно бросалась меня целовать, как только я попадался ей на глаза. Особенно любили целоваться артистки. Они и между собой целовались каждый раз при встрече. Когда я был совсем маленький, то отбивался от них кулаками, но теперь я уже не мог позволить себе такое неджентльменское обращение с женщинами, а только старался держаться от них подальше.

Смотреть спектакль из зрительного зала, да еще сидя на стуле, было гораздо лучше, тем более что я был совсем близко от сцены. И мне все хорошо было видно. Действие между тем перенеслось в дом невесты, Агафьи Тихоновны, куда стали сходитья женихи – один смешнее другого, а самый смешной, по фамилии Яичница, был такой толстый, что застрял в дверях. Стены комнаты ходили ходуном (это же декорация была), а он никак не мог пролезть сквозь дверь. Наконец девка Дуняшка пихнула его сзади ногой с такой силой, что он, как пробка, вылетел на середину сцены. Действие чем дальше, тем становилось смешней. Я смеялся так, что упал со стула. Многие бойцы поднимались со своих мест, чтоб взглянуть, кто это смеется так, а когда пьеса кончилась, все бросились ко мне, схватили меня на руки. Кто-то крикнул:

– Качать парнишку!

Я полетел кверху, подброшенный десятком рук. Внутри у меня похолодело, как бывает, когда высоко взлетаешь, качаясь на качелях. В это время человек в черной кожаной куртке крикнул:

– Отставить качать парнишку! Отпустите его! Вы что, живого ребенка не видели?

– Да где же его увидишь, товарищ командир? – заговорил тот, который держал меня на руках. – У меня дома Васятка совсем несмышлениш был, когда меня на царскую службу взяли. Потом три года империалистической, потом год на гражданской. Васятка теперь небось аккурат такой, как этот мальчонка будет.

– Братишки! – закричал вдруг стоявший рядом боец. – Братишки, покончим с белой гидрой! Добьемся счастливой жизни! Помрем, так пусть хоть наши детишки счастье увидят.

– Ша! – закричал командир. – Тише! Никому помирать не надо. Отпустите сейчас же мальчонку! Напугали ведь!

Бойцы тянулись ко мне со всех сторон и целовали кто в щеку, кто в лоб, кто просто в плечо. Передавая меня из рук в руки, они наконец поставили меня на сцену. Тут Мимолетное Виденье схватила меня за руку и увела.

– Ты, видно, любишь смотреть спектакли? – спросила она, когда мы очутились в помещении за сценой.

Я сказал, что люблю.

– Так ты приходи к нам в театр. У нас по воскресеньям бывают утренники. Знаешь, где театр Соловцева?

Я сказал, что знаю.

– Вот и приходи перед спектаклем, когда захочешь. Скажешь, что ты ко мне, и тебя пропустят.

Она назвала свое имя и отчество и спросила, заглядывая в глаза:

– Не забудешь?

– Нет, – уверенно отвечал я.

Напрасно я был так уверен. В театр к ним я так и не собрался, уже не помню почему, а имя и отчество ее скоро забыл, и осталась она в моей памяти просто как Чудное Мгновенье.

НА НОВОМ МЕСТЕ

Всему на свете бывает конец. Поэтому пришел конец и Борщаговской улице с ее кособокими, щербатыми тротуарами, бездонным колодцем, страшной собакой и Степкой-растрепкой,

Бешеным Огурцом. То есть Борщаговская улица со всеми ее атрибутами осталась на месте, но мы-то оттуда уехали. Сбылась наконец моя мечта поселиться в большом пятиэтажном каменном доме с балконами, с затейливыми лепными украшениями на стенах, красивыми каменными статуями у подъезда или над подъездом.

Дом этот был на углу Большой Караваевской и красивейшей Марино-Благовещенской улиц, по левую сторону, если идти от Галицкой площади. Здесь было все, чего мне хотелось: и лепные украшения, и статуи, и даже кариатиды, то есть красивые каменные женщины, которые, закинув за голову руки, поддерживали снизу балконы. Таких женщин было по две штуки под каждым балконом. Обе улицы утопали в зелени деревьев, по обеим ходил трамвай, что, по тогдашним моим понятиям, было достоинством, а не недостатком.

Перед домом как со стороны Караваевской, так и со стороны Марино-Благовещенской были палисадники с большими остролистыми кленами. Я любил, забравшись на клен и примостившись на развилке ветвей, читать какую-нибудь увлекательную книгу. Так, правда, было не очень удобно, но зато интереснее: легче было вообразить себя в лесных чащобах, непроходимых дебрях или тропических джунглях, о которых шла речь в книге.

Квартира наша помещалась на самом верху, то есть на пятом этаже. До нас в этой квартире жил какой-то белогвардейский генерал, бежавший после революции со всей своей семьей за границу. Всего в этой генеральской квартире было семь больших комнат. Из них три комнаты достались на нашу долю. В трех других комнатах, в которые был отдельный вход, поселилась другая семья. И еще в одной комнате, где раньше был кабинет генерала, поселилась еще одна маленькая семейка – всего из двух человек, то есть бездетные муж и жена.

Две наши комнаты выходили окнами на Караваевскую улицу (в каждой комнате по два окна), но поскольку дом стоял на углу, то видна была и Марино-Благовещенская улица. Третья, самая большая комната, с тремя окнами, выходила в сторону двора. Из

окон этой комнаты была видна вся Караваевская улица вплоть до поворота, где начинался Ботанический сад, в котором мы пропадали летом по целым дням, за исключением тех случаев, когда уходили купаться в Кадетском пруду.

Из квартиры было два выхода. Одна лестница, с каменными ступенями, вела к парадному входу на Марино-Благовещенской улице. Другая же, так называемая черная лестница, с чугунными ступенями, вела в вымощенный булыжником двор, железные решетчатые ворота которого выходили на Караваевскую улицу. Во дворе был двухэтажный деревянный сарай с террасой, на которую выходили двери сараев второго этажа. Сарай этот назывался у нас, дворовых мальчишек, “пароходом”, потому что терраса с балюстрадой при небольшом усилии воображения превращалась в палубу корабля, по которой можно было бегать, выкрикивая разные команды вроде “полный вперед”, “право руля”, “свистать всех наверх” и другие морские термины. Отсюда же, то есть с “палубы”, можно было проникнуть сквозь потайной лаз на чердак сарая, где находился штаб организованной мною шайки “разбойников” под названием “Гремучая змея”, осуществлявшей набеги на отряды бойскаутов, проводивших свои игры в Ботаническом саду. Устроив засаду, мы неожиданно обстреливали их каштанами, а когда они, испугавшись, бросались бежать от нас, словно стадо баранов, мы незаметно убирались куда-нибудь подальше, понимая, что, обнаружив в конце концов малочисленность нашего отряда, они легко могли одолеть нас.

Мой старший брат не принимал участия в этих вылазках, так как сам в то время был членом скаутской организации. Меня же в скауты не приняли по причине моего малолетства. Я, таким образом, считал себя как бы объявленным вне закона и находил удовлетворение в том, что вел партизанскую войну против этой организации пай-мальчиков, с которой поклялся не иметь ничего общего и бороться всеми имевшимися в моем распоряжении средствами.

Самой любимой моей комнатой в нашей новой квартире был зал (так мы называли комнату с тремя окнами). Потолок в ней был не

белого, как это обычно делается, а темно-красного цвета, щедро украшенный по краям разноцветной лепкой. Этим потолком я лично способен был любоваться словно произведением искусства. Но главным украшением этой комнаты являлся камин, который, кстати сказать, мы никогда не топили, так как, чтобы нагреть помещение с его помощью, потребовался бы чуть ли не целый воз дров. Топили обычно кафельную голландскую печь, установленную в небольшом треугольном коридорчике, в который выходили двери всех трех наших комнат. Печь была расположена так, что обогревала все три комнаты сразу. Камин, в сущности, нужен был не для тепла, а скорее для красоты, для престижа, для уюта.

И я любил его, этот наш старый добрый камин, как любят старого доброго друга. Рядом с ним я чувствовал себя чем-то вроде блудного сына, возвратившегося после сорокалетней разлуки под отчий кров, либо чем-то вроде старого морского волка, ушедшего на покой после многолетних плаваний по всем морям и океанам, либо доживающим век в своем родовом замке девяностолетним английским лордом с подагрой в обеих ногах или какой-нибудь другой семейной болезнью. Сидя на стуле с книгой в руках и протянув свои подагрические ноги к каминной решетке, я смотрел своим тусклым, старческим взором на пылающее в камине пламя (воображаемое, конечно), и в этом пламени передо мной проходили картины далекого, невозвратимого прошлого. Конечно, быть лордом противоречило моим политическим убеждениям, но это же было только на время, и мое сознание прощало мне невольную прихоть воображения, тем более что лорд был довольно симпатичный и добрый старик, много перенесший на своем веку, и при наличии целой кучи достоинств у него был лишь один-единственный недостаток, а именно — его непролетарское происхождение; но, в конце концов, какой же человек может обойтись вовсе без недостатков, в особенности если живет в четырнадцатом или пятнадцатом веке. В общем, виноватыми в моей, если так можно сказать, бесхребетности были, очевидно, прочитанные мною книги да еще волшебник камин, навевавший мне такого рода сны наяву.

С этим камином у меня была особенно тесная дружба, так как он к тому же был поверенным одной моей тайны. Сбоку у самого пола я заметил, что одна изразцовая плита камина прилегает неплотно, и, попытавшись отделить ее, обнаружил тайник. Из этого тайника я извлек два старинных пистолета с длинными иссиня-черными стальными дулами и красивыми узорчатыми рукоятками, отделанными черненым серебром. Один пистолет был капсюльный, с помощью которого можно было стрелять пистонами или капсюлями, другой – с кремневым запалом. Эти пистолеты, без сомнения, принадлежали в прошлом какому-нибудь рыцарю, и, засунув их за пояс, легко было вообразить себя самым настоящим средневековым рыцарем или запорожским казаком.

Мы с братом решили взять эти пистолеты себе в качестве военных трофеев, поскольку они были брошены бежавшим с поля боя беляком-генералом. Обычно мы прятали их в обнаруженном мной тайнике и играли ими, когда никто из старших не видел. Ведь родители ни за что не позволили бы нам взять чужие вещи.

Пистолеты эти годились не только для игры в войну, но и для театральных представлений. Комната с камином превращалась тогда в зрительный зал и в сцену одновременно, а члены “разбойничьей” шайки – в обычных миролюбивых зрителей, за исключением тех, которые назначались мною в актеры. Впрочем, много актеров не требовалось, так как все основные роли исполнял я сам, не говоря уж о том, что режиссура тоже лежала на моих плечах. Большим успехом, помнится, пользовалось представление “Тарас Бульба”, в котором Тарас Бульба – а его роль играл, конечно же, я – затевал разговор в оскорбительном тоне со своим сыном Остапом (“А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой!”), после чего между ними начиналась, к великой радости зрителей, кулачная драка. После же примирения с Остапом, которое наступало, если драка не заходила слишком далеко, следовала расправа с изменившим своей родине и переметнувшимся в католическую веру Андрием.

“Стой и не шевелись! – страшным голосом говорил Бульба. – Я тебя породил, я тебя и убью!”

Приладив свежий капсюль к запалу пистолета и хорошенько прицелившись, я нажимал курок. Раздавался выстрел. Из дула пистолета тянулся синеватый дымок, и бедняга Андрий замертво падал на пол. Эта трагическая сцена производила сильный эффект, но заканчивалась обычно весело, так как сраженный выстрелом Андрий, конечно же, не мог испустить дух спокойно, а, согласно моему режиссерскому замыслу, предварительно конвульсивно дергался всем телом и дрыгал ногами, что вызывало дружный смех зрителей. Смех этот, однако же, не смущал меня, так как раздавался по адресу изменника Андрия, ничего, кроме презрения, не заслуживавшего.

Были тут и другие театральные постановки, но о них слишком долго пришлось бы рассказывать.

Наши новые жилищные условия оказались вполне подходящими для того, чтоб зажить полнокровной индейской жизнью, хотя, по правде сказать, быть индейцем не так легко, как кто-нибудь, может, думает. Во-первых, индейцу нужен вигвам. А где его взять? Пришлось мне таскать из Ботанического сада ореховые прутья, потом эти прутья сплести так, чтоб получился каркас, который следовало обшить бизоньими шкурами, а бизоньи шкуры надо было делать из старых газет, окрашивая их в коричневый цвет. Во-вторых, индейцу нужны были штаны с бахромой по краям, ну и головной убор, конечно. Штаны я скроил и сшил собственноручно из старого мешка, который раздобыл где-то, головной убор соорудил из петушиных, гусиных и индюшачьих перьев, которые собирал везде, где они только попадались. Кроме того, я сделал самый настоящий индейский тамтам, или, вернее сказать, барабан. Целый месяц я вымачивал в воде кроличью шкурку, чтоб из нее можно было повыдергать шерсть и получить, таким образом, кожу для барабана. В общем, была работа, скажу я вам! Иной взрослый за деньги не трудится у себя на работе столько, сколько приходилось трудиться мне, и притом без всякой мысли о каком бы то ни было вознаграждении. А потом, когда все было готово, родители запротестовали и сказали, чтоб я убрал свой вигвам, так как это ни на что не

похоже, когда посреди комнаты стоит какой-то шалаш или овин.

Это было явное преувеличение, так как вигвам стоял не посреди комнаты, а в углу. Но, в сущности, дело от этого не менялось, поскольку вигваму, конечно, место было не в комнате, а где-нибудь под открытым небом. Я и сам понимал, что тут вышло некоторое, так сказать, несоответствие, и обещал завтра же разобрать вигвам. На следующий день, однако, что-то помешало мне выполнить свое обещание, и я сказал, что сделаю это завтра. С тех пор так и пошло: завтра да завтра. Родители между тем понемногу привыкли к виду вигвама и уже не так часто напоминали мне о нем.

А вскорости мы заболели все. В то время свирепствовал сыпной тиф. Переносчиками этой страшной болезни были вши, то есть крошечные насекомые-паразиты бледно-желтого цвета, которых и глазом-то не всегда разглядишь. Эти вши расплодились тогда повсюду в огромных количествах. Мать всячески боролась с ними, стараясь поддерживать чистоту. У нас был громадный пятиведерный самовар из оцинкованного железа, в котором она постоянно вываривала белье. Только так и можно было избавляться от этих зловредных насекомых: в кипятке они дохли и уже не могли больше кусаться и переносить заразу.

Несмотря на все старания, мы все же не убереглись от этой ужасной болезни. И первой не убереглась мамочка. Неожиданно она почувствовала недомогание и вскоре слегла. Температура у нее поднялась до такой степени, что начался бред. Она никого не узнавала, и ей все время казалось, что в углу комнаты сидит черт. Она умоляла нас прогнать этого черта и порывалась убежать от него, выскочив из окна (это с пятого этажа-то!). Отец в таких случаях крепко держал ее руками, чтоб она не могла выскочить из постели. И за ней постоянно надо было следить. По временам, казалось, сознание возвращалось к ней, и, увидев меня, она говорила:

– Ну-ка, подойди сюда. Подойди!

– Зачем? – спрашивал я с опаской.

– Ну подойди, не бойся! Фу! Как тебе не стыдно! Боится родной матери! – с укоризной говорила она, и ее большие черные глаза на исхудавшем, бледном лице блестели, как у безумной.

Я и на самом деле боялся, так как впервые видел человека в бреду. К тому же я прочитал где-то, что безумцы очень хитры и ловко умеют прикидываться нормальными людьми для выполнения своих безумных замыслов. Если бы она попросила подать ей воды или сделать что-нибудь, я тотчас бы сделал, но она не объясняла, зачем звала меня к себе, и я опасался, нет ли тут какого-нибудь подвоха. Впрочем, минуты просветления быстро проходили у нее, и она снова начинала метаться в бреду.

Скоро заболели один за другим и мы, все четверо ребят. Отец держался дольше всех, но и он наконец свалился. Я не знаю, что бы мы делали, если бы не тетушка Аня, жена дяди Коли. Она проводила у нас целые дни, готовила еду и за всеми ухаживала.

Я почему-то болел дольше всех. Уже и отец, и мать, и все остальные выздоровели и занимались своими делами, а я все лежал и лежал. Страшная слабость охватила меня, и не было сил поднять руку или голову. Меня кормили, как маленького, и еще уговаривали поест, так как есть-то мне расхотелось вовсе. Наконец кризис (то есть самая тяжелая и опасная фаза болезни) миновал и у меня. Тут я сразу почувствовал аппетит и ощутил как бы прилив сил, но когда я, понемногу окрепнув, попытался встать с постели, то увидел, что не могу ходить. Ноги подогнулись подо мной, и я сел прямо на пол. У меня хватило сил только на то, чтоб стать на колени, держась за кровать руками, а когда я пытался выпрямиться, то ноги опять подгибались, и приходилось садиться на пол. Это показалось мне почему-то страшно смешным.

Мать услышала мой смех из другой комнаты и, войдя, увидела меня возле кровати.

– Почему ты смеешься? – спросила она.

– Я не могу ходить, – отвечал я.

Она молча взяла меня на руки и уложила обратно в постель. Потом сказала:

– Это ничего. После болезни всегда так бывает. Я тоже не могла ходить, когда начала выздоравливать. Тебе надо еще полежать. Ты понемногу наберешься сил и научишься снова ходить.

– А почему ты плачешь? – спросил я, заметив слезы на ее глазах.

– Я плачу от счастья, – сказала она. – Все мы остались живы, а теперь я вижу, что и ты выздоровел. Я так счастлива!

Это было для меня что-то новое. До сих пор я думал, что плакать можно только от горя.

С тех пор я уже почти не лежал, а все больше сидел в постели. По временам я вставал и, держась руками за кровать, потихоньку ходил вокруг нее. Потом стал передвигаться по комнате, держась руками за стены, чтоб добраться к окну. Увидев это, мать принесла мне бамбуковую палочку и сказала, чтоб я ходил, опираясь на нее. Я попробовал ходить с палочкой, как старенький старичок, и увидел, что так было гораздо удобнее: не нужно было каждый раз хвататься руками за стены. Осмелев, я решил предпринять серьезное путешествие и, с усилием открыв дверь, вышел в большую комнату, где ни разу не был за последние полсотни дней. Вигвам мой по-прежнему стоял на том месте, где я его построил. Добравшись до него и заглянув внутрь, я увидел в нем свое индейское снаряжение: и лук, и стрелы, и барабан... И у меня появилось какое-то странное ощущение, будто с тех пор, как я с такой страстью смастерил все эти вещи, прошло множество лет. Мне даже казалось, что это не я все сделал, а какой-то другой мальчик, очень на меня похожий, но все же не я. Это в какой-то степени и вправду так было, поскольку, пока я болел, я о многом думал и как-то переменялся, то есть был уже не тем, кем был прежде.

Между тем подошла зима. Дров у нас не было. Ни у кого тогда не было дров. Отец принес откуда-то маленькую железную печку на четырех ножках и несколько железных труб, вроде водосточных. В верхней части дымохода голландской печки он пробил круглое отверстие и вставил в него одну из труб, а другие трубы соединил между собой и с железной печкой. Тяга получилась хорошая, и железную печку можно было топить щепками, хворостом, соломой, бумагой, картоном и вообще всяческой дрянью, которая была способна гореть. Иногда печь нагревалась так, что бока ее становились красными, но тепла от нее хватало лишь на одну комнату, именно на ту, в которой она стояла. Теперь наша жизнь проходила главным образом в этой комнате. Здесь мы и ели и спали. Железная печка давала не только тепло, но и служила для приготовления пищи.

Отец, приходя домой вечером, часто приносил пару поленьев дров, фанерный ящик, старую железнодорожную шпалу, какое-нибудь бревно неизвестного происхождения либо просто доску от забора. В тот период все деревянные заборы в городе были поломаны и растащены жителями для вот таких железных печек, которые почему-то назывались “буржуйками”.

В конце концов пришла очередь и моего любимого вигвама. В один из морозных дней, когда совсем нечего было жечь, я разобрал вигвам, так что получилась порядочная охапка топлива. И как сказал поэт: “Я сжег все, чему поклонялся. И поклонился всему, что сжигал”.

Или что-то вроде этого.

МЕЧТА

Кроме баяна, отец умел играть на таких музыкальных инструментах, как гитара, мандолина, балалайка. У нас в доме всегда были эти инструменты, и я просил отца научить меня играть на каком-нибудь из них. Отец показал мне, как настраивать мандолину, гитару и балалайку, научил играть некоторые простенькие музыкальные произведения, вроде так называемого “Собачьего вальса”, без которого в те времена не

обходилось обучение ни одного начинающего гитариста или балалаечника, и сказал, что гитара требует серьезных занятий с опытным преподавателем, на балалайке вообще не стоит учиться, а на мандолине я сам могу подбирать по слуху те мелодии, которые знаю, то есть те, которые могу пропеть или просвистеть. Я попробовал, и это стало у меня получаться. Беда была в том, что я знал слишком мало мелодий.

В школе у меня был товарищ, который довольно хорошо играл на мандолине, и я кое-чему у него научился. Когда мы переехали на Марино-Благовещенскую, я познакомился с Костей Воынцевым, который жил в нашем доме у своего дяди, настройщика пианино и музыкального мастера, как он себя называл. Вся квартира у этого дяди была завалена принятыми в починку гитарами, мандолинами, балалайками, альтами, скрипками и тому подобными инструментами, которые он постоянно склеивал, туго стягивая веревками, и покрывал лаком, отчего по всему дому пахло смолой, как в сосновом лесу, и даже крепче, я бы сказал, так как лак разводился скипидаром, а скипидар, как известно, делается из сосновой смолы.

Костя Воынцев нигде не учился, но умел понемножку играть на всех инструментах, которые поступали в ремонт к его дяде, и, кроме того, играл на мандолине в оркестре народных инструментов при клубе железнодорожников, который помещался напротив нашего дома. Я тоже стал играть в этом самодеятельном оркестре. Там я встретился с довольно опытными мандолинистами и многому у них научился.

Репертуар мой расширился. Я понемногу освоился с инструментом. Раньше, чтоб разучить какую-нибудь мелодию, мне нужно было предварительно подобрать ее на мандолине, двигаясь как бы в темноте, на ощупь, после чего уже напрактиковаться исполнять ее в нужном темпе и без ошибок. Через некоторое время я заметил, что мне уже не нужна эта предварительная стадия. Если я запоминал какую-нибудь вновь услышанную мелодию, то есть если я мог пропеть или хотя бы мысленно повторить в памяти, то мог тут же и сыграть ее без какой-либо подготовки: пальцы как

бы сами собой нажимали на нужные лады и извлекали нужные звуки. Мандолина стала послушна мне, как мой собственный голос.

У меня была какая-то непонятная для себя самого потребность играть новые мелодии, и, когда их не было, я сочинял их сам, то есть импровизировал, хотя, по правде сказать, я тогда и не знал о существовании такого слова, как “импровизация”. Это получалось у меня как бы само собой, когда было соответствующее настроение.

Мы с Костей Волынцевым часто приходили друг к другу и играли: один на мандолине, другой на гитаре. У него был хороший слух, и он быстро подбирал аккомпанемент к любой мелодии на гитаре. Однажды, когда мы исполнили чуть ли не весь наш репертуар, я принялся импровизировать на мандолине. Он спросил, что это за вещь я играю. Боясь, как бы он не стал надо мной смеяться, я сказал, что это новое танго, которое я слышал на концерте. Тогда как раз входили в моду фокстроты и танго. Костя поверил и просил научить его играть это танго. Я готов был исполнить его просьбу, но оказалось, что, пока мы разговаривали, я забыл, с чего начинается моя импровизация, а пока вспоминал начало, забыл и продолжение. Костя подсадовал и сказал, что у меня память дырявая.

С тех пор я исполнял свои импровизации, лишь оставаясь в одиночестве, причем заметил, что придумываемые мною фантазии с такой же легкостью вылетают из моей головы, как и приходят в голову. Я чувствовал себя как неграмотный, который способен сочинять складные стихи, но записывать их не может и тут же забывает. Чтобы записывать музыку, нужно было знать ноты. А мне почему-то хотелось записывать, может быть, только потому, что я этого не умел.

В одном из букинистических магазинов (а у меня тогда уже была страсть шататься по букинистическим и вообще по книжным магазинам) я купил старенький самоучитель нот и, прочитав его от корки до корки, все, как мне показалось, понял, но, когда

стал пробовать играть по нотам, у меня ничего не получалось. Как известно, в нотных знаках записывается высота каждого музыкального звука и длительность его звучания. И вот я никак не мог уловить меру этой длительности. Пробившись уж не помню сколько времени и решив уже отказаться от своей затеи, я однажды попробовал сыграть по нотам какую-то простенькую, хорошо мне знакомую песенку вроде “Во саду ли, в огороде”. И вот тут-то я наглядно, так сказать, узнал, что такое эти восьмые, четвертые, половинные и так называемые целые ноты в их временном, ритмическом выражении. После этого опыта все сразу стало на свои места, и хотя разбирать по нотам незнакомые произведения было трудно, но все же получалось нечто похожее на что-то, из чего постепенно выкристаллизовывалась определенная мелодия, которую можно было заучить на память.

Таким образом, я выучил по нотам несколько венгерских танцев Брамса, песенок Шуберта, вальсов и полек Иоганна и Иосифа Штраусов, “Танец маленьких лебедей” Чайковского, “Песнь индийского гостя” Римского-Корсакова и некоторые другие. Все родные и знакомые, слышавшие мою музыку, твердили, что мне надо учиться играть на скрипке. Подобно тому как теперь мода учить ребятишек на пианино, тогда была мода учить на скрипке.

Среди моих знакомых ребят из нашего дома был мальчишка Алешка Демидюк. При полном отсутствии музыкального слуха он учился играть на скрипке в консерватории. Отец у него был простой сапожник, но мечтал вывести сына, как тогда говорилось, в люди и выучить на музыканта. Проучившись в консерватории три года, Алешка все еще пиликал свои нескончаемые гаммы, причем ужасно фальшивил и не умел сыграть ни одной самой пустячной мелодии. Да что сыграть! Когда ему хотелось пропеть какую-нибудь всем знакомую песенку, вроде популярнейшего в те времена “Яблочка”, он просто выкрикивал слова, без всякого намека на какой-нибудь музыкальный мотив. Однажды, зайдя к нему, я попробовал поиграть на его скрипке, сначала пиччикато, то есть извлекая звуки не смычком, а пальцем. Нащупав примерное расположение

ладов, я попробовал поиграть смычком и, потренировавшись немного, тут же “исполнил”, сейчас уже не помню, что именно, “Танец маленьких лебедей” или “Песнь индийского гостя”.

Пришел его отец, мужчина немного ниже среднего роста, не улыбочивый, неразговорчивый, небритый, усатый и в сапогах. Он молча постоял надо мной, послушал, как я “играю”, и, не сказав ни слова, ушел в свою сапожную мастерскую. Но Алешка был удивлен до крайности и не верил, что я впервые держу скрипку в руках. Я объяснил ему, что у скрипки такой же строй, как у мандолины, разница лишь в том, что на грифе мандолины обозначены лады, соответствующие определенным нотам, на скрипке же эти лады не обозначены. Но поскольку пальцы у меня при игре на мандолине уже привыкли попадать на нужные лады, то и тут они попадают куда надо как бы сами собой.

С тех пор Алешка смотрел на меня как на какое-то чудо природы и все удивлялся, почему я не поступаю в консерваторию. Что мог я на это ответить? Во-первых, я вовсе не хотел сделаться на всю жизнь музыкантом, то есть человеком, существование которого начисто лишено каких-либо приключений (а именно этого жаждала моя романтически настроенная ребячья душа), если же я играл на мандолине, то только потому, что мне это нравилось. Во-вторых, хотя школа, где я учился, была для меня примерно чем-то вроде божьего наказания, но я уже как-то сжился с нею, чувствовал себя ее частицей. Бросить ее, расстаться навсегда со школьными товарищами, пойти туда, где я никого не знаю, было для меня все равно что отказаться от собственной матери или перейти в католики.

Постепенно разговоры о том, что мне надо учиться на скрипке, все же на меня как-то подействовали и внушили мысль, будто я на самом деле хочу этого. Отец, однако, сказал, что если я хочу учиться на скрипке, то должен сперва заработать деньги, чтобы купить ее. Единственный способ, которым мог заработать деньги мальчишка моего возраста в те времена, была продажа газет вразнос. Таким образом, в моей жизни начался так называемый газетный период. Раненько утречком я вставал и

бежал в типографию, оттуда с пачкой газет мчался по улице, выкрикивая название газеты. Выгоднее всего, по моим расчетам, было торговать газетами на вокзале, так как многие пассажиры, чтобы скоротать время в ожидании поезда, любили почитать газету либо покупали ее с тем, чтоб прочитать в поезде.

Однако при первом же моем появлении на перроне меня здорово оттузили двое сорванцов-мальчишек, монополизировавших торговлю газетами на вокзале и в пригородных поездах. В результате я перенес поле своей деятельности на рынок, помещавшийся на Галицкой площади. На рынке ни у кого никаких особенных привилегий не было, каждый мог продавать что ему вздумается, и никто ничьих прерогатив не нарушал. Здесь к тому же иной раз можно было увидеть цыгана с дрессированным медведем, петрушечника с его кукольным театром, бродячего фокусника-китайца с его “Шарика – есть, шарика – нет”, послушать песни старого седоусого кобзаря и тому подобное.

Я довольно скоро сообразил, что без соответствующей рекламы никакая торговля успешно идти не может, и каждый раз начинал свой рабочий день с того, что заглядывал на последнюю страницу газеты, в так называемый отдел происшествий. Там обычно печаталось что-нибудь сенсационное по части краж, ограблений, убийств, вообще разного рода преступлений и несчастных случаев, сведения о которых почему-то больше всего интересуют публику. Теперь, вместо того чтоб кричать просто: “Газета!”, я вслед за названием газеты выкрикивал примерно следующее: “Последняя новость! Четырехлетний ребенок убил мать, отца, родного дедушку и маленького котенка! Последняя новость! Четырехлетний ребенок убил мать, отца, родного дедушку и маленького котенка! Сенсация!” Горя желанием поскорей узнать подробности столь невероятного происшествия, публика гораздо быстрее раскупала газету.

В те дни, когда в отделе происшествий ничего интересного не было, приходилось изворачиваться и усиленно шевелить мозгами. Так, в одной из подобного рода газет я обнаружил статью, где упоминалось о Джордано Бруно, обвиненном средневековой

инквизицией в ереси и приговоренного к сожжению. Идея была подсказана самой газетой, и, бегая между торговыми рядами, я кричал: “Последняя новость! Человек, которого сожгли на костре живьем! Последняя новость! Живого человека сожгли на костре! Сенсация!” Газета с этой более чем трехсотлетней давности новостью шла нарасхват.

В другой раз в газете совсем никакого потрясающего материала не было, но на глаза мне попался фельетон под названием: “Из мухи сделали слона”. Речь шла о каком-то пустяковом случае, который раздули в целую историю, не имеющую, разумеется, никакого отношения ни к мухам, ни к слонам. Однако поскольку в заголовке черным по белому было напечатано: “Из мухи сделали слона”, то я и кричал: “Сенсация! Слон из мухи! Новое достижение науки! Из мухи сделали слона! Сенсация!”

Многие, конечно, только посмеивались, но находились такие, которые покупали газету.

В общем, торговля моя шла довольно живо и шла бы еще живей, если бы не предубежденное отношение к прессе тогдашней публики, которая почему-то считала, что в газетах печатается одна брехня.

Выпадали, однако ж, дни, когда я быстро распродал весь свой запас газет и успевал сбегать в типографию за новой пачкой.

Наиболее привлекательным для меня местом на рынке были книжные палатки. Там можно было купить любую подержанную книгу, начиная с “Книжки-копейки”, самого дешевого сытинского издания, вплоть до многотомной энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Тут же тянулись ряды букинистов более низкого, так сказать, пошиба. Расстелив какую-нибудь дерюжку прямо на земле или, говоря точнее, на булыжнике, которым была вымощена базарная площадь, такой книготорговец выкладывал свой товар, как говорится, лицом, то есть так, чтоб были видны обложки с названиями книг. И книги тут были самые ходовые, то есть не какой-нибудь Фукидид или Ксенофонт, которые не поймешь про что

и пишут, а Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, Луи Буссенар, Киплинг, Брег Гарт, Густав Эмар, Конан Дойл, Стивенсон, у которых что ни страница, то какое-нибудь потрясающее приключение. Тут же красовались уцелевшие с дореволюционных времен серийные выпуски с отдельными рассказами про сыщиков Ната Пинкертона, Шерлока Холмса, Ника Картера, распутывавших самые невероятные преступления и пользовавшихся особой любовью у читателей того сорта, к которому принадлежал в те времена я.

Понятно, что мне не всегда удавалось удержаться от того, чтоб не истратить часть денег на покупку возбуждавшей мое любопытство книжки. В основном же весь доход от продажи газет я отдавал отцу “на скрипку”.

Впрочем, это только так говорилось “на скрипку”, на самом же деле деньги уходили “на жизнь”. Срок приобретения скрипки все отодвигался и отодвигался, так что в конце концов я перестал верить, что когда-нибудь получу ее.

ЧУДО ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Помимо интересовавших меня книжных палаток, на рынке были палатки, в которых велась торговля самыми разнообразными предметами, начиная со старых штанов и кончая подозрными трубами. По своему виду такая палатка напоминала что-то вроде современного комиссионного или антикварного магазина. Рядом со стоящим в глубине палатки на полке граммофоном с изогнутой широкой трубой стояли хрустальная ваза, чайный сервиз, графин с граненой стеклянной пробкой, никелированный самовар, полдюжины медных подсвечников, сифон для сельтерской воды. На боковой полке, выстроившись в ряд, стояли дамские туфельки разных фасонов и размеров, тут же гипсовый бюст Лермонтова и гармонь-трехрядка. На противоположной полке в таком же порядке выстроились мужские ботинки и полуботинки, также разных размеров и разной степени изношенности. На нижних полках и по бокам прилавка в самых неожиданных сочетаниях стояли и лежали такие предметы, как морские ракушки самых причудливых форм, употреблявшиеся в качестве декоративных украшений и пепельниц,

бронзовые статуэтки, фарфоровые безделушки в виде галантных средневековых кавалеров и расфранченных придворных дам, веера с изображением японок в кимоно или летящих аистов, шеренга мраморных слоников – один меньше другого, целый набор шкатулок, ларчиков, корзиночек с принадлежностями для вышивания или вязания, увесистый чернильный прибор из серого с прожилками мрамора и с таким же мраморным увесистым пресс-папье, морской бинокль самых невероятных размеров, пульверизатор из синего стекла с красной резиновой грушей для накачивания воздуха, волшебный фонарь, толстенный альбом для семейных фотографий, глиняная копилка в виде тупорылой свиньи с продолговатым отверстием на спине для опускания монет и т. д. Над всем этим добром где-нибудь в углу висела на гвозде скрипка, балалайка или гитара.

Увидев однажды скрипку, я уже наведывался сюда чуть ли не ежедневно, чтоб удостовериться, не продали ли ее еще. Скрипка, впрочем, скоро исчезла, но я продолжал посещать эти места, уже, конечно, не ради скрипки, а ради, так сказать, познания всякого рода вещей, как посещают люди выставки, музеи или картинные галереи. Да и на самом деле интересно было. То вдруг появится на прилавке чучело ястреба или совы или оленьи рога, то барометр со стрелкой и циферблатом с интригующими надписями: “Ясно”, “Пасмурно”, “Умеренный ветер”, “Буря”, то стереоскоп с картинками, которые можно было посмотреть. Наконец появилась вещь, которая всецело завладела моим вниманием. Это был киноаппарат. По своему внешнему виду он был похож на волшебный фонарь для демонстрации диапозитивов, но от обычного волшебного фонаря его отличало наличие зубчатых барабанов, представлявших собой лентопротяжный механизм, двух бобин для наматывания киноленты (одна бобина сверху, другая снизу). На верхнюю бобину к тому же был намотан ролик обычной тридцатипятимиллиметровой киноленты, на которой можно было разглядеть кадрики со снятыми на них людьми и городской улицей.

Сам фонарь, в котором помещалась небольшая керосиновая лампа,

был покрыт яркой, радовавшей глаз красной эмалевой краской. Бобины, так же как и вращавшийся перед объективом трехлопастный obturator, были матово-черные, а оправка объектива, как и зубчатые барабаны с прижимными роликами, были никелированные. Весь аппарат сказочно сверкал своими металлическими деталями. Правду сказать, было заметно, что он уже не новый, но нового тогда ведь и быть не могло, поскольку в годы гражданской войны никаких киноаппаратов и волшебных фонарей, так же как и других детских игрушек, уже не делали. Людям было не до того. Уже давно не работала текстильная и обувная промышленность. Закрылись стекольные и фарфоровые заводы. Наконец перестали работать и сахарные заводы. Обыкновенную кастрюлю, кружку или стакан негде было купить. Если разбивался стакан, его тщательно склеивали специальным клеем. Вместо сахара часто употребляли вредный для здоровья и совершенно непитательный сахарин. Жить было тяжело. Но все равно жить очень хотелось. И очень хотелось иметь киноаппарат и показывать дома кинокартины.

О том, что на рынке в палатке продается киноаппарат, я рассказал старшему брату. Мы с ним решили скооперироваться и накопить капитал, требуемый для покупки киноаппарата. Вдвоем мы развили бешеную деятельность по продаже газет. Самым трагичным, что тогда могло случиться, по моим представлениям, было, если бы аппарат кто-нибудь купил до того, как нужная сумма оказалась нами накопленной. Нечего и говорить, что каждый день мы наведывались и проверяли, не продан ли “наш” аппарат.

Скажу коротко: все обошлось без трагедии. Спустя два или три столетия (считая по столетию в каждой неделе) нужная сумма наконец была собрана. И вот мы уже мчимся со скоростью метеоров по Марино-Благовещенской улице с чудом двадцатого века – знаменитым изобретением знаменитых братьев Люмьер в руках.

Одним махом мы взлетаем по лестнице на пятый этаж к себе домой (лифт бездействовал: не было электричества, так как городская

электростанция не работала). Не дожидаясь вечера, в полутемном коридоре мы прикалываем к стенке лист белой бумаги. Заряжаем кинолентой поставленный на табурет аппарат. Мы не знаем, как это делается, но действуем интуитивно, по догадке. Наконец зажигаем лампу внутри фонаря, и – о ужас! – вместо изображения на стене прямоугольник с размазанными краями и покрытый расплывчатыми, бесформенными грязными пятнами, совершенно ни на что не похожими... О презренные люди! О жалкие, низменные торгаши! Они продали нам не чудо века, а какую-то старую, испорченную мясорубку! Столько многодневных усилий, столько великих надежд в один миг разлетелось в прах! Кто-то из нас пробует подвинуть вперед объектив (в спешке мы забыли о наводке на фокус). Изображение на стене принимает более определенные очертания. Еще движение объектива – изображение становится четким. Ура! На экране улица с застывшей у стены дома фигурой человека. Человек повернул голову, смотрит назад, как видно, чего-то боится.

Фу!

Теперь можно немного передохнуть после пережитых волнений.

Можно на минуту присесть, как перед отправлением в дальний путь...

Отфокусировав еще раз как следует изображение, один из нас (я не помню сейчас, кому именно принадлежал приоритет в этой области) начинает вертеть торчащую сбоку рукоятку. Слышится мерный таинственный стрекот. Замелькали лопасти пришедшего во вращение обтюратора. Трепетно задвигалась кинолента, перематываясь с верхней бобины на нижнюю. И – чудо! – застывший на экране человек ожил, сделал шаг, другой и пошел, пошел по улице, держась поближе к стене и поминутно оглядываясь. Видимо, он на самом деле кого-то боялся, ожидая, что вот-вот сзади из-за угла выскочат преследователи. Вот он уже совсем повернулся и шагает спиной вперед, чтоб не оглядываться поминутно назад. На его пути продуктовая лавочка, владелец которой выставил для рекламы свои товары прямо на

тротуаре. Тут ящик с куриными яйцами, лоток с аккуратно уложенными на нем помидорами в несколько рядов, в виде пирамиды, рядом – лоток с так же красиво уложенными апельсинами. Не заметив препятствия, преследуемый спотыкается и садится прямо в ящик с яйцами. Пытаясь выбраться из ящика, он сшибает ногой лоток с помидорами. Помидоры сыплются ему на голову. Наконец ему все же удается выбраться из ящика с раздавленными яйцами. Он растерянно ощупывает рукой измокшие в липком яичном белке штаны, но тут же поскользывается на раздавленном помидоре и снова летит на землю, опрокидывая на этот раз лоток с апельсинами. Апельсины катятся по тротуару в разные стороны. Из дверей выбегает владелец магазина. Увидев произведенные разрушения, он заботливо помогает упавшему прохожему подняться, после чего наносит ему сильный удар кулаком в челюсть. Прохожий отскакивает в сторону. Разозлившись, он налетает на обидчика и пытается нанести ему прямой удар в лицо. Лавочник, однако, ловко уклоняется от удара. Прохожий с разбега проскакивает в дверь и исчезает в магазине. Противник спешит следом за ним. Вот они уже оба в магазине. Между ними разворачивается настоящее сражение. В ход идут пакеты с сахаром и мукой, гири и другие предметы, которые противники мечут друг в друга. Прикрываясь табуреткой, словно щитом, прохожий швыряет в лавочника бутылки с уксусом и вином. Лавочник, ловко прячась за стойкой, “отстреливается” банками с тертым хреном, горчицей и фруктовым сиропом. Израсходовав запасы “снарядов”, прохожий отступает по лестнице вверх. Лавочник преследует его, но получает удар табуреткой по голове. Табуретка рассыпалась на кусочки. Лавочник катится вниз по лестнице и сшибает с ног женщину, вошедшую в магазин. Женщина вскакивает и, обозлившись, бьет лавочника зонтиком по голове.

Удар! Еще удар!.. А что дальше? Дальше-то что?.. Ничего! Лента кончилась. Верхняя бобина пуста. Вся лента – на нижней бобине. С лихорадочной поспешностью мы перематываем ролик обратно на верхнюю бобину и прокручиваем вторично. Если в первый раз мы смотрели картину, как говорится, на полном серьезе,

озабоченные лишь вопросом, получится у нас что-нибудь вообще или нет, то теперь мы начинаем замечать комизм положений, в которые попадают герои фильма, и потихоньку посмеиваемся. Покрутив ленту во второй раз, крутим в третий и теперь смеемся в полную силу.

Наконец мы уразумели, что перед нами не какая-нибудь кинодрама, а самая что ни на есть комическая лента, даже, скорее всего, из числа тех, которые принято было называть “сильно комическими”. Мы смотрим картину снова и снова. Смотрим сами и другим показываем. Всем! Всем! Всем! Всем, кто хочет смотреть. Все смотрят и смеются. И мы смеемся вместе со всеми, каждый раз замечая подробности, которые раньше ускользали от нашего внимания. Если раньше нам казалось смешным, что человек, получивший удар по голове табуреткой, скатывается с лестницы, то теперь смешит выражение лица, с которым он катится по ступенькам.

Теперь, когда мы бываем с отцом на концертах, в кинотеатрах, то просим, чтоб нам разрешили смотреть из кинобудки. Там мы завязываем знакомство с киномехаником, рассказываем, что у нас “тоже” есть киноаппарат, и выпрашиваем у механика немножечко киноплёнки. В те времена в кинобудках часто залеживались старые фильмы, и механику ничего не стоило дать нам небольшой ролик с отрывком какой-нибудь драмы из великосветской жизни, кинохроники и даже американского фильма с ковбоями и индейцами, скачущими на лошадях и палящими друг в друга из ружей. Мелькают лошадиные ноги. Вьются по ветру длинные гривы. Белые дымки вылетают беззвучно из ружейных стволов. Всадники на полном скаку падают с лошадей. Ужас до чего захватывающе! Поостывший было интерес к киноаппарату, таким образом, время от времени подогревается.

А жизнь между тем идет своим чередом. Я по-прежнему ношусь каждое утро как угорелый со своими газетами и со своими “сенсациями” – зарабатываю “на скрипку”, как говорится. Мне кажется, что я давно заработал уже не то что на скрипку, а на целый контрабас, но у отца все один и тот же разговор: погоди

еще капельку. В конце концов совесть его, видно, заела, и в одно прекрасное утро мы отправляемся с ним... Куда? Ну, не в музыкальный магазин, конечно (в ту пору никаких музыкальных магазинов не было), а все на тот же рынок. Обходим все палатки, торгующие разным старьем, но нигде не находим того, что нам нужно. Теперь у нас один путь – на толкучку.

Толкучка, или, как ее иначе называют, барахолка, – это там, где каждый толчется со своим товаром в руках. Кто хочет продать ботинки, у того в руках ботинки, кто продает брюки или старую шапку, у того в руках брюки или старая шапка, а кто хочет продать скрипку, у того в руках, разумеется, скрипка. В тот период всеобщей разрухи торговля старьем приобрела такой размах, что на толкучке можно было купить любую вещь, за исключением разве что пианино и трамвайных вагонов. Правда, иной раз приходилось изрядно потолкаться, пока встретишь продавца с нужным товаром.

Нам, однако же, повезло. Не успели мы дойти до толкучки, выплеснувшейся с Галицкой площади на примыкавшую к ней широкую Степановскую улицу, как увидели нечто, по поводу чего отец, у которого, как известно, на каждый жизненный случай была пословица, сказал:

– Смотри-ка, не даром говорится – на ловца и зверь бежит.

Я посмотрел в сторону, куда он показывал, и увидел, что “зверь” этот была безобидная, скромно одетая интеллигентная женщина со скрипкой в руках, спускавшаяся по Бибиковскому бульвару к рынку. Как только она подошла ближе, отец спросил:

– Продается скрипка?

– Продается, – с застенчивой улыбкой ответила женщина, словно чувствуя себя виноватой в том, что ей приходится продавать скрипку.

– Сколько стоит?

Женщина назвала цену. Отец взял скрипку, повозил смычком по струнам. Потом вручил скрипку мне. Достал из кармана бумажник и расплатился с женщиной. Поблагодарив, женщина повернулась и поспешно ушла обратно, так и не дойдя до рынка. Отец был явно доволен и собой и покупкой. Он радостно улыбался. Хлопал меня рукой по спине. Говорил, что нам здорово повезло, и повторял свою шуточку насчет ловца и зверя. Потом он отправился по своим делам, а я поплелся со скрипкой домой.

Именно поплелся. Не бежал. Не помчался. Не полетел, как на крыльях! Я воображал, что буду радоваться, как только скрипка окажется в моих руках, но почему-то не радовался. Не ликовал. Какое-то странное, сложное чувство владело мной. Я понимал, что, добившись наконец скрипки, я сделал свой выбор, определил свой жизненный путь. Правильен ли он? Впервые мне приходилось задумываться над тем, что я делаю нечто нужное мне не сейчас, не сегодня, а то, что нужно будет мне во всей моей последующей жизни. А этого ли я хотел для себя от жизни? Я мысленно уверял себя, что да. Именно этого! И сам не верил себе. Вернее сказать, сомневался, верю ли я сам себе или не верю. Весь я был – одно сплошное сомнение и сомневался даже в том, на самом ли деле я сомневаюсь в чем-то или это мне только так кажется.

Впрочем, когда я дошел до дома, то каким-то образом дошел до умозаключения, которое мог бы сформулировать словами Юлия Цезаря: “Жребий брошен. Рубикон перейден”.

ЗА РУБИКОНОМ

Итак, жребий брошен. Я дома и настраиваю скрипку. Пробую сыграть известные мне мелодии. И я не в восторге от своей музыки. Что-то не нравится мне. Не то чтобы я ощущал фальшь. Конечно, фальшь есть, но не в этом беда. Когда я поупражняюсь, пальцы привыкнут попадать на нужные лады – и фальши не будет. Это я понимаю. Но мне не нравятся сами извлекаемые мною звуки. В них недостает чистоты, певучести. Струны у меня не “поют”, а как-то раздражающе пищат, визжат или скрипят. Особенно когда меняется направление движения смычка. Здесь, перед тем как

остановиться, смычок замедляет свое движение, и это замедление сопровождается противным, раздражающим слух скрипом. Когда же смычок начинает двигаться в обратном направлении, он не сразу приобретает нужную скорость – и опять тот же терзающий уши скрип!

Я понимаю, что нельзя же сразу выучиться играть на скрипке. Отец обещает найти мне учителя. А пока он “ищет”, я покупаю себе так называемую “Школу Берио”, то есть сборник упражнений для обучающихся игре на скрипке. Играю помещенные в этом сборнике этюды и терзаю свои собственные уши своей собственной музыкой. Постепенно я переиграл почти все помещенные в “Школе” этюды и упражнения, но не знаю, добился ли каких-нибудь успехов. Чувствую, однако ж, что у меня что-то не ладится...

Отец наконец нашел мне учителя. Он живет на Малой Васильковской улице. Там у него на четвертом этаже маленькая квартирka с маленькими комнатками, а комнатки – с маленькими окнами (это, должно быть, после нашей большой квартиры на Марино-Благовещенской мне все у него кажется крошечным, миниатюрным). Зовут его Луарсаб Саркисович. Он не турок, но и не грек. Это известно в точности, так как он сам о себе любит говорить словами популярной в те годы песенки: “Я не турок, я не грек, я кавказский человек”. Он напевает себе под нос эти слова, не уточняя, однако ж, к какой именно кавказской нации принадлежит.

Он невысокого роста. Худой. Волосы черные с проседью. Глаза задумчивые, грустные. Очень густые брови. Одет небрежно.

Когда я являюсь к нему впервые, он велит мне сыграть упражнение из “Школы Берио”. Стоя перед пюпитром с раскрытыми нотами, я старательно пиликаю заданное упражнение. Он в это время шагает по комнате за моей спиной, курит самодельную папироску, разгоняя рукой выпускаемые изо рта клубы дыма, словно отмахивается от одолевающей его мошкары. Прослушав до конца мою музыку, он продолжает шагать, погрузившись в задумчивость, словно забыл обо мне. Потом говорит:

– Так, конечно, можно играть...

Слово “конечно” он произносит на свой манер. Обычно звук “ч” в этом слове мы произносим как “ш”, в результате чего у нас получается “конешно” или, вернее, “канешно”. Он же особенно старательно выговаривает “ч”, так что вместо “канешно” у него получается “канечино”.

– Так, конечно, можно играть, – говорит он, – но если ты так будешь играть, то из тебя никогда не выйдет хорошего музыканта. Понял?

– Понял, – отвечаю послушно я, не понимая, однако, что здесь, собственно говоря, мне нужно было понять.

– Ну, вот и хорошо, – радуется он. – Тебе нужно поставить левую руку, и тебе нужно поставить правую руку. Скрипку держи вот так...

Он показывает, как держать скрипку, бесцеремонно хватая меня за локти, и пытается согнуть руки так, словно они у меня сделаны из проволоки. Подергав таким образом меня за руки и окинув критическим взглядом всю мою фигуру, как художник, рисующий с натуры, он велит повторить заданное упражнение, но обозначенные в нем четвертные ноты играть как целые, то есть увеличивая продолжительность их звучания в четыре раза.

Я снова начинаю играть упражнение, но в более тягучем, занудливом, я бы сказал, темпе. Он же ходит, изредка поглядывая на меня и подавая команды. Этих команд всего две: “ик” и “от”. “Ик” сокращенно означает “ик себе”, то есть “к себе”, или, говоря пространнее, “Руку со смычком надо держать ближе к себе”. Команда “от” означает “от себя”, то есть “Руку со смычком держать дальше от себя”.

Он (мой учитель то есть) не очень разнообразит свои задания. С тех пор как я к нему хожу, я играю все то же упражнение в замедленном в четыре раза темпе и выполняю все те же команды: “ик” и “от”, “ик” и “от” – до полнейшего отупения.

Вся семья учителя состоит из жены и дочки. Дочка приблизительно моих лет. В общем, она, можно сказать, красивая, но в ней что-то не нравится мне. У нее длинные черные волосы и какого-то неуловимого цвета змеиные, немигающие глаза. По-моему, у змей, как у рыб, глаза никогда не закрываются, поэтому они (то есть змеи) моргать не могут. К тому же она (то есть дочка) всегда молчит. За все время я не слышал от нее ни одного слова. Я даже не знаю, какой у нее голос. Она часто подходит к двери, молча слушает, как я “играю”, и насмешливо улыбается своей змеиной улыбкой. Наверно, ей до смерти надоели “ученики”, приходящие к ее отцу со своими скрипками.

Жена у него (у моего учителя) – настоящая ведьма. Иногда посреди наших занятий она возвращается с рынка с сумкой, наполненной всякими продуктами (капуста, картошка, огурцы, помидоры...), и начинает ругательски ругать что-нибудь или кого-нибудь: то жаркую или холодную погоду (чтоб ее черти взяли!), то слишком крутую лестницу (чтоб она провалилась!), то слишком дорогие цены на продукты (чтоб они сгорели!), то мужа за то, что слишком мало зарабатывает, то меня за то, что не уплатил за уроки. Меня, правда, она ругает не прямо, а косвенно. За меня достается мужу.

– Где ты набрал таких учеников, чтоб тебя черти взяли! – кричит она. – Люди добрые, скажите на милость, где вы такое видели? Ты разве не знаешь, что ученики должны платить за уроки? Ты что, можешь воздухом питаться? Ты что, Рокфеллер или Ротшильд? А?

В общем, грубая женщина! Он смирно помалкивает, давая ей выговориться. Когда же она доходит до Рокфеллера и Ротшильда, он умоляюще улыбается (улыбка трогает лишь уголки его губ) и говорит:

– Ну-ну-ну!

Вместо “ну-ну-ну” у него получается нечто среднее между “ну-

ну-ну” и “ню-ню-ню”.

– Нью-нью-нью!

Он успокаивающе потряхивает пальцами левой руки в ее сторону, потом ободряюще потряхивает пальцами правой руки в мою сторону:

– Играй!

Я продолжаю пикировать прерванное упражнение. Она, захватив свои продукты, уходит на кухню, откуда доносятся звуки удаляющейся грозы в виде стука топором по полену, ножом – по капусте, горшком – по плите, с попутными пожеланиями топору лопнуть, ножу – околоть, горшку – сгореть и т. д.

Мне совестно перед учителем, перед его ведьмой женой и змеей дочкой. Самолюбие мое страдает. Мне совестно напоминать отцу об уплате долга. Я перестаю ходить на уроки. Месяца через два отец дает мне наконец требуемую сумму. Я снова являюсь к своему учителю.

– Эх, Коля, Коля! – укоризненно бормочет он. – Почему ты не приходил? За это время ты уже концерты давал бы.

Сказочки! Я знаю, что никаких концертов я не давал бы.

Он открывает ноты и велит мне играть уже игранное сто раз упражнение в том же замедленном темпе и с теми же командами “ик” и “от”.

Смычок мой начинает мучительно ползать по струнам, извлекая тягостные, заунывные звуки с раздражающим скрипом на “поворотах”. Учитель же как будто и не замечает этого надоедливого скрипения. Продолжая водить смычком по струнам, я начинаю думать о том, что со стороны, может быть, извлекаемые мною звуки кажутся более мелодичными, чем кажутся мне самому. Я давно заметил, что, играя на мандолине, слышу звуки не такими, какими они слышатся мне, когда на той же мандолине играет кто-нибудь из моих приятелей. Я понимаю: когда звучащий

инструмент находится у меня в руках, звуковые колебания достигают органа слуха не только по воздуху, но и непосредственно по моему телу. Отсюда разница в восприятии звука. Играя же на скрипке, я прижимаюсь к ней подбородком, и звуковые колебания от нее передаются к органу слуха непосредственно по костям черепа, в абсолютно, так сказать, неотфильтрованном виде, и это действует особенно раздражающе. А зачем мне это раздражение? Почему я должен раздражать свой слух? Ради какой такой великой цели? Мне не нравится слушать, как скоблят железным гвоздем по стеклу! Меня не тянет к исполнительской деятельности. Я не мечтаю об аплодисментах. Мне не нужно оваций! Я бы еще согласился сочинять музыку. Но иногда. Только тогда, когда хочется и если хочется, а не делая из этого себе профессию. Навсегда погрузиться в мир звуков?! Отказаться от всего живого?! Нет уж, спасибо! Это не для меня!

Урок окончен. Учитель велит мне дома играть все то же упражнение, но обозначенные в нем четвертные ноты играть как целые, то есть в четыре раза длинней. Он советует (уже в который раз) играть перед зеркалом, чтоб видеть, когда надо держать смычок “ик себе”, когда “от себя”.

Я говорю:

— Хорошо.

Я говорю:

— Спасибо.

Я говорю:

— До свиданья!

Я иду домой и по дороге еще раз обдумываю все от начала и до конца. На ходу всегда так хорошо, так активно и так продуктивно думается!

Дома я прячу скрипку, для того чтобы никогда в жизни уже не прикасаться к ней.

Я проверил себя. Эта проверка мне не дешево обошлась. Я принял решение. Это решение мне нелегко далось.

Я бы мог обвинить в своей неудаче отца: ему нужно было купить мне скрипку на год-два раньше, чем он купил. Ему не нужно было задерживать оплату уроков. Он должен был поинтересоваться моими занятиями, подбодрить меня...

Я бы мог обвинить учителя: он бескрылое существо, человек без фантазии. Его уроки слишком скучны и однообразны. Он должен был понимать, что имеет дело с мальчишкой, которого распирает от нетерпения, который ненавидит зубрежку и толчение воды в ступе.

Я бы мог обвинить его ведьму жену за то, что ворчала и злилась.

Я бы мог обвинить и змею дочку за то, что смотрела на меня, как удав на кролика.

Я бы мог обвинить весь свет.

Но я никого не виню. В том числе и самого себя.

У меня не хватило настойчивости?

Нет!

У меня не хватило любви к делу.

Всего лишь!

И этого больше чем достаточно.

Хорошо еще, что я не слишком поздно узнал об этом!

КАК ОН УЧИТСЯ?

Тот, кто читает эту историю, должен представлять себе, что я не только увлекаюсь хождением по концертам, театрам или кино, не только “живу в джунглях”, строю вигвамы и “волшебные замки”, сижу на деревьях и воюю с бойскаутами, не только играю

на музыкальных инструментах и читаю увлекательные книги или устраиваю театральные представления, исполняя роли Тараса Бульбы, Вия или Роберта-дьявола, занимаюсь в промежутках между этими делами тасканием из сарая на пятый этаж дров (когда они у нас есть) и воды (когда ее нет, то есть когда не работает городской водопровод), уборкой помещения, подметанием и мытьем полов, хождением в лавочки, чисткой самоваров, медных кастрюль, ложек, ножей и вилок (чистить нужно золой до полного блеска). Это не говоря уж, конечно, о том, что на моей обязанности лежит еще хворать всеми распространенными в те времена болезнями, как, например, тиф, корь, скарлатина, испанка, ветрянка, свинка, бронхит, плеврит, коклюш и другие. И еще он (то есть тот, кто читает эту историю) должен ни на минуту не выпускать из виду, что все это происходит не в обычное мирное время, а в тревожные, боевые годы гражданской войны и что, помимо всего прочего, я еще хожу в школу и как-то (именно “как-то”) учусь.

Уже и не помню, как я учился второй год в подготовительном классе, но учился, видимо, как-то так, что меня все же перевели в первый класс без каких-либо осложнений (под осложнениями я понимаю работы на лето, осенние переэкзаменовки и прочее). Братец же мой – бесшабашная голова – и в первом классе учился по своему старому методу, за что и был оставлен на второй год (на этот раз не помог и возраст). Тут я и “догнал” его.

Мой друг Володька Митулин после каникул почему-то уже не пришел в класс. Я снова сел с братом за одну парту, и мы стали учиться с прежним рвением или, вернее сказать, без какого бы то ни было рвения вообще. В конце концов нас, наверно, выгнали бы из гимназии за неуспеваемость, не случись Октябрьская революция, которая произошла вскорости после того, как начались занятия в первом классе.

Вслед за Октябрьской революцией тут же началась гражданская война, которая в отличие от империалистической шла уже не где-то там на границах или неподалеку от границ государства, а

прокатывалась волнами чуть ли не по своей стране. Немцы, петлюровцы, гетманцы, деникинцы, белополяки, которых большевики (то есть Красная Армия) поочередно вытесняли из города или же сами были вытесняемы ими. Киев неоднократно переходил из рук в руки, и часто, когда мы утром являлись в класс, кто-нибудь из учителей говорил нам:

“Дети, город в осадном положении. Занятия временно прекращаются. Идите домой. О дне возобновления занятий будет объявлено”.

И мы отправлялись домой и наслаждались свободой и неделю, и две, а то и весь месяц, пока, наконец, на подступах к городу не происходило решающее сражение. Обычно оно начиналось ночью. Как правило, в такую ночь мы не спали, а прислушивались к канонаде, в которой уже не различалось отдельных выстрелов, так как они сливались в одно непрерывное зловещее гудение (“И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой”). А на рассвете мы, мальчишки, выстроившись вдоль тротуаров, смотрели, как по улице с утра и до вечера в город вступали части одержавшей победу армии. Легко гарцевала, звонко цокая копытами, нарядная конница, дробным, свободным шагом (словно картошку сыпали) шагала уставшая, посеревшая от дорожной пыли пехота, тархтели по булыжной мостовой пулеметные тачанки, тяжело громыхла артиллерия, обычно замыкавшая шествие.

Власть в городе менялась. Постепенно налаживалась мирная жизнь, но опять-таки только до следующего осадного положения. Обстоятельства складывались так, что сколько-нибудь планомерного учета успеваемости учащихся в школе не велось, и нас всех из года в год без разбора переводили в следующий класс. Таким образом, все способствовало тому, что мы с братом отставали в учебе все больше и больше, постепенно становясь так называемыми “запущенными”, “безнадежными” или “отпетыми”.

Брат, однако, не чувствовал ущербности от такого своего положения, так как им давно уже владела “одна, но пламенная страсть” — стать художником, а художнику-де ни математика, ни

физика и никакая другая наука не нужны вовсе. Для меня лично этот вопрос не решался так просто. Я тоже любил рисовать, но занимался рисованием лишь как игрой. Мысль стать художником, всю жизнь корпящим над своими красками, не казалась мне заманчивой. Начитавшись к тому времени Фенимора Купера, Майн Рида, Жюль Верна, Густава Эмара, Луи Буссенара. Стивенсона и других подобного рода авторов, я весь бурлил от каких-то неясных грез и видел себя в будущем занятым какой-то необычайно значительной деятельностью: то скакал в образе ковбоя на горячем мустанге сквозь прерии дикого Запада, то был чем-то вроде капитана Гаттераса, рвавшегося, несмотря на пургу, мороз и ледяные торосы, к своей заветной цели – Северному полюсу, то путешествовал по знойной Африке вместе с Давидом Ливингстоном, в промежутках же между этими делами был индейцем из племени гуронов или ирокезов, средневековым рыцарем и запорожским казаком, а кроме того, Шерлоком Холмсом, Овodom и Христофором Колумбом – одним в трех лицах; и если уже говорить до конца правду, то капитан Немо – это тоже был я.

В общем, в голове у меня была путаница ужасная! Я, как Дон Кихот, не понимал, кто я, где я и чего хочу. По мере того, однако, как я выходил из детского возраста, чувство реальности начало постепенно возвращаться ко мне. Я стал понимать, что не смогу сделаться средневековым рыцарем, поскольку сейчас никакого средневековья не было. Запорожским казаком тоже нельзя было стать, так как Запорожская Сечь давно прекратила свое существование. Даже Христофором Колумбом я не мог стать, поскольку Америка уже была открыта и Колумбу на моем месте уже нечего было бы открывать. Скорее чувством, чем умом, я стал понимать, что в прошлое смотреть нечего, а надо смотреть в будущее. И время от времени меня стало посещать какое-то безотчетное беспокойство о своем будущем. Я стал ощущать тягостную неловкость оттого, что чего-то не понимаю на уроках, не могу решить заданную на дом задачу, выполнить упражнение и тому подобное.

Поскольку я не мог исправить одним ударом создавшееся

положение (уж очень все было запущено), то и не брался за дело, а махнул на себя рукой, стал считать себя, как было принято говорить, пропавшим и плыл по течению, стараясь не думать, что из всего этого в конце концов выйдет. Все свободное время я отдавал играм и чтению, причем читал все, что под руку попадет, начиная с Камилла Фламариона, писавшего фантастические романы о космических путешествиях, и кончая Клавдией Лукашевич, сочинявшей слащавые повести из детской жизни.

Не знаю, к каким берегам вынесло бы меня мое течение, если бы не один случай, о котором я и хочу рассказать.

В тот период гражданская война подходила к концу, хотя об этом тогда еще никто не догадывался. Казалось, что теперь она будет длиться вечно. Хозяйственная разруха достигла своей кульминации, то есть самой высокой степени. Не работали фабрики и заводы. Не было каменного угля, так как немецкие войска, покидая Донбасс, затопили водой все шахты. Из-за недостатка топлива не работали электростанции. Трамвайное движение в городе прекратилось. В домах не было электрического освещения. Керосина тоже не было, потому что керосин, как известно, делается из нефти, а нефти в то время тоже уже никто не добывал. В результате электрические и керосиновые лампы вообще вышли из употребления. По вечерам помещение обычно освещали плошками, или, как их иначе называли, каганцами. Брли небольшое блюдечко, в него наливали какое-нибудь масло (годились любое жирное, способное гореть вещество). В это масло опускали скрученный из ваты фитилек. Один из концов этого фитиля клали на край блюда и зажигали. Фитилек потихоньку горел, давая свет, уступавший по силе свету от обыкновенной спички. Но и такой свет был благо, когда не было совсем ничего (сколько книг я перечитал при свете такого каганца!). Ваты в аптеках не было. Поэтому вату для фитилей добывали из зимних пальто, выдирая ее из подкладки. Спички тоже не продавались, поэтому в ходу были различнейшие зажигалки, сделанные из стреляных винтовочных гильз.

Не хватало одежды, обуви, а главное – не хватало еды. Часто мы сегодня не знали, что будем есть завтра, и, сказать по правде, я не помню дня, чтобы наелся досыта, и если бы такой день выпал, я бы его запомнил, это уж непременно. В холодное зимнее время от бескормицы гибли лошади (автомобилей тогда было мало, ездили и перевозили грузы преимущественно на лошадях). Обессилив от истощения, несчастная лошадь падала прямо посреди улицы и уже не могла встать. Ее выпрягали из саней или телеги и оставляли там, где ее настигла смерть. Поскольку трамвайное движение прекратилось, мы ходили в гимназию пешком и на своем пути обычно видели по несколько лошадиных трупов. Один из таких трупов долго лежал на углу Борщаговской улицы и Брест-Литовского шоссе, другой валялся в начале Бульварно-Кудрявской улицы, третий на Сенной площади, неподалеку от рынка. Зимнее время способствовало сохранению лошадиных трупов, но изголодавшиеся собаки не давали им особенно долго залеживаться. Обычно можно было видеть целую свору собак, обдиравших дохлую лошадь со всех сторон и вдобавок грызущихся между собой. С покрасневшими от лошадиной крови мордами, а некоторые от головы до хвоста измазавшиеся в крови, они внушали нам отвращение. Обычно из гимназии мы возвращались целой компанией ребят и считали своим долгом разгонять собак, поедавших дохлых лошадей, бросая в них камнями. Нам было жалко бедную лошадь, и мы думали, что делаем доброе дело, отгоняя от нее противных собак.

В действительности собаки эти служили хорошую службу, освобождая город от гниющей падали. Работали же они своими зубами настолько чисто, что через некоторое время от лошади оставался белый, словно омытый водой, скелет. Но собакам работы хватало, так как вместо съеденной лошади на Брест-Литовском шоссе появлялась новая дохлая лошадь в начале Бибиковского бульвара, а вместо лошади на Сенной площади появлялась лошадь на Малой Подвальной улице и т. д.

Спасаясь от голодухи, все больше народу уезжало из города. Все знавшие какое-нибудь ремесло – сапожник, портной, скорняк,

столяр – потянулись в деревню. Многие из учителей перекочевали туда же. Там они учили крестьянских детишек, а крестьяне снабжали их продуктами: яйцами, салом, картошкой, кукурузой – всем, что годилось в пищу. Наступил период, когда в гимназии у нас не осталось и половины учителей. Остались лишь сугубые интеллигенты, у которых не было никаких связей с деревней, как, например, учитель русского языка Петр Эдуардович Деларю (из обрусевших французов), добродушный Владимир Александрович (никогда не знал его фамилию), преподававший природоведение, немка, то есть преподавательница немецкого языка Ольга Николаевна, и француженка Вера Дмитриевна. Грозный Леонид Данилович, преподававший математику, куда-то исчез, а вместо него появился худой и высокий, но не менее грозный Карапет, преподававший ранее математику лишь в старших классах. Ни имени, ни фамилии этого учителя никто не знал, а Карапет была его кличка. Правда, кто-то из учеников уверял меня, что на самом деле его зовут Карапет Иванович и можно, желая задать ему какой-нибудь вопрос, назвать его этим именем, но я лично на такой эксперимент не отваживался. Слишком дорого мог обойтись этот эксперимент, окажись Карапет не Карапетом Ивановичем, а кем-нибудь другим.

Ввиду нехватки учителей Петр Эдуардович преподавал в тот год у вас не только русский язык, но и анатомию. Ольга Николаевна, помимо немецкого языка, преподавала и географию. Владимир Александрович преподавал уже не природоведение, а физику. Карапет же преподавание математики совмещал с должностью неизвестно куда девшегося инспектора и вылавливал на переменах шаливших в коридорах учеников (а может быть, это у него было такое, как теперь называют, хобби). Однажды я счастливо избежал самой страшной кары – исключения из гимназии, – ловко ускользнув из его рук, о чем расскажу сейчас.

Был период, когда мы, не знаю по какой причине, проходили в помещение гимназии не с главного входа, а с бокового. Дверь внизу лестничной клетки бокового входа была небольшая, одностворчатая и выходила в маленький коридорчик или тамбур, а

из тамбура уже был выход на улицу. Я и двое моих товарищей сообразили, что если по окончании занятий спуститься раньше всех в тамбур и, закрыв внутреннюю дверь, покрепче держать за ручку, то спускающиеся сверху ученики не смогут ее открыть, так как дверь открывалась внутрь, а все прибывающие сверху и напирające друг на друга ученики будут только мешать друг другу. Расчет оказался верным. Придуманный нами номер мы проделывали несколько дней подряд, держа в осаде весь наличный состав учащихся, наподобие трех рыцарей из романа Генриха Сенкевича “Огнем и мечом”, которые втроем защищали узкий горный проход от целой армии противника. Можно легко представить себе, какой поднимался крик и вой, когда вся лестница заполнялась снизу доверху рвущимися домой ребятами.

Эти наши “рыцарские” подвиги кончились тем, что в один печальный день Карапет, выскочив через главный вход, пробежал по улице и, открыв дверь в тамбур, застиг нас на месте преступления. Двоих моих друзей он сразу схватил за шиворот, я же, молниеносно учтя опасность положения, успел удрать, пронырнув между его длинными, широко расставленными ногами. Оба моих соратника были исключены из гимназии, я же благодаря вот такого рода своей пронырливости избежал наказания.

Зато в другой раз мне повезло меньше, и я угодил Карапету прямо, как говорится, в лапы. Один из классов у нас был отделен от коридоров не капитальной стеной, а легкой фанерной перегородкой. Кто-то из ребят выломал из этой перегородки кусок фанеры у самого пола, так что образовалась четырехугольная дырка, сквозь которую можно было, слегка нагнувшись, вылезти из класса в коридор, минуя дверь. Мне почему-то особенно нравилось проникать в класс и выходить из класса не через дверь, а через этот лаз. Так было романтичнее, что ли. И вот однажды, когда я вылезал в коридор из этой дырки, кто-то в классе бросил в меня каштаном, но попал не по мне, а по фанерной стенке над моей головой. Раздался гулкий удар. А в это время по коридору проходил бдительный Карапет. Услышав стук, он глянул вниз и увидел меня вылезающим из дыры.

Тут же сцапав меня за руку повыше локтя, он грозно спросил, зачем я ломаю стену. Я стал уверять его, что стены не ломал.

– Но я же слышал, – настаивал Карапет.

Я принялся объяснять, что звук, который он слышал, произошел оттого, что кто-то бросил в меня каштаном, а дырка в стене уже была давно.

Тут к нам подошел Владимир Александрович, который лишь недавно был назначен нашим классным наставником.

– Как он учится? – строго спросил его Карапет.

Я не сомневался, что Владимир Александрович скажет, что учусь я из рук вон плохо (это вполне соответствовало действительности), но, к моему удивлению, Владимир Александрович, на секунду замявшись, сказал:

– Ничего.

Услышав такой ответ, Карапет наконец отпустил меня.

Очутившись на свободе и понемногу придя в себя от испуга, я начал думать, почему так ответил Владимир Александрович Карапету. До этого случая я пребывал в полной уверенности, что всем хорошо известны мои успехи, или, вернее сказать, мои неуспехи в учении. Постепенно я, однако, припомнил, что Владимир Александрович давно не спрашивал меня по своему предмету, а как обстоят мои дела у других учителей, он, должно быть, не знал, так как лишь в этом году был назначен нашим классным наставником, учебный год к тому же совсем недавно начался. Вопрос строгого Карапета застал нового классного наставника, как видно, врасплох. Сказать, что я учусь хорошо, Владимир Александрович не мог, так как вовсе не был уверен в этом, сказать же, что я учусь плохо, тоже чувствовал себя не вправе. Вот он и избрал нечто среднее между “плохо” и “хорошо”, в результате чего получилось уклончивое “ничего”.

Я мысленно вертел это слово на всяческие лады и почувствовал,

что его можно произнести так, что оно будет звучать почти как “хорошо”, но можно произнести и так, что оно прозвучит прямо-таки как “плохо”. Я начал припоминать, как его произнес Владимир Александрович. Оказалось, что он начал это свое “ничего” несколько нерешительно и первые его две трети прозвучали почти как “плохо”, но, видимо, он сам спохватился, пока говорил, и, чтоб поправить дело, конец слова произнес более уверенно, оптимистически, отчего в целом оно прозвучало почти как “хорошо”.

Я сам задавал себе мысленно вопрос строгим голосом Карапета:

“Как он учится?”

И отвечал голосом Владимира Александровича:

“Ничего!”

И это “ничего” получалось у меня прямо-таки как “хорошо”, “совсем прилично”.

И я подумал, что, может быть, не только Владимир Александрович, но и другие учителя не знают, что учусь я на самом деле плохо, что я неспособный, пропавший и так далее в этом роде. Я вспомнил при этом, что в период летних каникул помещение гимназии было отдано под военный госпиталь, после чего из учебных кабинетов исчезли все наглядные пособия: коллекции насекомых, банки с заспиртованными каракатицами, электрические машины, глобусы, географические карты. Исчез даже неизвестно кому и для чего понадобившийся человеческий скелет, и теперь на уроках анатомии, чтобы показать, из каких костей состоит человеческий скелет, Петру Эдуардовичу приходилось использовать в качестве наглядного пособия свои собственные руки, ноги и другие части тела, что очень веселило зрителей, или, вернее сказать, учащихся.

Как только эти обстоятельства пришли мне на память, в моей душе затеплилась надежда, что вместе со скелетом и другими вещами из гимназии исчезли и классные журналы с учетом

успеваемости за прошлые годы. Их, наверно, порвали на сигарки содержавшиеся в госпитале раненые и уничтожили, таким образом, все вещественные доказательства моих успехов в учении.

И тогда я подумал:

“Если так, если никто не знает, что я плохо учусь, то, может быть, никто этого и не узнает, если я приложу старания и начну учиться получше?”

В общем, одно слово, сказанное Владимиром Александровичем, вызвало целый вихрь мыслей в моей голове. Я чувствовал, что во мне произошел какой-то переворот. У меня сразу переменился взгляд на жизнь, на людей. Теперь я знал, что никто не относится ко мне с недоверием, и у меня самого появилось больше доверия к людям. Я понял, что никто не станет карать меня за старые грехи. Груз прошлого больше не давил меня. Я почувствовал легкость необыкновенную и в этот день уже не шел домой по улицам, а летел над городом как бы в состоянии невесомости. И какой-то нежный, ангельский голос пел во мне:

“Как он учится?”

И другой ангельский голос пел в ответ:

“Ничего-го-о-о!”

РЕШАЮЩИЕ БОИ

Итак, дорога передо мной была открыта. Я понимал, что впереди – большие трудности. Справлюсь ли я? В силах ли я? Смогу ли я? И вообще в человеческих ли это возможностях? Я не знал. Я знал лишь, что хочу. И какое-то чувство говорило мне, что “хочу” – это значит “могу”.

В тот день, вернувшись из школы, я тут же засел за уроки и, скажу откровенно, впервые без неохоты, без желания поскорее отделаться от них.

Правда, от этого не сразу получился у меня толк. Есть

предметы, как, например, география, ботаника, зоология, в изучение которых можно включиться с середины. А вот в других предметах, как в алгебре, если не усвоил предыдущего, то ничего не поймешь в последующем. Дома у нас никто ничего не понимает в алгебре и никто ничего не может мне объяснить. Карапет в классе тоже ничего не объясняет, а все только спрашивает да еще в какой-то издевательской, веселой манере. Вот Карапет, к примеру, вызывает меня к доске, диктует уравнение и не просто велит решить его, а задает вопрос в такой форме:

– Не можешь ли ты, голубчик, удовлетворить мое любопытство и сказать, чему равен x ?

Так как я не могу удовлетворить его любопытство, он приглашает к доске на помощь мне другого ученика:

– Ну-ка, вот ты, Смирнов, сделай, пожалуйста, одолжение и объясни нам, чему равен x .

Видя, однако, что Смирнов не может сделать такого одолжения, Карапет вызывает к доске Быстрова, за Быстрым – Калугина. Постепенно у доски становится тесно. В классе начинают раздаваться смешки.

– Кто смеется? – строго спрашивает Карапет. – Кому там весело? Тебе, Орлов, весело?

– Мне не весело, – признается Орлов.

– Ах, тебе не весело? – иронизирует Карапет. – Тебе, стало быть, скучно! Ну, чтоб тебе не было скучно, иди к доске и объясни нам, чему равен x .

Орлов подходит и, деловито стуча по доске мелом, начинает излагать примерно следующее объяснение:

“Так как в задаче говорится то-то и то-то, а это на столько-то больше того-то, то x равен тому-то плюс то-то, а вместе это дает то-то. Составляем уравнение: x плюс то-то равно тому-

то. Решаем уравнение: x равняется тому-то минус то-то. В результате получаем то-то. Значит, x равен тому-то”.

– Ну вот! – радостно обращается Карапет ко мне. – Теперь понял?

– Понял, – говорю я.

– Садись, в таком случае. Все садитесь, – отдает распоряжение Карапет.

Мы все гурьбой удаляемся от доски. Я сажусь на свое место, так и не поняв, почему x сначала был равен чему-то плюс что-то, а потом вдруг стал равен чему-то, но уже минус что-то. Мне, однако, всегда выгоднее сказать, что я понял: остается надежда, что Карапет, может быть, не поставит мне на этот раз плохую отметку. Если же я начну упорно твердить, что не понял, то он быстро разберется, что я в алгебре ни уха ни рыла, как у нас принято говорить, то есть абсолютно ничего не понимаю.

А я на самом деле ничего не понимаю в алгебре. Я не понимаю самой алгебры. В моей голове туман. Отчего это? Может быть, я хворал, когда мы начали проходить алгебру, или по какой-нибудь другой причине отсутствовал на уроках. А может быть, я и присутствовал, да не слушал объяснений преподавателя, а потом, когда спохватился, было поздно: класс ушел далеко вперед, и для меня теперь вся эта алгебра вроде китайской грамоты. Но если так... Если начать все сначала, то, может быть, я одолею эту премудрость? Ведь выучил же я по самоучителю ноты. Почему нельзя выучить по самоучителю алгебру? Почему здесь обязательно нужен учитель? Но бывают ли самоучители алгебры? Я что-то не слыхал о существовании таких самоучителей.

Обдумав все это, я раскрываю алгебраический задачник Шапошникова и Вальцева, но не там, где нам задано, а на первой странице, где помещены самые начальные упражнения, расположенные столбиком: $a+a=$, $b+b=$, $a-a=$, $c+c+c=$... “Что это?” – ломаю голову я. Это похоже на арифметические примерчики для самых маленьких, вроде: $2+2=$, $3+3=$, $2-2=$...

Но два плюс два будет равно четырем. А чему может быть равно “ $a+a$ ”? Ведь это же не цифры, а буквы! Из букв можно складывать слова и читать книги. Для того и придуманы буквы! А здесь при чем они, эти буквы? Какой в них смысл? Явная бессмыслица!

Я заглядываю в задачник дальше. Там идут примерчики уже посложнее, вроде: “ $2a+3a=$ ”, “ $3a+4b-2b=$ ”, “ $4c-c=$ ”... А это что же? Тут уже буквы перемешаны с цифрами! Словно какой-то сумасшедший задался целью перепутать азбуку или грамматику с арифметикой! Пробую заглянуть в ответы, но ответов на эти упражнения нет. И главное: никаких объяснений! Решай как знаешь!

Тут мне почему-то приходит на память, что среди моих школьных учебников есть еще одна книжка по алгебре. Это не задачник, а называется книжка просто “Алгебра”, и автор ее Киселев. В эту книжку я вообще никогда не заглядывал. Возможно, в классе иногда и задавали прочитать в этой книжке ту или иную главу, но поскольку задания приходилось выполнять сплошь по задачнику Шапошникова и Вальцева, то я и имел дело с Шапошниковым и Вальцевым, не тратя драгоценного времени на чтение Киселева, который даже и не знаю зачем вообще нужен.

В поисках выхода из создавшегося безвыходного положения или из любопытства (сейчас уже не помню точно) пробую почитать эту книжку. Читаю. Разумеется, с первой главы читаю, так, словно бы это у меня какой-нибудь занимательный роман про индейцев или про подводную лодку. И мне вдруг начинает казаться, будто я понимаю что-то! Нет! Мне не начинает казаться, а просто кажется, что я понимаю... Да нет! Не кажется! Просто я понимаю – и все тут! Алгебра, как оказывается, – это часть математики, изучающая общие законы действий над числами. В алгебре какое-нибудь число может быть условно заменено какой-нибудь буквой, и наоборот, под какой-нибудь буквой может подразумеваться любое число. Например: под буквой “ a ” мы можем подразумевать, скажем, число “2” или “3”, и если мы запишем: “ $a+a$ ”, то это может означать, что число “2” или “3” мы берем два раза или умножаем на два; следовательно, можем записать, что “ $a+a=2a$ ”.

Прочитав главу, я тут же возвращаюсь к задачнику и убеждаюсь, что легко могу делать эти буквенные примерчики, доступные пониманию пригостишки, если ему, конечно, с толком все разобъяснить. Дальше у меня дело идет так: читаю очередную главу у Киселева и делаю соответствующие примеры и задачи из соответствующего раздела Шапошникова и Вальцева, потом снова читаю Киселева и снова разделяюсь с главными моими врагами – Шапошниковым и Вальцевым. Хороший у меня союзник – Киселев! Хороший у меня учитель – Киселев! Вот он где, самоучитель алгебры! Он, оказывается, лежал у меня в сумке или на полке, а я даже не подозревал, что он у меня есть. Искал, как пошехонец, рукавицы, а они за поясом!

Таким способом за два или три дня я “прохожу” такой “кусочек” алгебры, который ребята в школе не проходят и за два месяца. Но не все трудности уже позади, потому что впереди такой крутой и опасный перевал в алгебраическом хребте, как алгебраические дроби.

Мой мудрый советчик, мой добрый друг и союзник Киселев начинает к тому же почему-то вилать в стороны и вместо того, чтобы говорить прямо, без обиняков, что-то там мямлит, темнит, все чаще ссылаясь на арифметику, утверждая, что и сложение, и вычитание, и умножение, и деление алгебраических дробей производится подобно арифметическим дробям... Как это “подобно”? Будто я знаю, как это делается в арифметике. Об арифметических дробях я только и знаю, что они состоят из числителей и знаменателей и их можно как-то там складывать, вычитать, делить и умножать. Как-то! Но как? Этого я вам не могу сказать. Может быть, мы этого не проходили. Или меня, может быть, не было в классе, когда это проходили. Или, может быть, я и был, так сказать, физически, но мысленно витал где-нибудь в дебрях реки Амазонки.

Возможно, однако, Киселев не так уж и виноват. Зачем ему писать двадцать раз об одном и том же? Я помню, что когда мы проходили арифметику, то, помимо арифметического задачника Евтушевского, у нас был еще учебник, который назывался просто

“Арифметика”, и автором этой “Арифметики” был все тот же старина Киселев... Роюсь в своих книжках, отыскивая “Арифметику” Киселева, и начинаю читать. Ну, в самом начале там говорится, что числа, которые складываются, называются слагаемыми, а результат сложения называется суммой, и прочая всем известная чепуха. Это я пропускаю. Начинаю читать раздел, который называется “Обыкновенные дроби” – про числитель и знаменатель... Тоже всем известно. Пропускаю. Читаю раздел “Сложение обыкновенных дробей” и узнаю, что, для того чтобы сложить две дроби, их надо привести к общему знаменателю. А чтоб привести к общему знаменателю, нужно отыскать общее наименьшее кратное, а чтоб отыскать это самое наименьшее кратное, нужно разложить на простые множители и еще найти какой-то общий наибольший делитель.

Общий знаменатель! Простые множители! Наименьшее кратное! Наибольший делитель! Это что еще за зверье такое?... Листаю книжку в обратном порядке. Нахожу раздел “Разложение чисел на простые множители”. Читаю. Узнаю постепенно и про простые множители, и про наименьшее кратное, и про наибольший делитель. Только после этого возвращаюсь к дробям, постигаю, как отыскивается общий знаменатель, без которого не обходится ни сложение, ни вычитание простых дробей. Перехожу к умножению и делению дробей, что, вопреки ожиданию, оказывается проще, чем сложение и вычитание.

Подтянув арифметические резервы, снова иду в наступление на алгебру. Алгебраические дроби не выдерживают натиска, несут большие потери и отступают в беспорядке. Алгебра бросает против меня хорошо подготовленные отряды многочленов и одночленов, выводит из засады отрицательные числа, палит из всех орудий отношениями, пропорциями, уравнениями и чем только может. В моих позициях образуются бреши. Мне то и дело приходится отступать на заранее подготовленные рубежи и выравнивать линию фронта. Все мои неудачи происходят из-за того, что я слишком быстро продвигаюсь вперед, стараясь обойти стороной некоторые опорные пункты в оборонительной системе

Шапошникова и Вальцева. В тылу у меня остаются огневые точки противника, которые наносят мне непоправимый ущерб.

На ошибках учимся. Меняю тактику. Если я раньше решал не все задачи в задачнике, а с выбором, если иной раз я отступался от какой-нибудь не слишком покладистой задачки, предпочитая ей другую, посговорчивей, то теперь прихожу к мысли, что надо разделяться с ними со всеми подряд, не давая ни одной спуска. Расчет мой прост. Мне неизвестно, какие задачи в учебнике легкие, какие трудные. Но решение легких задач не отнимает много времени. Если же задача попадаетесь трудная, то трудна она для меня лишь потому, что я чего-то не знаю, не понимаю. Преодолевая трудность, я что-то узнаю, постигаю, начинаю понимать то, чего раньше не понимал. Путь наибольшего сопротивления был единственно правильный путь.

Теперь, если в задачнике попадалась задача, которая не выбрасывала сразу же передо мной белого флага, ей приходилось сидеть в осаде, пока я ломал над ней голову. С одной такой каверзной задачкой (как сейчас помню) я пронянчился чуть ли не с неделю. Я выучил ее наизусть и думал над ней, где бы ни находился: и дома, и на улице, и сидя, и стоя, и лежа, и на ходу, и когда обедал и ужинал, и когда ложился спать, и когда вставал, одевался и умывался. И ужасно я на нее злился, потому что она сильно задерживала мое продвижение по непокорной алгебре. Однажды ночью я долго не мог заснуть, так как думал над этой задачей. А когда заснул, приснился мне сон. Будто я сижу за столом и решаю эту задачу. И приснилось мне, будто я додумался, как решить задачу, и прикончил-таки ее. Проснувшись утром, я тут же заглянул в задачник и увидел, что ответ был правильный. Таким образом, я во сне понял то, чего не понимал наяву. Значит, даже когда я спал, мозг мой продолжал работать, и работал правильно.

Впоследствии я читал, что великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев открыл один из основных законов химии – периодическую систему химических элементов – во сне, то есть когда спал. В те времена многие химики предполагали, что

существует какая-то связь между атомными весами химических элементов (то есть простых веществ) и их свойствами, но никто никак не мог додуматься, в чем заключается эта связь, какая тут между ними зависимость. Дмитрий Иванович Менделеев так долго и упорно думал об этом, что забывал о еде и сне. А когда однажды заснул, то увидел во сне свою периодическую систему в форме уже готовой таблицы, которую помещают теперь в каждом учебнике химии.

Когда я прочитал это о Менделееве, то поверил, что во сне действительно можно сделать научное открытие, так как со мной самим произошло нечто подобное. Правда, мое открытие не имело для науки и человечества такого большого значения, как открытие Менделеева, но для меня лично оно было очень важно. Не знаю, кто из нас больше радовался: Менделеев, когда придумал свою мировую периодическую таблицу, или я, когда решил свою каверзную алгебраическую задачу. Для меня впервые, может быть, в тот момент стало ясно, что настоящая человеческая радость – в борьбе, в труде, в преодолении трудностей.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Нечего, конечно, и говорить, что, пока я продвигался галопом по алгебре, а заодно и по геометрии, класс не стоял на месте, и мне необходимо было не только наверстывать упущенное, но и выполнять задаваемые на дом уроки. Теперь я уже не считал возможным являться в класс с несделанными домашними заданиями и если не справлялся с ними самостоятельно, то хотя бы списывал у товарищей. Я же ведь должен был поддерживать марку ученика, который учится не как-нибудь, то есть спустя рукава, а “ничего”, то есть вроде как бы совсем прилично.

Впрочем, надобность в списывании по мере моего продвижения вперед постепенно отпадала. Мне к тому же еще здорово повезло в том отношении, что русский язык уже кончился, то есть мы прошли уже всю грамматику вместе с синтаксисом и этимологией и вместо них начали проходить литературу. Таким образом, теперь

уже никто не заводил речи ни о причастиях, ни о деепричастиях, я же, признаться, не сильно в них разбирался, то есть, если сказать по совести, не мог отличить одно от другого. Теперь вместо всего этого нужно было только читать книжки: “Капитанская дочка”, “Евгений Онегин” Пушкина, “Герой нашего времени” Лермонтова, “Шинель”, “Ревизор”, “Мертвые души” Гоголя, “Обломов” Гончарова. Ну, и так далее. Читать для меня было, в общем-то, одно удовольствие. Неожиданно для себя я убедился, что можно читать не только Фенимора Купера да Майн Рида, но и таких авторов, которые сильно от них отличаются, заставляя задумываться над такими сторонами жизни, которые как-то ближе меня самого касаются. Увлечшись, я, помимо требовавшихся по программе “Рудина”, “Отцов и детей” и “Нови” Тургенева, прихватил остальные три его романа: “Дым”, “Дворянское гнездо”, “Накануне” и еще кое-что из менее крупных произведений. Вообще я стал читать не только сыщицкую и приключенческую литературу, но и классическую. На уроках же было интересно поговорить о прочитанном: о так называемых “лишних людях”, вроде Онегина и Печорина, о хлестаковщине, маниловщине, обломовщине. Вот когда я почувствовал, что и во мне сидят (в известной дозе, конечно) и хлестаковщина, и маниловщина, и в особенности эта проклятая обломовщина, от которой я изрядно-таки пострадал.

С физикой мне “повезло” тоже, поскольку к тому времени уже были пройдены такие скучные разделы, как “Механика”, “Жидкости” и “Газы”, оставшиеся на карте моей памяти “белыми пятнами”. Только из раздела “Жидкости” в моем мозгу запечатлелся один островок в виде закона Архимеда, да и то, надо полагать, потому, что об этом Архимеде рассказывалось как о каком-то смешном чудаке, который сидел в ванне, а потом голый бежал по улице и кричал: “Эврика!”, что означало “Нашел!”

Короче говоря, мы начали новый раздел физики – “Электричество”, усвоение которого не требовало знания закона всемирного тяготения или гидростатического парадокса, что

весьма облегчало мою задачу. Электричество к тому же казалось очень занимательной наукой, так как изучение его сопровождалось показом опытов, которые мы в шутку называли фокусами. Да они и на самом деле смахивали на фокусы. Пробковый шарик, подвешенный на ниточке, почему-то притягивался к натертой сукном стеклянной палочке, а прикоснувшись к ней, начинал вдруг отталкиваться. Если же к наэлектризованному таким путем шарiku подносили натертую сукном эбонитовую палочку, то он опять же притягивался к ней. Наличие двух родов электричества доказывалось на конкретных, наглядных примерах, что имело существенное значение для мальчишечьего мышления, которое не терпит ничего абстрактного, беспредметного, основанного на одних рассуждениях или умозаключениях.

Поскольку физический кабинет, как уже упоминалось, был в школе расхищен, Владимир Александрович вовлек нас в изготовление самодельных наглядных пособий вроде электроскопов, конденсаторов, лейденских банок, электрофоров. Дома я с увлечением мастерил сначала эти приборы, а потом уже и гальванические элементы, электромагниты, микрофоны, телефонные трубки, электрические звонки и телеграфные аппараты.

Таким образом, я все глубже уходил в дебри науки об электричестве, надеясь, что передо мной вот-вот откроется первопричина этой загадочной силы, которая притягивала и отталкивала предметы, проскакивала в виде искр или молний, намагничивала железо, заставляла колебаться мембраны телефонов, вертела электромоторы, разлагала воду на составные части, действовала на магнитную стрелку, пробегала с молниеносной скоростью по проводам, передавая телеграфные сигналы и телефонные разговоры, накаляла нити электрических ламп, заставляя их светиться, двигала по рельсам трамваи, поднимала и опускала лифты и фуникулеры. Первопричина эта никак, однако, не хотела открываться, а вместо нее открывались новые проявления этой силы в виде катодных и рентгеновских лучей, электромагнитных колебаний, с помощью которых можно

было передавать телеграфные сигналы на расстоянии, радиоактивности, сущности которой не могли в те времена объяснить даже сами ее открыватели, и много других вещей.

Я уже начал было мастерить колебательный контур и когерер Бранли для передачи и приема электрических сигналов без проводов, но у меня что-то не ладилось. То ли железные опилки в трубке Бранли были ржавые и не хотели пропускать ток, то ли напряжение в колебательном контуре было недостаточно высоким, и электромагнитные волны не возникали или были слишком слабыми. В общем, мне так и не удалось выяснить причину неудачи, потому что в это время мы как раз начали проходить химию, и я со всем пылом и жаром набросился на эту науку, призванную, как я подозревал, объяснить сущность всего сущего и всего, что происходит вокруг в природе.

В тот год у нас в классе появился новичок Люсик Боровский, чех по происхождению. Настоящее имя его было Леонард, но дома и мать и обе старшие сестры звали его Люсиком. На первых порах я с этим Люсиком подрался, сейчас уже даже не помню из-за чего. (Я заметил, что слишком часто пишу “не помню”, но тут уж ничего не поделаешь. Как говорится, что есть, то есть: если не помню, то так и пишу “не помню”, а если помню, то пишу “помню”.) Так вот, я с ним, значит, подрался, как это часто бывает между ребятами, а потом вдруг обнаружилось, что мы оба влюблены в химию, и на почве этой “любви” между нами возникла большая дружба. Нам обоим мало было смотреть на химические опыты, которые демонстрировал в классе преподаватель, и мы решили устроить свою химическую лабораторию на чердаке дома, где он жил, на Лютеранской улице, недалеко от Крещатика. Там в углу обширного чердачного помещения за дощатой перегородкой была комнатуха или чуланчик с полукруглым оконцем и с неизвестно кем и для чего устроенным подобием длинного стола или верстака, на котором мы с удовольствием могли расположиться со своими приборами. Лучшего места для лаборатории и придумать было нельзя, поскольку образующиеся при различных химических реакциях такие резко пахнущие и ядовитые газы, как хлор,

аммиак, сероводород, ацетилен и другие, легко рассеивались по всему чердаку и, в сущности, никому не мешали.

Москва, как известно, не сразу строилась. Так и наша лаборатория. Сначала все наше химическое оборудование ограничивалось стеклянными пробирками с резиновыми пробками и тонкими трубочками из легкоплавкого стекла, но постепенно мы обрастали хозяйством, появлялись колбы, простые и эрленмейеровские (то есть конусообразные): реторты, мензурки, двугорлые банки, фарфоровые тигли и ступки, термометры, спиртовые и ацетиленовые горелки, железные штативы, а также различнейшие химикалии, на что уходили все наши всякими способами добываемые капиталы.

Все химическое оборудование и химикалии в стеклянных банках, снабженных наклейками с аккуратно написанными химическими формулами, были красиво расставлены вокруг на полочках. На столе стояли спиртовые горелки и железные штативы с закрепленными в них колбами и ретортами. Все это имело таинственно-романтический вид, словно здесь трудился в поисках “философского камня” или “эликсира жизни” какой-нибудь средневековый алхимик. Из окошечка нашей лаборатории далеко внизу была видна спускавшаяся полукольцом к Крещатику и утопавшая в зелени каштанов Кругло-Университетская улица.

Отец Люсика был живописец вывесок, и в его мастерской всегда имелся запас искусно выполненных, словно напечатанных, эмалевых табличек с надписями вроде: “Не курить”, “Не сорить”, “Не плевать”, “Посторонним вход воспрещен” и тому подобными. Для того чтобы обезопасить помещение лаборатории от непрошенных посетителей, мы приколотили к двери взятую Люсиком у отца табличку: “Посторонним вход воспрещен”, а немного ниже этой – еще одну (для полной, так сказать, безопасности): “Высокое напряжение. Опасно для жизни” – с устремленной по диагонали стрелой, изображавшей электрическую искру. Под защитой этих предостерегающих надписей мы оставляли все свое химическое богатство без опасения за его сохранность.

Кто-нибудь может подумать, будто я только и делал, что безвылазно торчал в нашей лаборатории. А вот и ничего подобного! Чего только я не успевал тогда!

Ходил в публичную библиотеку. Читал там книжки. И нужные и ненужные, то есть те, что требовались по школьной программе, и те, что вовсе не требовались: и художественную литературу и научно-популярную. Там впервые познакомился с книгами Циолковского, Уэллса и Николая Морозова, просидевшего двадцать пять лет в Шлиссельбургской крепости и писавшего о таких удивительных вещах, как четвертое измерение. Еще была книга “1000 химических рецептов” Винклера. Из нее я делал выписки, что из чего и как надо делать. А потом мы это делали в своей лаборатории.

Играл в шахматы. Да как играл! Так что кричал во сне. А когда просыпался утром, в голову лезли какие-то нелепые мысли, к примеру: как встать с постели “слоном” или “конем”. На улице я ловил себя на том, что о встречающих пешеходах думаю, как о пешках противника, которые надо либо “побить”, либо “пропустить”, либо “запереть”, то есть преградить им путь. На противоположную сторону улицы я переходил обычно “слоном”, то есть по косой линии, перекрестки же переходил преимущественно “ладьей”, то есть по прямой.

Пел в школьном хоре. Хотя пение и не любил слушать, но сам почему-то пел. Как обычно, в хоре пели на разные голоса, и петь надо было стараться так, чтоб не сбиваться со своей партии. Увлекала, должно быть, совместность, коллективность этого действия, производившая какой-то неожиданный звуковой эффект.

Играл в оркестре. Уже и после того, как распростился со скрипкой, продолжал играть на мандолине, разучивая новые мелодии и подбирая аккомпанемент на гитаре. Меня интересовала связь между мелодией и гармонией. Для тех, кто не знает или забыл, скажу, что мелодия заключается в последовательности, в чередовании отдельных звуков, гармония же – в их совместном,

одновременном звучании. Хотелось выяснить, почему одной части мелодии соответствует определенный, состоящий из нескольких совместно звучащих нот аккорд, другой же части мелодии, то есть другому чередованию звуков, соответствует уже другой аккорд. Тут, как мне казалось, существует какое-то правило, по которому можно автоматически гармонизировать любую мелодию. Впоследствии я узнал, что такие правила на самом деле имеются. Существуют даже композиторы, которые сочиняют только мелодию, оркестровку же поручают музыкантам, знающим правила гармонизации. Теперь, как известно, это может делать даже машина. Компьютером называется. Этот компьютер может даже мелодию вместо композитора сочинить. Говорят, что скоро с помощью компьютеров вообще музыку можно будет писать. Неизвестно только, можно ли ее будет слушать.

“ЖУРНАЛ ИКС”

Думаю, что вопрос о музыке решит будущее. В прошлом же я интересовался не только музыкой, но и другими вещами. Я очень дружил со своими двоюродными братьями Шурой Тихоновым и Сережей Василевским. Втроем мы часто предпринимали длительные прогулки, или, как мы их называли, путешествия, по берегам Днепра, Труханову острову и другим местам. Карабкались по береговым кручам, обрывам, лазили по оврагам, по лабиринтам пещер, вырытых еще в доисторические времена людьми каменного века, а позже расширенных древними монахами, переселившимися впоследствии в пещеры Киевского Печерского монастыря.

Помимо этих “путешествий” и “исследований” пещер, мы все трое были по горло загружены работой по выпуску ежемесячного иллюстрированного журнала, для которого писали рассказы, повести и даже романы с продолжением научно-фантастического, детективного, приключенческого и военного содержания, с убийствами, ограблениями, сражениями, пожарами, наводнениями, землетрясениями, с рыцарями, индейцами, пиратами, кладоискателями, призраками, привидениями, извержениями вулканов, подводными лодками, дирижаблями, гигантскими осьминогами, средневековыми замками, морскими змеями,

пороховыми бочками, людоедами – вообще всем, что могло поразить воображение мальчишек того возраста, в котором мы тогда находились. Журнал имел интригующее (как нам казалось) название: “Журнал Икс” и выпускался лишь в одном экземпляре. Хотя на обложке и обозначалось, что он ежемесячный, но мы обычно не укладывались в сроки, потому что мало ведь было сочинить рассказ, повесть или очередное продолжение начатого романа: помимо этого их надо было начисто переписать в довольно объемистую общую тетрадь, нарисовать картинки и красивую обложку, без которых журнал имел бы вид обычной ученической тетради. Для придания большего разнообразия прозаический текст требовалось перемежать стихотворным, для чего писались всяческие баллады, элегии и другие стихи, жанр которых я затрудняюсь определить. Поскольку материала обычно не хватало, в тетради всегда оставалось несколько чистых страничек с конца, которые мы наспех заполняли эпиграммами, экспромтами, юморесками, главным же образом карикатурами, большим мастером которых был Шура.

Сергей до переезда в Киев жил со своими родителями в Петрограде и однажды оговорился. Желая предложить нам пройтись по Крещатику, он сказал: “Прогуляемся по Невскому”. Это и дало мне пищу для эпиграммы (если ее так можно назвать):

Раз Сережа Василевский

Погулять пошел на Невский.

Весь Крещатик обошел,

А проспекта не нашел.

Говорил он: “Бес попутал,

Города я перепутал”.

Стишки эти сопровождалась Шуриной карикатурой, на которой Сережа был изображен с таким растерянным выражением лица, что без смеха нельзя было смотреть.

Это не единственная эпиграмма, которую я написал. Их писал я много, да сейчас уже не помню. Одну, впрочем, помню:

Сочинитель Шура Тихонов,

За столом писал рассказик тихо он.

Но как только написал,

От восторга заплясал.

Здесь Шура нарисовал карикатуру, изобразив себя пляшущим вприсядку. Рот был растянут в улыбке до ушей, но сходство было почти портретное, что казалось особенно смешным. Нужно сказать, что у него был несомненный талант. Рисовал он легко, без какой бы то ни было подготовки, то есть без предварительного наброска карандашом, а сразу пером, и все выходило как бы само собой. Я тоже рисовал, но более мучительно, если так можно сказать, и в какой-то экспрессионистской манере, хотя о существовании такого направления в искусстве, как экспрессионизм, не подозревал и даже слова такого не знал. Мое рисование годилось только для иллюстрирования тех потрясающих сцен, которые описывались в моих тогдашних “романах”, где гигантский спрут хватает своими чудовищными щупальцами трехмачтовый фрегат и топит его со всеми людьми в морской пучине.

Кроме этого, с позволения сказать, романа, помню, была у меня еще история про маленького итальянца Джованни, похищенного гориллой у его родителей, путешествовавших по Африке.

Были там у меня и совсем фантастические истории, как, например, рассказ про подводных людей или повесть о человеке, который обладал способностью принимать облик других людей и, ловко выдавая себя за них, обдeldывал всякие свои делишки. Шура тоже неустанно снабжал журнал повествованиями вроде этих. Что же касается Сергея, то он отдавал предпочтение исторической тематике. Он любил читать романы из рыцарских времен. Наиболее любимым его писателем был Вальтер Скотт.

Любопытно, что наша тогдашняя бурная, героическая и трагическая действительность не находила никакого отображения в нашем “творчестве”. Это, должно быть, объяснялось тем, что в прочитанных нами книгах тоже не было изображения современности и мы считали, что для книги годится лишь что-нибудь экзотическое, экстравагантное, удаленное от нас по времени, постороннее, даже потусторонне, вроде Вия, Наутилуса, Человека-невидимки или Робура-Завоевателя. Необходимо к тому же учитывать, что война вблизи не выглядит такой романтической, как изображенная спустя время в занимательной, сюжетной форме, когда мы комфортабельно читаем о ней или смотрим по телевидению, зная, что нам самим она ничем не грозит. Для нас война была прозой жизни. Отец часто бывал в отъезде, и случалось так, что надолго задерживался, оказавшись за постоянно перемещавшейся линией фронта. Это были дни тревожного ожидания. Нередко среди ночи на улице завязывалась перестрелка, трещали пулеметы, грохали взрывы гранат. Мы всей семьей в таких случаях ложились на пол (это когда жили на Борщаговской), ползком выбирались из дома и отсиживались в погребе, который находился напротив входа в нашу квартиру. Старуху соседку, жившую за стеной от нас, подстрелили в один из таких боев на улице. Долгое время она лежала с закрытым какой-то дерюжкой лицом у двери своей квартиры, вытянувшись поперек узкого прохода так, что попасть к себе домой мы могли, лишь перешагнув через ее труп. Время было зимнее. Учились мы во второй смене. Темнело рано. И весь день неизменно преследовала мысль, что придется, возвращаясь домой, прыгать в темноте через труп старухи. А мертвецов я ужасно боялся. Хоронить ее было некому, она была совсем одинокая. Наконец за нее взялись собаки. Только тогда ее похоронили. Кто, где и как – этого я уже не знаю. Впрочем, я мог бы порассказать истории и пострашней. Но в них нет ничего поучительного. Так что я уж помолчу лучше.

Все сочиняемое нами для “Журнала Икс” не являлось продуктом нашего собственного жизненного опыта, в силу чего и не представляло собой никакой литературной ценности. Мы и не

обольщались на этот счет. Ни один из нас не мечтал в будущем стать писателем, и мы изводили массу времени совершенно, так сказать, бескорыстно, не ставя перед собой задачи овладения писательским мастерством с целью использования этого мастерства впоследствии ради так называемого “куска хлеба”. Для нас эти занятия были простой игрой. Нам нужно было во что-то играть, вот мы и придумали себе такую игру, без всяких расчетов и поползновений на какой бы то ни было “кусочек”.

Думаю, что и мои занятия химией тоже в известной мере были игрой. Мы с Люстиком что-то познавали, делая свои опыты, но в то же время играли в химиков. Однако близилось время окончания школы. Пора было подумать о выборе жизненного пути. Кем быть? Куда идти? Для нас не было никаких сомнений в том, что идти надо в химики. Казалось, отними у нас надежду сделаться химиками, и мы на всю жизнь станем несчастными людьми, проклинаящими все на свете, и самих себя в том числе.

КОНЧАЛАСЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

В годы гражданской войны наиболее популярной личностью среди киевского населения был дурачок Вася. Свою популярность Вася завоевал тем, что круглый год, и летом и зимой, даже в самый лютый мороз, ходил без шапки и босиком. В сущности, он был помешанный, то есть душевнобольной. Хотя помешательство его было тихое, не представлявшее опасности для общества, Вася вел себя не особенно тихо. Опираясь на две клюки, которые держал в руках, он ковылял по улице на своих обмороженных, покрытых болячками ногах, сопровождаемый увязавшимися за ним ребятишками, и выкрикивал очередную сенсацию, укладывавшуюся обычно в короткую фразу, которую он непрестанно повторял:

“А Деникин наступает! А Деникин наступает!..”

Или:

“А Петлюра наступает! А Петлюра наступает!..”

И так далее, в этом же роде.

Неизвестно, на чем основывались эти широковещательные прорицания полоумного Васи – на какой-либо осведомленности или на распространявшихся среди населения слухах, – известно только, что они иногда сбывались, хотя при частой смене властей в ту пору это легко можно было объяснить совпадением.

В общем, так или иначе, даже в периоды относительного затишья в военных действиях, Вася служил постоянным напоминанием, что живем мы в беспокойное время и всегда можно ожидать какого-нибудь наступления...

Кончалась гражданская война.

Постепенно возвращались в города разбежавшиеся по деревням горожане.

Возвращались и учителя в школы.

И порядка в школе становилось больше.

И все больше спроса было с учеников.

И я увидел, что вовремя взялся за ум. Ко мне предъявляли больше требований. Но и я сам предъявлял больше требований к себе.

Я не рассказал, что сейчас же после революции наша частная гимназия перешла в государственную собственность и уже не называлась Стельмашенковской, а просто девятой гимназией. Всего до революции в Киеве было восемь государственных гимназий, и все они назывались по номерам: от первой по восьмую, а теперь к ним присоединилась еще и девятая. А потом, когда была образована единая трудовая школа, наша гимназия, как и все остальные, была переименована в трудовую школу-семилетку, номер сейчас уже не помню какой.

Теперь часто приходилось слышать, что нашим ребятам трудней учиться, чем прежним. Это не совсем так. В дореволюционной гимназии, помимо обязательных немецкого и французского языков, изучались еще церковнославянский, древнегреческий и латинский

(то есть древнеримский) языки. Изучать эти так называемые мертвые языки было дело муторное, так как ни на минуту не оставляла мысль, что ни к чему учить языки, на которых говорили тысячу или две тысячи лет назад, а теперь уже никто и не говорит нигде. Многие не выдерживали постоянной зубрежки и уходили из гимназии, или их исключали за неуспеваемость. Русское правописание тогда было гораздо сложнее теперешнего. Звук “е” обозначался тогда не только буквой “е”, но еще и буквой “ять”, которая писалась на манер твердого знака с палочкой впереди, но произносилась в точности так же, как буква “е”. И вот в одних словах нужно было писать “е”, а в других почему-то “ять”. И не было никакого правила, по которому можно было бы определить, какую букву нужно писать: “е” или “ять”. Слова, в которых писалась буква “ять”, нужно было просто запомнить, а их было столько же или почти столько, как и тех, в которых писалась буква “е”. Таким образом, в памяти надо было держать чуть ли не весь словарь. Вместо одной буквы “и” тоже было две, даже три, то есть “и” простое, как пишут теперь; кроме него, было “и с точкой”, как в немецком или французском языках, и еще буква “ижица”, похожая на перевернутую вверх ногами букву “л”. Кроме буквы “ф”, была еще “фита”. Произносилась она точно так же, как “ф”, но в некоторых словах почему-то нужно было писать “фиту”. И еще в конце каждого слова, кончавшегося твердой согласной, нужно было писать твердый знак.

Со всеми этими грамматическими излишествами покончила только революция. Советская власть сразу же отменила и букву “ять”, и “и с точкой”, и “фиту”, и “ижицу”, и твердый знак в конце слов. Многие грамматические правила были упрощены. Изучение церковнославянского языка, так же как древнегреческого и латинского, было отменено. Закон божий тоже был отменен. То есть упразднены были предметы, требовавшие не понимания, а одной лишь зубрежки, и в этом было огромное облегчение. Правда, тому, кто уж очень разленился или слишком отстал, все равно было трудно, но все-таки, как говорится, жить было можно. Как вспомнишь, бывало, что теперь уже не нужно ломать

голову, какую букву писать, “е” или “ять”, так сразу на душе становилось легче.

Я не рассказал также, что, пока длилась война империалистическая, а потом гражданская, продукты и вообще все товары дорожали и дорожали. Разные торгаши, лавочники, спекулянты пользовались тем, что товаров было мало, и все время поднимали цены на них. Дошло до того, что коробка спичек, которая стоила копейку, стала продаваться за рубль, а потом и за сто рублей, а потом и за тысячу. Тысяча рублей была в те времена самая мелкая монета или, вернее сказать, самая мелкая купюра, и называлась она уже не “тысяча рублей”, а просто “кусок”. Если предмет стоил десять тысяч рублей, то говорили, что он стоит десять “кусков”, а если стоил сто тысяч рублей, говорили – сто “кусков”. Счет на “куски” держался, однако, недолго, так как цены росли с бешеной скоростью, и вместо тысяч рублей в ход пошли миллионы, которые называли “лимонами” для легкости, так сказать, произношения. Уже такие “мелкие” купюры, как тысяча рублей, и употреблять было нельзя, поскольку, чтобы уплатить за коробку спичек, скажем, миллион, потребовалась бы тысяча бумажек по тысяче рублей (каждый знает, что миллион – это тысяча тысяч). Отсчитать тысячу бумажек по тысяче рублей и не сбиться со счета было не такое простое дело. Эти бумажки не уместились бы ни в кошельке, ни в бумажнике, а разве что в саквояже или в мешке. Поэтому тысячерублевые бумажки просто вышли из употребления, как до этого перестали употреблять бумажки достоинством в рубль, десятку или сотню рублей. Теперь самая мелкая денежная бумажка стала миллион, по ценности равная чему-то вроде теперешней копейки.

Эти вышедшие из употребления денежные знаки, выпущенные разными правительствами, мы, то есть тогдашние мальчишки, собирали в виде коллекций, на манер того, как теперешние ребята собирают почтовые марки. Цены между тем продолжали расти, счет уже доходил до миллиардов, но в это время Советская власть уже отбила все нападения разных

белогвардейских генералов с иностранными интервентами и приступила к мирному строительству.

Начали с того, что выпустили новые деньги, уже не в виде миллионов рублей, а в виде обычных рублей с копейками, и устроили государственные, кооперативные магазины, где все товары продавались по так называемым твердым, установленным государством ценам. Теперь уже частные торговцы, то есть лавочники и разные спекулянты, не могли взвинчивать цены, то есть брать за товары дороже, чем они стоили, так как каждый мог купить, что ему нужно, в государственном магазине по дешевой цене. Торговать в собственной лавочке частным торговцам становилось не так уж выгодно. Один за другим они закрывали свои магазины и поступали куда-нибудь на работу. Дядя Володя, у которого я когда-то сидел в угольном погребе, тоже закрыл свою лавочку и поступил продавцом в бакалейный магазин. Торговать углем он бросил еще раньше, так как сидеть у него в погребе я мог только летом, во время каникул, когда спрос на уголь не так уж велик. Зимой же, когда было самое время продавать уголь, я должен был учиться и не мог по целым дням пропадать в погребе.

Хлебные и вообще всякие продовольственные карточки были в то время отменены, и никаких продуктовых пайков уже не выдавали, так как за деньги тогда все можно было купить. За концерты артистам хорошо платили. Квартет “сибирских бродяг” постоянно имел работу, так что нужды нам не приходилось терпеть.

ЦИРК

Однажды отец не мог заехать перед концертом домой за баяном и велел нам с братом притащить баян к началу представления в театр “Мулен-Руж”. Баян в плотном деревянном футляре – штука тяжелая. Чтобы нам было легче, отец придумал просунуть сквозь ручку футляра палку от половой щетки. Мы с братом должны были положить концы палки на плечи так, чтоб баян висел посередине. Попробовав, мы убедились, что получилось действительно не тяжело. Баян можно было тащить по улицам, подобно тому как

туземцы Центральной Африки носят убитых на охоте косуль. Такую картинку мы видели в учебнике географии.

Однако то, что казалось легким вначале, на самом деле оказалось не таким уж легким. Палка от половой щетки врезалась в плечи. Мы то и дело останавливались, чтоб переменить плечо, но баян все же доставили в театр вовремя, за что были вознаграждены возможностью посмотреть представление. С тех пор мы уже чуть ли не ежедневно таскали баян то в один театр, то в другой и каждый раз смотрели представление. Нас ничуть не смущало то обстоятельство, что приходилось по несколько раз смотреть одну и ту же программу. Во-первых, смотреть хоть что-нибудь было лучше, чем ничего не смотреть; во-вторых, были такие номера, которые не надоедало смотреть по несколько раз; в-третьих, некоторые номера иногда заменялись другими из-за болезни артистов, что являлось для нас, как говорится, приятным сюрпризом.

Конечно, мы были рады, когда выступления квартета кончались в одном театре и начинались в другом. Здесь уж наверняка можно было увидеть что-нибудь новенькое. Но иногда наступали так называемые черные дни, когда у отца не было выступлений, и нам поневоле приходилось коротать время дома. Поскольку мы уже были отравлены театральным ядом, то такое бесхитростное времяпрепровождение действовало на нас прямо-таки убийственно, и мой хитроумный братец придумал такую вещь.

– Давай вечером возьмем баян, отнесем в “Мулен-Руж” и посмотрим представление, – сказал он.

– Так квартет же не выступает сегодня в “Мулен-Руж”, – ответил я.

– Ты дурак, – сказал брат. – Кто там знает, выступает квартет или не выступает. Билетерша увидит, что мы принесли баян, и пропустит нас.

– А вдруг она догадается, что мы обманываем?

– Ну, скажем – ошиблись: нам в “Ша-Нуар” нужно, а мы в “Мулен-Руж” пришли.

Чтоб не таскать каждый раз тяжелый баян на пятый этаж, мы обычно оставляли его внизу, в сарае. Вечером мы, не сказав никому ни слова, спустились в сарай, взяли баян и потащили его на палке прямехонько в “Мулен-Руж”. Билетерша, даже не глядя, пропустила нас. Мы оставили баян, как обычно, в примерной, а после представления унесли его как ни в чем не бывало домой, то есть в сарай.

На следующий день мой изобретательный брат сказал:

– Знаешь, мы с тобой дураки.

– Почему? – заинтересовался я.

– А ты не догадываешься?

– Нет, – признался я.

– Потому что ты дурак, вот и не догадываешься.

– Ну ладно, – согласился я, – я дурак, потому что не догадываюсь, почему мы с тобой дураки? Но почему мы все-таки дураки?

– Потому что, чтоб попасть в “Мулен-Руж” или в какой-нибудь другой театр, вовсе не нужно тащить туда тяжелый баян.

– Так без баяна же нас не пропустят, – ответил я.

– А мы вынем баян из футляра и принесем пустой футляр. Никто же не станет проверять, есть в футляре баян или нет.

Мысль была верная. В тот вечер мы так и сделали. Тащить на палке пустой футляр было куда легче, чем с тяжелым баяном, и все обошлось как нельзя лучше. С тех пор так у нас и пошло. Когда у отца было выступление, мы приносили футляр с баяном, а когда выступления не было, мы отправлялись в какой-нибудь театр или концертный зал с пустым футляром. Все билетерши и

швейцары нас уже знали и пропускали беспрепятственно, независимо от того, выступал в тот день квартет или не выступал. Наши заботы сводились к тому, чтобы не притащить как-нибудь по ошибке баян, когда выступления не было, или не явиться вдруг с пустым футляром, когда выступление будет.

И все же в один, как говорится, прекрасный, а вернее было бы сказать, в один несчастный день случилась осечка. И довольно крупная.

Незадолго до этого квартет “сибирских бродяг” в течение двух недель выступал в цирке (цирк тогда не особенно заботился о так называемой чистоте циркового жанра). За эти две недели мы с братом настолько пристрастились к цирковым представлениям, что уже не мыслили себе жизни без них. Как только выпадал вечер, когда у отца выступления не было, мы брали пустой футляр и тащили в цирк. Там, как обычно, мы оставляли футляр в гримерной, а сами скорехонько поднимались по боковой лестнице в бельэтаж, откуда нам разрешалось смотреть представление. Спешили мы главным образом, чтоб не попадаться на глаза клоунам Донато и Жакони, которые любили выкидывать разные шуточки.

Когда мы впервые увидели их в гримерной, Донато сказал, что у него пропало яйцо, которое снесла дрессированная курица. А Жакони сказал, что это мы с братом взяли. Мы стали уверять, что никакого яйца не брали, но Донато сунул руку брату в карман, достал яйцо и, погрозив пальцем, сказал, чтоб он больше не делал так. Брат покраснел от смущения, и мы поскорей от них удрали. Вообще-то они были очень смешные, если смотреть издали, но вблизи казались страшными. Оба в широченных штанах, длиннющих, до колен, пиджаках, огромнейших штиблетах, раза в два больше, чем надо. У Жакони был парик с огненно-рыжими волосами и огромнейшей, во всю голову, розовой лысиной, огромный красный нос и румяные щеки. У Донато, наоборот, все лицо было серое, словно вытесанное из камня, а на голове такая же серая арестантская шапочка. Он никогда не смеялся и не улыбался, даже когда попадал в очень смешные положения, и это

как раз почему-то особенно смешило зрителей. Каждый раз, когда он видел нас с братом, он доставал из кармана яйцо, совал в рот и делал вид, что проглатывает его целиком, после чего доставал яйцо из собственного уха. Несмотря на эти заигрывания, мы старались держаться от него подальше и убегали. А он, видимо, забавлялся тем, что мы побаиваемся его, и не оставлял своих шуток.

Тогдашний цирк отличался от теперешнего тем, что после обычного циркового представления в трех отделениях на арене устраивался чемпионат по французской борьбе, на которую публика тех времен смотрела, как теперь смотрят на футбольные или хоккейные состязания. Если же борьбы не было, то после обычной программы давалась длинная цирковая пантомима. Как раз в те дни шла пантомима с огромной гориллой, которую охотники поймали в Африке, привезли в город и продали какому-то богачу. И вот эта горилла вырвалась из клетки, похитила дочь-красавицу богача и удрала с ней. Убитый горем богач назначает огромное вознаграждение тому, кто поймает гориллу и вернет ему дочь. В то время в цирке на Николаевской улице (его разрушила бомба во вторую мировую войну) напротив оркестровой площадки была небольшая сцена, на которой, меня декорации, можно было показывать и дом богача, и африканские джунгли, и вообще все, что потребуется. Горилла, таким образом, могла метаться и по арене, и по сцене, и по оркестровой площадке и лазить под куполом цирка по натянутым тросам, качаться на трапециях с девушкой в руках, которая поминутно падала от страха в обморок. Охотники гонялись за гориллой с ружьями, но стрелять опасались, так как убитая или раненая горилла могла выпустить свою жертву из рук и несчастная девчонка убилась бы, свалившись сверху.

Обычно французская борьба или пантомима кончались чуть ли не за полночь, и мы возвращались домой, еле держась на ногах от усталости. В тот вечер, о котором я рассказываю, футляр на палке, когда мы тащили его домой из цирка, показался мне непривычно тяжелым, о чем я и сказал брату.

– Мы дураки, – сказал брат. – Это не футляр тяжелый, а баян тяжелый. Мы забыли вынуть баян.

– Почему же мы не заметили, когда несли баян в цирк? – удивился я.

– Потому что спешили и не были такие уставшие, – объяснил брат. – А сейчас мы уставшие, и баян даже кажется тяжелее обычного.

На другой день отец сказал, чтоб мы принесли к вечеру баян в театр “Пиколе”. Вечером мы, как всегда, спустились вниз, схватили баян (а он так и стоял в сарае с палкой, просунутой сквозь ручку футляра, как мы оставили накануне) и потащили в “Пиколе”. Когда мы явились, весь квартет уже был в сборе. Отец тут же открыл футляр, растерянно заморгал глазами и недоуменно спросил:

– Что это такое?

Брат заглянул в футляр и от удивления разинул рот.

– Что это, я спрашиваю? – строго повторил отец.

– Э-это Донато... и Жакони, – запинаясь, пробормотал брат и еще зачем-то добавил: – Я уверен!

– Какие еще Донато и Жакони? – закричал в негодовании отец. – Я же вижу, что это кирпичи!

Я заглянул в футляр. Там действительно вместо баяна лежало полдюжину самых простых кирпичей.

– Где баян? – продолжал бушевать отец.

– Ну, там, наверно, – развел брат руками.

– Где – там?

– Ну, в сарае...

Отец выскочил за дверь, но тут же вернулся.

– Ключ! – сказал он.

– Какой ключ? – не понял брат.

– Ну, ключ от сарая, растяпа!

Брат достал из кармана ключ.

– Николай Петрович, возьмите извозчика, – посоветовал отцу Александр Николаевич, который пел в квартете басом.

– Ну разумеется! Не бегом же я побегу! – с раздражением отвечал отец, выскакивая за дверь.

Оставшиеся члены квартета собрались вокруг футляра с кирпичами.

– Ну, рассказывайте, как же все получилось? – спросил кто-то из них.

– Это Донато и Жакони, – начал брат.

– Ну ты же видишь, что это кирпичи, а никакие не Донато и Жакони, – сказал баритон Галковский, которого мы звали просто дядя Вася.

– Честное слово, дядя Вася, это Донато и Жакони. Я уверен...

Дядя Вася приложил руку брату ко лбу, чтоб узнать, нет ли у него жара.

– Честное слово, это Донато и Жакони. Это они положили. Я уверен, – продолжал брат.

– Так Донато и Жакони в цирке, а мы с тобой где? – возразил Галковский.

– Так мы же вчера-то ведь были в цирке, – пытался объяснить брат.

– Ну, вы были в цирке, а кирпичи-то как попали в футляр? – недоумевал Галковский.

– И футляр был в цирке.

– Как же он в цирк-то попал?

– Ну, мы всегда так делаем...

– Всегда так делаете? Как же это?

– Ну, всегда так делаем: берем пустой футляр...

Наконец брату удалось объяснить, как мы путешествуем по концертам с пустым футляром.

Самый строгий и сердитый человек во всем квартете был бас Александр Николаевич. До того как начать петь в квартете, он был учителем пения в школе. Ему постоянно что-нибудь не нравилось. Он всегда был чем-нибудь недоволен, вечно хмурился и сердито кричал. Но эта история почему-то насмешила его больше, чем всех остальных.

– Так вы, значит, всегда так делаете? – повторял он и заливался громким смехом.

Наконец он сказал:

– Ну, вы, братцы, бегите в зал, а то прозеваеете представление. А я поговорю с аккомпаниаторшей. Может быть, нам придется под рояль выступать. Еще неизвестно, найдет ли отец баян в сарае. Может быть, он и не в сарае вовсе, а в цирке... Представление смотрит.

– Может быть, на нем в цирке Донато и Жакони играют! – крикнул вслед нам Галковский.

Мы разыскали в зале в последнем ряду свободное местечко и сидели как на иголках до тех пор, пока на сцене не появился квартет “сибирских бродяг”. Увидев у отца в руках баян, мы с облегчением вздохнули. Значит, баян все же оставался в сарае.

Подозрение брата, что над нами подшутили Донато и Жакони, было не лишено основания. Они, должно быть, заметили, что мы появляемся со своей ношей в те дни, когда выступлений квартета не было. Заглянув в футляр и не обнаружив в нем баяна, они поняли нашу уловку и решили нас проучить. Я даже убежден, что именно так и было, потому что заметил, как они оба смотрели на нас с улыбкой, когда мы уносили футляр, наполненный кирпичами. Улыбался даже Донато. Это был первый раз, когда я видел у него на лице улыбку. И, кстати сказать, последний. В цирк после этого случая мы не скоро попали. Отец строго-настрого запретил нам трогать баян, и наши вылазки на разные представления резко сократились. К тому же наступил сентябрь. Надо было нажать на учение, тем более что это был уже последний год нашего пребывания в школе.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Что сказать мне, прощаясь со школой? Конечно же, я очень изменился за время пребывания в ней. Кстати сказать, изменилась и сама школа. Старая гимназия уж очень отпугивала казенщиной. Я, вырванный с корнями из вечно живого, движущегося, дышащего, волнующегося, многомерного, кудрявого мира трав, цветов, деревьев, кузнечиков и всяческой живности и пересаженный в трехмерное Эвклидово пространство, ограниченное ровными, пересекающимися под прямыми углами геометрическими плоскостями стен гимназических классов и коридоров, чувствовал себя неуютно. Форменная куртка стесняла движения и давила горло. Гимназическая, словно одревеневшая фуражка с клеенчатой подкладкой давила лоб, мешая думать, и, в общем-то, держалась на голове плохо, к тому же постоянно за что-нибудь цеплялась. В классе все время приходилось испытывать страх, что тебя спросят о том, о чем ты никакого представления не имеешь, к тому же нужно было сидеть, словно в тисках, за партой, в то время как организм требовал движений. В коридоре во время перемены можно было попасться на глаза инспектору, который, глядя на тебя сквозь очки, словно на какое-то ничтожное насекомое, мог сделать выговор за то, что давно не стригся, и велеть завтра же пойти в парикмахерскую.

Учителя держались с учениками строго, вроде как надсмотрщики с арестантами. Наверно, считалось, что если быть с нами добрей, то мы, как говорилось, сядем на голову и с нами не будет сладу. Страшнее всех был учитель математики Леонид Данилович. Он одевался в какой-то полувоенный мундир со стоячим воротником, синие брюки с красными лампасами и был похож на царя Николая Первого, портрет которого печатался на двухкопеечной почтовой марке: такие же аккуратно подстриженные усики, строгий, непреклонный взгляд несколько выпученных стоячих глаз и гордо посаженная голова. Он часто опаздывал на урок. Расшалившиеся ребята поднимали шум. Но чуть только он входил в класс своим быстрым, решительным шагом, моментально наступала могильная тишина. Если при этом было известно, что предстоит письменная работа, у меня перехватывало дыхание и начинал болеть живот.

Однажды после звонка учителя долго не было. Ребята развлекались как кто мог. Я с кем-то из друзей заигрался в пятнашки. Мой партнер, спасаясь от меня бегством, ловко проскользнул между рядами парт и выскочил в коридор. Выскакивая вслед за ним, я столкнулся в дверях с входившим учителем, врезавшись головой прямо ему в живот. От испуга во мне все замерло и похолодело.

“Ну, все! Пропал! – пронеслось у меня в голове. – Я уже исключен из гимназии!”

Петр Эдуардович (а это был он) спокойно взял меня за руки чуть повыше локтей, приподнял кверху и отставил в сторону, словно какой-нибудь мешавший ему предмет, после чего зашагал к столу в своей развевающейся д’артаньяновской крылатке. Не помню уж, как я сел за парту и затаив дыхание следил за Петром Эдуардовичем, который как ни в чем не бывало начал урок. Только после того как урок кончился и Петр Эдуардович ушел, до моего сознания начало доходить, что вся эта история останется без каких-либо зловредных последствий для меня. И тогда в мою голову закралось подозрение, что Петр Эдуардович просто добрый человек. Иного объяснения я не находил, потому что другой на

его месте не упустил бы представившейся возможности хотя бы накричать на меня и напомнить, что раз звонок был, то все должны сидеть на местах, а не носиться по классу как угорелые.

Моя гипотеза нашла подтверждение в конце года, когда на одном из уроков Петр Эдуардович сказал, что должен опросить всех, так как учебная четверть кончается, а отметки не выставлены. Давно прозвенел звонок. За окнами было темно (мы учились во вторую смену). Поскольку урок был последний, Петр Эдуардович спрошенного ученика отпускал домой. Класс постепенно пустел. Наконец остался лишь один ученик, сидевший на предпоследней парте в крайнем ряду. Петр Эдуардович почему-то его не спрашивал. Он продолжал сидеть за столом перед раскрытым журналом и о чем-то задумался. Должно быть, спешить ему было некуда. Дома, вероятно, его никто не ждал. Вот он и задумался неизвестно о чем. Потом встал, закрыл журнал, сунул его под мышку, словно собрался совсем уходить, но вдруг взглянул в сторону оставшегося ученика и сказал удивленно:

– Слушай, а тебя-то ведь я не спросил! Ты так тихонько сидел, что я тебя и не заметил. Как же это случилось, а?

Я (а этот ученик был именно я) только руками развел, словно разделяя его недоумение. Но, сказать по правде, я-то знал, что он не заметил меня потому, что я нарочно сидел тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. В какой-то книжке я прочитал, что глаз животных устроен так, что легко замечает движущиеся предметы, и что если в лесу, к примеру, сидеть тихо, не шевелясь, то животные и птицы будут подходить и подлетать к тебе близко, словно принимая за какой-нибудь неживой предмет, и их хорошо можно будет разглядеть. Я предполагал, что и человеческий глаз в какой-то степени обладает свойством скорее различать движущиеся предметы, и поэтому старался сидеть неподвижно, чтоб не привлекать к себе внимание учителя. Чем меньше становилось учеников в классе, тем неподвижнее делался я, а под конец словно вовсе одеревенел и сросся с партой. Эксперимент мой, в общем, оказался удачным. Подивившись такому казусу, Петр Эдуардович раскрыл журнал и поставил мне какую-то

отметку, не задав ни одного вопроса.

– Ну, иди домой. Мы и так засиделись с тобой тут, – сказал он с какой-то непонятной и неожиданной для меня лаской в голосе.

И я пошел домой. И по дороге все думал об этом случае, постепенно приходя к умозаключению, что учителя такие же люди, как и мы с вами, а некоторые из них бывают даже добрые и способные по-человечески отнестись к своему ближнему, даже если этот ближний – простой мальчишка. Спасибо ему. Я, правду сказать, писал тогда уже грамотно, потому что много читал. Читая же, попросту запоминал, как пишется каждое слово, а вот что у глаголов имеются какие-то залоги, действительный там или страдательный, а местоимения бывают возвратные, притяжательные, указательные, – в этом разбирался не шибко, и, спроси меня Петр Эдуардович, я бы, наверно, ответил на двойку.

Как выяснилось со временем, Владимир Александрович тоже оказался человеком добрым, добродушным и даже веселым. Когда мы стали постарше, он даже любил пошутить с нами. Так, вызывая ученика к доске, он говорил, к примеру:

“Ну-с... – И тут же добавлял: – Хотя “нус” по-немецки “орех”, а по-русски это значит: “Ну-с, молодой человек, что нам на сегодня задано?”

В такой шутливой манере он разговаривал с нами, а если приходилось к случаю, то мог даже рассказать анекдот. Услышав однажды от кого-то из учеников нелепейший ответ, он рассказал анекдот, как один маленький мальчик увидел огромный артиллерийский снаряд, размером в человеческий рост, и сказал: “Вот такая штука если попадет тебе в голову, то навеки будешь калека”. Не помню уже, к чему этот анекдот был рассказан, но было очень смешно.

В общем, у каждого из учителей был свой характер, в соответствии с которым он себя вел. Попадались среди них люди раздражительные, нетерпеливые, любившие поворчать и даже прикрикнуть на ученика, были и просто строгие, недоступно-

холодные (обычно математики), а были и слабохарактерные, безвольные, хныкающие от природы, вроде преподавателя ботаники Григория Тимофеевича Протоплазмы. Протоплазма – это была не фамилия его, а прозвище. Объясняя нам строение клетки, он, естественно, рассказал и о протоплазме, ребята же, услышав это новое для себя слово, тут же подхватили его и уже иначе как Протоплазмой Григория Тимофеевича не называли (за глаза, конечно). На уроках у него всегда было шумно. Ребята обычно чувствуют, когда можно безнаказанно пошуметь. А Григорий Тимофеевич расстраивался, говорил, что бросит нас, уедет в деревню и не будет больше нас учить, воображая, должно быть, что мы так-таки возьмем и заплачем, если он вздумает от нас уйти.

Постепенно мы, то есть и учителя и ученики, все больше узнавали друг друга. А даже знание недостатков человека в какой-то степени примиряет нас с ним, делает его как-то ближе, понятнее. Ведь пугает именно непонятное, неизвестное, тайное. Таким образом, мы привыкали друг к другу. Постепенно привыкал я и к самим школьным стенам. Гимназическая форма на мне пообносилась, пообмякла и стала привычнее. По примеру других гимназистов, я вытащил из фуражки распирившую ее изнутри пружину, в результате чего она стала удобнее для ношения и более обтекаемая на вид. После революции гимназическую форму вообще отменили. В годы гражданской войны каждый носил что хотел, или, вернее сказать, что имел. Все стало как-то проще, вольнее, или, выражаясь научно, демократичнее.

Главное же – отменили двойки. То есть отменили вообще все отметки – и двойки, и единицы, и тройки, и четверки с пятерками. Отметки считались чем-то вроде неравноправия. Если ученик знал урок, то писали в журнал или в тетрадь: “успевает” или “удовлетворительно”, а сокращенно – “уд”. Если не знал, писали “не успевает”, “неудовлетворительно” или “неуд”. Вскорости учителям и самим не понравились эти “уды” и “неуды”. Было несправедливо писать “уд” или “успевает” и тому, кто действительно хорошо выучил урок, и тому, кто не то выучил, не

то недовыучил, не то совсем не учил, а ответил так, что трудно даже придумать, что ему лучше поставить – “уд” или “неуд”. Постепенно учителя стали придумывать всякие уловки и писали одному: “успевает”, а другому: “хорошо успевает”, третьему: “посредственно успевает”, четвертому: “плохо успевает”. То есть ученик не то чтобы совсем “не успевает”. Он успевает, но не так хорошо, как надо бы, то есть не то чтобы на все сто процентов ничего не знает, кое-что он знает, но, как говорится, “плавает” и даже довольно-таки сильно “плавает”, вот-вот ко дну пойдет.

Это было время, когда я уже взялся за ум, и до сих пор помню, как меня обрадовала оценка, выставленная в тетради, вот только уже не помню, по какому предмету. А оценка была такая: “Вполне успевает”. Не знаю, какой отметке по теперешнему счету соответствовало это “вполне успевает”, – может быть, тройке с плюсом, может быть, даже четверке, возможно, даже пятерке. Это была импровизированная оценка, которой учитель хотел показать свое безразличие к тому, как учится ученик, и как-то хотел отметить, что ученик успевает не просто, а полностью, так что лучшего и желать нечего. На меня слово “вполне” в этой оценке действовало как-то больше, чем само “успевает”. Оно свидетельствовало, что я вполне, так сказать полностью, полноценно наполнен знанием. И я несколько дней подряд после того ходил с сознанием какой-то такой наполненности и то и дело мысленно произносил про себя: “Вполне!” Думаю, что такое чванство с моей стороны было вполне извинительно, поскольку я вовсе не был до того избалован хорошими отметками.

Братец мой в то время уже серьезно занялся живописью. У него завелся приятель Толя Буськов. Они оба отрастили себе длинные волосы до плеч, как у настоящих художников, оба носили какие-то несуразно длинные блузы, чуть ли не до колен, вроде бывших тогда в моде толстовок, но без поясков (тоже как у настоящих художников). Каждый смастерил себе из фанеры этюдник, то есть большой плоский ящик, в котором помещались кисти и краски с огромной четырехугольной палитрой. На крышке такого этюдника с

внутренней стороны прикреплялся кнопками кусок грунтованного холста, на котором можно было рисовать масляными красками. С этими этюдниками они ходили куда-нибудь в лес, на реку или в поле и рисовали пейзажи, как настоящие художники. Это называлось у них – ходить на этюды.

За лето брат увешал этими этюдами все стены дома и очень гордился своей работой. Видя, что я засиживаюсь за учебником алгебры, он посмеивался надо мной и говорил:

– Алгебра чепуха! Алгебру каждый дурак может выучить, а картину написать – талант нужен.

– Если алгебра чепуха, то возьми вот реши задачку, – предлагал ему я.

– А я не дурак, чтоб задачи решать. А ты если дурак, то сиди и решай.

Положение, однако, переменилось, когда начался учебный год. Брат уже не говорил, что алгебра чепуха, а терпеливо (а иногда и не очень терпеливо) сидел и ждал, когда я решу задачу, чтобы тут же переписать решение себе в тетрадь. Он и его друг собирались поступить в художественную профшколу, из которой открывался путь в художественный институт, но для этого надо было сначала окончить семилетку. Таким образом, без алгебры никак нельзя было обойтись. Овладевать же этой сухой, ненавистой для него наукой он не хотел, так как внушил себе мысль, что тот, кто способен к рисованию, не способен к математике, к тому же математика ему не понадобится в жизни, поскольку он уже решил стать художником. Растолковать задачу ему было нельзя, так как у него не было никакой подготовки. С ним нужно было бы позаниматься, чтоб наверстать упущенное, и таким образом подготовить его к пониманию материала, который проходили в классе. Но заниматься чем-то сверх того, что было задано на уроке, он решительно не хотел. Мне было ясно, что нельзя научить того, кто не хочет учиться, и я со спокойной совестью давал ему списывать, а на уроках подсказывал.

У нас была хорошо продуманная система подсказки. В какой-то книжке я нашел азбуку для глухонемых, в которой буквы обозначались различным положением пальцев правой руки. Запомнить эту азбуку не представляло почти никакого труда, так как многие буквы, изображаемые с помощью пальцев, напоминали обычные печатные или рукописные буквы. Так, например, сложенные средний и указательный пальцы обозначали букву “п”. Эти же пальцы растопыренные обозначали букву “л”. Три опущенных пальца обозначали “т”, а повернутые кверху, они обозначали “ш”. Буква “а” обозначалась пальцами, сжатыми в кулак. Буква “о” – большим и указательным пальцами, сжатыми в виде колечка, и так далее.

Вначале мы, как говорится, скуки ради тренировались по дороге в школу, разговаривая между собой на улице с помощью пальцев, словно два глухонемых. Уже после первых же опытов, когда брата вызывали к доске, я мог просигнализировать ему любой ответ или решение задачи с такой скоростью, с какой он мог записывать на доске. Способ оказался настолько результативным, что нам все сходило с рук, и занятия шли вполне “успешно”.

О школе у меня осталось воспоминание не как о каком-то убогом геометрическом пространстве, за которое я принял ее на первых порах, тем более что и школа не оставалась на одном месте. Вскоре после революции здание бывшей Стельмашенковской частной гимназии было передано вновь образовавшейся польской гимназии, где обучение велось на польском языке. Нас, ставших “бездомными”, перевели в помещение на Лютеранской улице, а через год или два – в здание бывшей Второй гимназии, находившееся рядом с величественными древними стенами Десятинной церкви, которая, как известно, была построена еще в X столетии князем Владимиром, отдавшим на ее сооружение десятую часть своих доходов (поэтому церковь и называлась Десятинной). Напротив здания школы стоял красивейший памятник княгине Ольге, жене князя Игоря. Этот памятник, высеченный из белого известняка, был настолько изъеден временем, что, казалось, изображал не княгиню Ольгу, а саму Историю.

Неподалеку был Софийский собор, построенный князем Ярославом Мудрым на месте одержанной им победы над печенегами. В общем, куда ни ступи, места были самые что ни на есть исторические. Доставляло удовольствие пробежаться по земле, по которой, без сомнения, ходили когда-то и Игорь, и Ольга, и Владимир, и Ярослав Мудрый, а до них даже сам вещий Олег. Невольно думалось: раньше князья ходили, разные феодалы, а теперь я хожу – обыкновенный советский школьник. Это вам не фунт изюму, как любили тогда говорить в Киеве (и, наверное, в Одессе).

Несмотря на скитания по разным местам и различные переформирования, наш школьный коллектив крепко держался вместе; никто не разъединял учеников, не рассортировывал по другим школам и классам по принципу совместного или отдельного обучения или по географическому признаку, то есть по месту жительства. Учителя в основном тоже оставались все те же, гимназические. И это, как мне кажется, хорошо, потому что люди, объединившиеся с какой-то общей целью, представляют собой нечто живое, целое, и всегда хочется, чтобы живое жило, а целое оставалось целым. Это живое так и осталось в моей памяти живым. Воспоминание о нем – это воспоминание о Времени, об Эпохе, о Революции, о Будущем, которым жили наши сердца.

Часть вторая

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

Ну и вот: отгремели громы гражданской войны и стали понемногу забываться все эти интервенты и оккупанты, монархисты и националисты, Деникин и Врангель, немцы, белополяки, гетманцы, голод, холод, грязь, нищета, вши, бандитизм, батька Махно, Петлюра, холера, испанка, тиф... Начался период мирного строительства. Нэп, то есть новая экономическая политика, которая должна была покончить с разрухой, причиненной стране войной.

В то время уже начали работать текстильные и обувные фабрики. Все постепенно сбросили с себя износившиеся шинелишки военного образца и громоздкие австрийские солдатские башмаки с

обмотками. Многим хотелось уже пофрантить, пофорсить. И уже появилось желание смотреть на что-нибудь красивое и изящное. И пропала уже охота смотреть на ту рваную, сермяжную одежонку, в которой выступал на эстраде квартет “сибирских бродяг”.

Но некоторым, возможно, уже попросту надоело слушать эти старые, всем известные песни про цепи и кандалы, про тюрьму и неволю, про железные решетки и каменные остроги. Все это осталось уже где-то в прошлом. Наступили новые времена, а, как говорится, новые времена – новые песни. В результате квартет все реже включался в программы концертов. Выступлений становилось все меньше и меньше. Начало одолевать безденежье, и надо было искать какой-то выход.

А выход виделся такой: уехать обратно в Ирпень. Ведь уехали из Ирпеня в Киев потому, что нам с братом надо было учиться. Теперь учение кончалось, и ничто не мешало возвратиться обратно. Правда, теперь у нас там не было дома. Оставался лишь небольшой участок земли. Но некто Кринёв, у которого в Ирпене была дача, предложил отцу жить в его доме. Сам он жить там почему-то не мог даже летом и боялся, что дом без присмотра растащат.

– В Ирпене будет легче, – говорил отец. – Там все свое будет. Огородик развести можно: будет своя картошечка, огурцы, помидоры, капуста...

– Можно кур завести, – говорила мать.

– Поросяточка можно выкормить, – продолжал отец. – На зиму свое сало будет.

– Хорошо бы козу купить, – предлагала мать.

– А со временем и свой домик построим, – подхватывал отец. – Не сразу, конечно, а понемножечку. Сначала – сарайчик...

Начиналась старая, уже всем знакомая песенка о том, что ничего сразу не делается, что все нужно начинать с маленького...

Признаюсь: Ирпень и меня манил своим привольем. Но мне хотелось учиться дальше. У меня была мечта стать химиком. Химия мне представлялась наукой наук. То есть такой наукой, которая дает познание природы всех вещей: что из чего делается, из чего состоит и откуда берется, в чем начало и причина мира, в котором мы с вами живем. Все это мне казалось очень важным для себя выяснить, а тут уж без высшего образования никак не обойтись, насколько я понимал.

Не знаю, как в других городах, но в Киеве в те времена школь десятилеток, дававших среднее образование, не было. Система образования была как бы трехступенчатая: сначала семилетка, потом профшкола, дававшая среднее образование и какую-нибудь узкую специальность, а потом уже вуз, то есть институт. Были еще так называемые рабфаки, созданные специально для взрослых рабочих, желавших подготовиться к поступлению в вуз. Студентам рабфаков выплачивали стипендию, но поступить туда могли лишь рабочие со стажем. Существовали еще вечерние рабшколы с той же трехгодичной программой, что и рабфаки, но стипендий там не давали, правда, и денег за обучение не брали, поступить же туда мог каждый желающий.

Вся эта система образования окончательно еще не устоялась в те годы. Так, например, художественная профшкола почему-то имелась в Киеве. Имелась также механическая профшкола, окончив которую можно было поступить в Политехнический институт.

А вот химической профшколы почему-то не было. Такая профшкола появилась года через два-три после того, как я окончил семилетку, то есть когда лично мне она уже была не нужна.

Мой двоюродный брат Шура, который окончил семилетку в один год со мной, решил поступить в землемерную профшколу. Вернее, за него решили родители. У его отца был знакомый землемер. Этот землемер убеждал всех, что лучшей профессии и не может быть. Во-первых, зарплата приличная. Во-вторых, на все лето нужно куда-нибудь выезжать, в результате чего к зарплате прибавляются всякого рода командировочные, суточные,

квартирные, подъемные, сверхурочные и еще даже не знаю что. Учиться всего два года, а в итоге – верный, обеспеченный кусок хлеба. Шура и мне советовал поступить в землемерную школу, но мне это не казалось заманчивым. Не то чтоб я имел что-нибудь против хорошего, обеспеченного куска хлеба. Нет! Против куска я никогда ничего не имел. Я тогда считал, и теперь считаю, что все мы должны работать ради того, чтоб обеспечить себя этим куском и не есть чужого куска. Даже если работа не по вкусу, на это роптать не следует. Работаем мы, в конце концов, не для удовольствия и не для разминки, а для того, чтоб прокормить себя, чтоб не сидеть на шее у общества или вообще на чьей-нибудь шее.

Некоторой части наших теперешних молодых людей мы как-то сумели внушить мысль, будто все, что бы они ни сделали, они делают не для себя, а для общества. И вот такой молодой человек, чуть только пошевелит пальцем, уже кричит: “Это я сделал для общества!” Но если такой молодой человек не имеет еще возможности приобрести личную (теперь почему-то стало принято говорить “личную”, а не “собственную”) автомашину, дачу, резиновую надувную лодку с мотором или еще что-нибудь, он уже кричит, что общество ему чего-то недодает, что общество виновато в том, что у него чего-то нет. Ход его мыслей ясен. Если все, что он делает, – это для общества, то и все, что делает общество, – это для него. А как же иначе?

Нет спору: конечно, лучше делать работу, которая тебе по душе, и, пока имеется возможность выбора профессии, надо эту возможность использовать. Я подумал: идти на два года в землемерную школу, изучать то, что мне не нравится, потом работать землемером, которым мне быть не хочется, и все из-за того, что у землемеров всяческие подъемные и командировочные и землемером можно сделаться быстрее, чем химиком? Нет! Пусть путь, избранный мной, более труден и долог, я не стану из-за этого расставаться со своей мечтой. А мечта моя – поступить на химический факультет Политехнического института.

И я решил: до того, как мне исполнится восемнадцать лет (а

раньше восемнадцати я не мог поступить в институт), у меня есть три года; эти три года я буду учиться в вечерней рабочей школе. Днем буду работать где придется, кем придется и сколько придется.

Только вот где найти работу? В то время еще существовал такой пережиток капитализма, как безработица. Многие заводы и фабрики были разрушены войной. Восстановительный период лишь начинался.

БЛИЖЕ К КОЛОДЦУ

Дом Кринева стоял на вершине бугра, каковой, насколько я разбираюсь в геологии, являлся частью дюны, протянувшейся вдоль левого берега реки Ирпень, или, точнее сказать, поймы этой реки. Местами дюна подходила вплотную к реке, как, например, там, где были пляж, лодочная пристань и каменная дана бывшего владельца дрожжевой фабрики богача Чоколова. В других местах дюна отступала от реки на значительное расстояние, должно быть, размываемая весенними паводками, затоплявшими пойму.

В тот геологический период, когда Кринев построил свой дом, дюна, надо полагать, окончательно закрепилась на месте, о чем свидетельствовал травяной покров, еще, правда, довольно редкий и состоявший в основном из зубровки, то есть сухой, жесткой травы с такими резучими, зазубренными краями, что о нее вполне свободно можно было порезать ноги (если, конечно, бегать по ней босиком). Только в нижней части криневской усадьбы, где начинались пойменные луга, разрослась небольшая рощица, состоявшая из берез, осин, ольх, верб и таких деревьев, которые в разных местах называются по-разному, здесь же они назывались лозой. Ну, и трава в этой лесистой части была поразнообразнее, погуще и посочней.

Дюну, о которой идет речь, разрезала как бы надвое железнодорожная линия, идущая, судя по табличкам с надписями на вагонах поездов, из Киева в города с какими-то птичьими названиями, например: Тетерев, Коростень и еще какая-то

Бородеянка, в которых я никогда в жизни не был.

При взгляде на дюну в том месте, где ее пересекало железнодорожное полотно, нетрудно было убедиться, что строители изрядно ее пораскопали и увезли немалую толику песка в то место, где он требовался для сооружения насыпи. Если стать на железнодорожное полотно в этом месте, то по одну сторону можно было увидеть песчаный обрыв, которым кончался бугор, и красовавшуюся на вершине этого бугра среди зелени кустов и деревьев импозантную двухэтажную чоколовскую дачу с островерхой красной чешуйчатой черепичной крышей и архитектурными излишествами в виде башенок, бельведерчиков, балкончиков и разного рода фестончиков. Если поглядеть с того же места в противоположную сторону, то можно было увидеть другой такой же песчаный обрыв, которым кончался бугор, увенчанный криневской дачей.

Нечего и говорить, что дача Кринева ни в какое сравнение с чоколовской дачей не шла. Как говорится, и труба пониже и дым пожиже. Это было заурядное одноэтажное строение дачного типа, обитое тесом, окрашенным теперь уже облупившейся и полинявшей краской, которая, по всей видимости, была когда-то зеленого цвета. Крыша была железная, темно-бурая, то есть того цвета, который давала наиболее употреблявшаяся для окраски крыш краска, называвшаяся железным суриком. А в общем, дом был не какая-нибудь развалина, а довольно крепенький. Три комнаты с кухней. В одну сторону выходили, как водится, сенцы с крылечком, в другую – открытая веранда. С этой веранды видна железная дорога с резвыми пассажирскими поездами и бесконечными, лениво ползущими товарными составами. Прямо, за железной дорогой, – все та же чоколовская дача с ее балконами и фестонами. Направо – возвышающийся над прибрежными ивами железнодорожный мост: чудесное сооружение, приковывавшее к себе внимание своими величественными, пересекавшимися по диагонали металлическими фермами. А налево...

Налево осенью и зимой, когда деревья теряют, как говорят поэты, зеленый свой убор и ветви становятся прозрачными,

сквозь них можно было увидеть по ту сторону железной дороги зеленую крышу нашего, вернее сказать – бывшего нашего, домика, который отец когда-то продал Елисееву. Теперь там у нас остался лишь участок земли со счастливым колодцем.

Да! Целая эпоха прошла с тех пор, и вот мы снова на прежнем месте. То есть почти на прежнем. Зато теперь у нас все свое будет: картошечка, огурчики, помидорчики, заведем козу, поросеночка, а там, глядишь, и свой домик построим... Не сразу, конечно, а постепенно. Все начинается с малого, как любит говорить отец.

Начинать, безусловно, нужно с картошки. Это общее мнение. Только где ее сажать? Конечно, не здесь, на песчаном криневском бугре, а на нашем участке. Там земля жирная, чернозем! Целина! Там только приложить руки – урожай будет ого! Вот только прикладывать руки пока вроде никто не собирается. Отец ежедневно с утра уезжает в Киев. Зарабатывать на жизнь надо ведь! Мать занята по хозяйству. Старший брат то ли не верит в чудодейственную силу земли, то ли занят своим рисованием. У него мечта стать художником, и ему теперь надо готовиться к поступлению в художественную профшколу. Я вижу, что прикладывать руки к земле надо мне. Больше никому!

Рано утречком я – лопату на плечо, беру малышей Ляльку и Бобку, то есть моих младших сестру Ларису и брата Бориса, и мы втроем отправляемся на наш участок.

По улицам мы, конечно, не ходим. Это было бы слишком долго. Просто перелезаем через железнодорожное полотно, проходим коротеньким безымянным переулком – и сразу у цели.

Великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев в своем романе “Новь” написал: “Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом”.

И он, без сомнения, прав. Поднимать новь или, как ее теперь называют, целину лучше всего плугом. Но для этого прежде всего надо иметь этот самый плуг, а к нему неплохо бы еще и лошадь

(тракторов в те времена у нас вообще не существовало). Поэтому техника обработки земли у нас такая. Сильными ударами лопаты сверху вниз (словно ломом) я вырубая в поросшей густой травой земле четырехугольный кусок дерна, а Лялька и Бобка по моей команде бросаются на этот кусок, как на зверя, хватают его в четыре руки и переворачивают кверху лапами, то есть, прошу прощения, кверху корнями. Сделав это, они тут же отскакивают в сторону, а я наношу лопатой этому куску несколько сильных ударов, чтоб рассечь его на части. Затем я вырубая новый четырехугольник земли. Лялька и Бобка подсакивают, словно два тигра, и опрокидывают кусок на спину. Я снова добиваю его лопатой. Так и идет у нас.

Нужно сказать, что это занятие не так увлекательно, как купание в реке или игра в волейбол. Но из двух зол, как говорится, надо выбирать меньшее: или игра, или картошки. Мы выбрали картошку, и в этом, конечно, не было ничего удивительного. В те времена этому овощу вообще придавалось большое значение. В тот год, а может быть, годом позже появилась популярнейшая детская песенка, в которой были такие слова:

Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка!

На всем протяжении от Белого до Черного моря не было ребенка, который бы эту песенку не распевал, настолько она пришлась всем по вкусу. Все пели ее как заколдованные.

Целую неделю подряд мы являлись на участок с утра и начинали выворачивать наизнанку землю. В результате на поверхности земного шара появилось что-то вроде довольно заметной гряды, на которой, как я считал, можно было начинать посадку. Это, однако ж, была лишь иллюзия, так как не было как раз того, что нужно было сажать. То есть, попросту говоря, не было самой картошки.

Чтобы купить для посадки картошку, нужны были деньги. А у отца, как назло, дела пошли совсем плохо. Квартет “сибирских

бродяг” окончательно распался. Кто-то из членов квартета нашел себе постоянную работу в другом городе и уехал из Киева. Пока искали ему замену, устроился куда-то в театр и другой член квартета. Теперь и надежды как-нибудь поправить дело не было. У отца же завелся новый приятель. Он был из оставшихся в нашей стране после войны пленных австрийцев, хотя по национальности был не австриец, а мадьяр, то есть венгр. Очень черноволосый и смуглолицый. Звали его не по имени и отчеству, а просто Демка. Этот Демка довольно бойко играл на скрипке, и они вместе с отцом стали играть в одном ресторанчике на Галицкой площади. В тот период, то есть в период нэпа, разного рода рестораны, ресторанчики, кафе открывались повсюду. Ни радио, ни трансляции, ни магнитофонов или проигрывателей с громкоговорителями тогда еще не существовало. Для привлечения посетителей в крупных ресторанах играли целые оркестры. Ну, а для маленького ресторанчика достаточно было и скрипки с баяном. Впрочем, отец и Демка со своими баяном и скрипкой умели создавать в ресторанчике такой шум, что на улице было слышно за два квартала, и это должно было являться хорошей приманкой для посетителей.

Отец, однако, не испытывал особенного удовлетворения от подобного рода деятельности. Он еще питал какие-то надежды на возрождение квартета, но теперь все чаще повторял, что ему “не везет в жизни”. Уже и не помню, сколько прошло времени, пока он наконец собрался купить с пуд мелкой картошки для посадки. Но когда я с малышами отправился ее сажать, то увидел, что это невозможно, поскольку вскопанная земля за время нашего отсутствия решила взять реванш и принялась зарастать травой. Из каждой щели между комьями земли трава вымахивала могучими пучками, так что комья срослись между собой, словно зарубцевавшиеся раны.

Пришлось нам эту траву рубить под корень. Я и Лялька рубили лопатами, а Бобка рубил топором, потому что у нас было только две лопаты.

А потом я принялся рыхлить землю. Взмахнув граблями, словно

кузнечным молотом, я с силой опускал их вниз так, что они впивались зубьями в землю, после чего дергал рукоятку к себе. Комья слежавшейся земли рассыпались, но работа шла медленно. Чтоб убыстрить дело, я придумал такую рационализацию: Бобка садился на грабли, а я, ухватившись за рукоятку, таскал его по вскопанной земле подобно тому, как лошадь таскает борону. Силы мои, однако, иссякли, и я буквально выдохся на первой же борозде. Не знаю, что бы мы делали, если бы случайно мой взгляд не упал на наш волшебный колодец. Мне тут же пришла в голову мысль: взять подлиннее веревку, один конец привязать к граблям, другой – к вороту над колодцем; если ворот вертеть, веревка будет накручиваться на него, грабли с сидящим на них Бобкой будут таскаться по вскопанной земле и боронить ее.

Скажу коротко: план этот оправдался во всех деталях. До наступления темноты мы взборонили землю так, как никакой лошади и не снилось.

А на следующий день произвели посадку картошки. Это уже было проще простого.

Как говорится, детские игрушки.

ТРУДОВЫЕ МОЗОЛИ

Поскольку мы собирались купить козу, для нее необходимо было запастись на зиму сено, а для этого надо было скосить на участке траву. Отец заблаговременно купил косу, приладил к ней косовище, то есть длинную деревянную палку с ручкой посередине. Столярничать отец любил и, пока прилаживал косовище, твердил, что в сельском хозяйстве все надо делать вовремя, и траву надо скосить своевременно, потому что на месте скошенной травы к концу лета вырастет новая и ее еще раз можно будет скосить. Закончив работу, он прибил в сарае пару гвоздей повыше, повесил на них косу и сказал, что косу нельзя класть на пол, так как, наступив на нее нечаянно, можно порезать ногу. Нельзя также ставить косу в угол или просто к стене, так как, упав, она может поранить кого-нибудь. По всем этим разговорам было видно, что он понимал толк в косье и в обращении с косами.

Однако, повесив косу на стене, он забыл о ней. Уже повсюду косили траву, а у нас коса так и висела в сарае.

Меня, однако, беспокоило, что будущей козе нечего будет есть зимой, и, видя, что о косовице никто даже не думает, я оставил рыбную ловлю, которой было увлекся после посадки картошки, и взялся за косу. В конце концов, чтобы косить траву, сельскохозяйственную академию кончать не обязательно. Однако ж и сноровка нужна. Если просто махать косой (как, возможно, думают некоторые), то ничего не выйдет. В этом я убедился в первый же день, когда коса у меня, вместо того чтоб ровно срезать траву, то обескураживающе втыкалась в землю, то, легко скользя по траве, самовольно выпархивала кверху. Постепенно я все же постиг премудрость. Надо было уловить, при каком положении рук и наклоне туловища коса правильно срезала траву, и косить, уже не изменяя наклона, продвигаясь вперед маленькими шажками: взмах косой – два маленьких шажка вперед, еще взмах – еще два маленьких шажка... Спинной хребет должен как бы окостенеть в одном положении. Если же косить стоя на месте и вытягивая все больше руки с косой, а потом уже делать сразу большой шаг вперед, то положение косы в руках будет меняться, и она начнет вытворять разные фокусы.

На второй день дело пошло у меня гораздо успешнее, а на третий я и вовсе овладел этой профессией. За несколько дней я обкосил все, что было вокруг. А потом мы с Лялькой и Бобкой ворошили траву, чтоб она скорее просохла на солнце, после чего таскали готовое сено на сеновал, то есть на чердак сарая. Лялька и Бобка таскали в мешках, а я накладывал сено в сетку от гамака, так что за один раз уносил чуть ли не целую копну.

Покончив с сеноуборкой, я хотел было снова приняться за рыбную ловлю, но заметил, что какие-то шустрые кустики травы с серо-зелеными листьями и длинными белесыми стеблями оккупировали всю картофельную территорию. Молодые ростки картошки с едва развернувшимися листочками только начали высываться из-под земли, а эти непрошеные гости с гордо поднятыми головами уже расселились по всему полю, словно тут была их собственная

плантация.

Впоследствии я заметил, что обычно на лугу, где растут такие травы, как клевер, осока, ковыль, овсяг или пырей, этот серо-зеленый сорняк не встречается. Но стоит вскопать хоть маленький клочок земли – он тут как тут, словно только и дожидался, чтоб для него подготовили почву, как для какого-нибудь культурного представителя растительного царства. А кто он такой, этот “представитель”? Как его зовут? Даже имени его никто не знает! Пришлось нам с этим самозванцем бороться, то есть просто-напросто выдергивать его из земли вместе с корнями. Да, погнули-таки мы спины, и к тому же в такое время, когда другие ребята по целым дням торчали в реке и из воды не высывались.

И вы думаете, на этом конец? Как бы не так! Пришлось еще с этим “фруктом” повозиться, когда наступила пора окучивания. Ну, да про все не расскажешь! Скажу коротко: все эти разговоры о “щедрых дарах природы”, о “дарах земли” – не что иное, как миф, поэзия, красивая сказка! Земля никаких даров не дает даром. Ко всему надо приложить труд. Даже гриб, к примеру, не просто пойдешь в лес да возьмешь. Его еще поискать надо. А теперь, если бы кто-нибудь за меня и землю вскопал, и посадку произвел, и прополку провел, и окучивание, в общем, сделал бы все до конца и сказал: “Ну, что ты предпочитаешь, пойти в магазин за картошкой или принести с огорода?” – я бы не задумываясь пошел в магазин. Там мне насыпали бы в сумку картошки без всяких хлопот, а тут ведь на огород тащись, землю копай лопатой, а земля грязная, липкая, раскисшая от осенних дождей... Нет! Желательно, чтоб каждый на своем личном опыте убедился, что даже простая уборка картошки – это “не вздохи на скамейке и не прогулки при луне”, как сказал поэт, правда несколько по другому поводу.

Уже потом, изучая политэкономия, я узнал, что цена продукта определяется количеством труда, затраченного на его производство.

Эту истину легче усвоить тому, кому пришлось узнать цену труда или вырастить на своем веку хотя бы десяток кило картошки.

А труд, если сказать по правде, ценится иногда до смешного дешево. Это я узнал в то же лето, поступив работать на бетонный завод, изготавливавший бетонные крути для сооружения колодцев. Такой круг представлял собой как бы отрезок бетонной трубы диаметром метра в полтора и такой же длины, с толщиной стенки сантиметров в пятнадцать. Завод этот находился у подножия уже упоминавшейся дюны. Если стать перед дюной лицом к реке, то справа на горке будет все та же чокаловская дача, а слева, под горкой – завод. Впрочем, это только так говорилось – “завод”. На самом деле завода, как такового, не было, а стоял просто на пустыре деревянный сарайчик, в котором хранились запасы цемента, две-три железные формы для наполнения цементным раствором, несколько лопат, деревянных трамбовок, носилки и грохот для просеивания щебня – вот и все оборудование.

Если посмотреть со стороны, то могло показаться, что кому-то пришло в голову устроить вокруг этого сарайчика дюжины две или три бетонных колодцев. В действительности это были не колодцы, а лишь отформованные, подсыхающие или, вернее сказать, затвердевающие бетонные круги. По мере затвердевания крути увозили, а на их месте формовали новые. Бетонная масса для наполнения форм делалась из цемента, песка, щебня и обыкновенной воды. Цемент привозили в мешках, так сказать, в готовом виде. Песок брали прямо из дюны, тоже в готовом виде. Воду, также в готовом виде, черпали из колодца. Единственным ингредиентом, который нуждался в изготовлении, был щебень. Изготавливать же его нужно было из обломков старого, негодного кирпича. Положив кирпич на какой-нибудь камень покрупнее, нужно было колотить молотком по кирпичу, раздробляя его на все более мелкие части, пока не получались кусочки величиной с половину или четверть спичечного коробка.

Бить щебень как раз и являлось моей обязанностью. Помимо меня, этим делом на заводе было занято еще с десяток мальчишек

примерно моего возраста. Дело это, в общем, нехитрое, хотя на первых порах случалось угодить молотком не по кирпичу, а по собственному пальцу, но к этому довольно быстро привыкаешь (не к ударам по пальцам, разумеется, привыкаешь, а бить молотком по кирпичу, не попадая по пальцам).

Наиболее трудная часть работы заключалась не в битье щебня, а в просеивании его на грохоте. Грохот — это что-то вроде неглубокого деревянного ящика с дном из железной решетки и ручками, как у носилок. Насыпав несколько лопат щебня в ящик, нужно было взять грохот за ручки с кем-нибудь из товарищей и энергично трясти, двигая вперед и назад. Щебень с грохотом прыгал по железной решетке, при этом всяческие мелкие частички и кирпичная пыль отсеивались.

Несколько дней подряд я колотил щебень, а когда наколотил довольно большую кучу, принялся грохотать с одним из приятелей. Нужно было просеять не только мою долю, но и его. В первый же день я натер кровавые пузыри на руках и устал так, что на следующее утро еле пришел на работу. Поскольку нам не удалось просеять весь щебень за один день, пришлось снова браться за грохот. Кровавые пузыри у меня на руках полопались, но я уже не обращал внимания ни на боль, ни на усталость. Когда с просеиванием было покончено, я снова взялся за молоток, стараясь держать ручку так, чтоб не слишком тревожить изодранную на пальцах кожу. Постепенно мои пузыри подсохли и почернели от запекшейся крови. Кожа на руках затвердела. Когда пришло время просеивать новую порцию щебня, у меня уже были довольно солидные мозоли, хорошо предохранявшие кожу от натирания. Таким образом, я на практике постиг ту истину, что трудовые мозоли — это не просто классовая принадлежность пролетариата, а нечто вроде защитной реакции организма на внешние раздражители.

В общем, я убедился, что иметь мозоли не так уж плохо. Плохо только, что заработки были невелики. Оплата была сдельная, и, как ни вертись, на круг и рубля в день не получалось. Как выяснилось впоследствии, бетонный заводик этот был не

государственный, а принадлежал какому-то товариществу, вроде как бы акционерному обществу, члены которого делили между собой полученную прибыль, а для наемной силы, то есть для мальчишек вроде меня, устанавливали такие сдельные расценки, что особенно, как говорится, не разжиреешь. Это было, однако, вполне законно оформленное предприятие со своей конторой, с печатью и штампом, о чем я узнал, когда мне понадобилась справка с места работы, которую нужно было представить в рабшколу.

ФАНТАЗИИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В вечерней рабочей школе, куда я попал, состав был самый разнокалиберный, разношерстный. Была тут и молодежь обоего пола, окончившая, как и я, семилетку, но попадались и довольно солидного возраста дяденьки, не имевшие даже семилетнего образования. В соответствии с этим и программа была самая универсальная. Иначе говоря, проходили все сразу: и алгебру, и геометрию, и физику, и грамматику, и политэкономию, и историю, и литературу...

Я ничего не имел против того, чтоб повторить правила грамматики, поскольку тут у меня были кое-какие пробелы в знаниях. Физику мы начали изучать с самого начала, то есть с раздела “Механика”, и это тоже было кстати, потому что если бы меня спросили, что такое сила, работа, мощность, тяжесть и тому подобное, я, хоть убей, не сумел бы ответить, так как начал сознательно относиться к учебе уже после того, как мы “прошли” этот раздел физики в семилетке и начали изучать электричество.

Время мое в тот период было уплотнено до предела. Проснувшись на рассвете и едва позавтракав, я бежал с молотком в руках на бетонный завод и дробил щебень. Часа в четыре я работу кончал и бежал домой. Пообедав, я бежал на станцию, чтоб не опоздать к поезду. В поезде я спокойно мог отдохнуть, вернее сказать – почитать какую-нибудь книжку или учебник в течение 45–50 минут, то есть пока поезд шел от Ирпеня до Киева. Занятия в

школе были с семи часов вечера до десяти или одиннадцати. После занятий я мчался обратно на вокзал, снова отдыхал в поезде под убаюкивающий стук колес и являлся домой частенько, когда уже было за полночь.

Мой старший брат, как и намеревался, поступил в художественную профшколу. Но поскольку занятия там были не вечерние, ему не с руки было ездить ежедневно на поезде, так как нужно было слишком рано вставать. Поэтому, съездив разок-другой, он предпочел вообще не ездить, а ночевать в Киеве у дяди Коли. Так у него и пошло. Он ночевал, а заодно и столовался всю неделю у дяди, а домой приезжал только на воскресенье.

Бетонный заводик, на котором я дробил щебень, был сезонное предприятие. Он мог работать только до наступления холодов. Сентябрь и октябрь на Украине бывают обычно достаточно еще теплыми, но в ноябре уже возможны заморозки, поэтому в конце октября все работы на бетонном заводе были прекращены, и я оказался, как принято говорить, свободным.

Какое-то время я еще ездил на занятия в Киев, но это было довольно-таки дорогое удовольствие. Билет на поезд в один конец стоил 35 копеек. Следовательно, на поездки мне требовалось 70 копеек в день. Свои “заработки” у меня кончились. Обращаться с просьбой о деньгах к отцу было не всегда удобно. Дело в том, что к тому времени отец все чаще стал возвращаться домой, что называется, “под мухой”. На этой почве у него с матерью возникали неприятные разговоры. Отец объяснял, что он денег не пропивал, что его угостили посетители ресторана, где он играл со своим Демкой. Но мать не желала входить в детали. Ей вообще не нравилось, что отец выпивал, а на какие деньги – это было для нее безразлично, как она уверяла. Вместо того чтобы дать отцу проспаться, она тут же начинала его корить. Дело кончалось криком и какой-нибудь скандальной сценой. На следующее утро отец просыпался не в духе, наверно, с похмелья, как я теперь понимаю, и говорить с ним о деньгах было небезопасно.

Однажды я поехал на занятия в Киев, не имея денег на обратный проезд. Говоря точнее, у меня был полтинник, так что на обратный билет не доставало целого двугривенного. Не знаю, на что я надеялся, когда ехал. Вообще у меня в характере была склонность к фантазиям. Пришло мне в голову, что надо ехать, и я поехал. Думал: зайду к кому-нибудь из родственников и переночую. Когда же занятия кончились, мне показалось неудобным являться к родственникам в такое позднее время. Ведь до этого я ходил к родственникам только в гости, а кто же приходит в гости, так сказать, глядя на ночь? В результате мне пришла фантазия провести ночь, просто прохаживаясь по улицам. Раньше мне никогда не случалось проводить ночи подобным образом, и я не представлял себе, насколько это комфортно или, вернее сказать, некомфортально.

На оставшиеся у меня деньги я купил буханку хлеба. Хлеб этот был не черный, но и не белый, а что-то среднее между ними. Мне как раз такой хлеб очень нравился, и я воображал, что если съем всю буханку, то это вполне заменит мне ужин. Бесцельно слоняясь по улицам, я отламывал от буханки по кусочку и ел. К своему удивлению, я не успел прикончить и четверти буханки, когда почувствовал, что не хочу больше есть. Не могу сказать, что я насытился. Сытости вроде как бы не чувствовалось, а вместе с тем и есть вроде бы не хотелось. Разобравшись в своих ощущениях, я понял, что не хотелось именно хлеба, а чего-нибудь другого я бы, наверное, с удовольствием съел. Улицы между тем постепенно пустели. Наконец совсем обезлюдели. Ноги мои устали. Вдобавок меня начало клонить ко сну. Я зашел в какое-то парадное. Там было пусто и тихо. В глубине лестничной клетки под потолком уныло светилась подслеповатая пятисвечовая электролампочка. В описываемые мной времена никому и в голову не пришло бы заливать более ярким светом места общего пользования, потому что тогда существовал так называемый режим экономии. Повсюду говорили и в газетах писали, что сейчас во всем нужна строжайшая экономия, поскольку восстановление народного хозяйства требует больших затрат. Эстрадные куплетисты распевали песенку, в которой был такой припев:

Потому – режим экономический,

И во всем нам надо действовать практически:

Изживать все недостатки,

Чтобы все было в порядке,

И народный капитал беречь.

Эта песенка была из числа тех, которые называют прилипчивыми. Стоило хотя бы раз услышать ее, и она уже никак не хотела выходить из головы. Чем бы человек ни занимался, о чем бы он ни думал, он неизменно ловил себя на том, что думает не о чем нужно, а в голове у него вместо мыслей просто вертятся слова этой песенки:

По-то-му – ре-жим э-ко-но-ми-че-ский...

Такова сила искусства!

В парадном, куда я забрел, было достаточно места, чтоб лечь. Но пол был каменный и грязный. На мой взгляд, было как-то вроде неэстетично – улечься на пол. Заснуть, сидя на ступеньке лестницы, тоже было рискованно: Кто-нибудь из запоздавших жильцов мог наткнуться на меня в темноте и принять за вора. Я решил спать, стоя у двери и прислонившись спиной к стене. Если кто-нибудь войдет, думалось мне, я тут же проснусь и выйду за дверь, сделав вид, будто я только что спустился с лестницы и ухожу из дома.

Такое решение объяснялось, конечно, недостатком жизненного опыта. До этого мне никогда еще не приходилось спать стоя. В литературе я также не встречал никаких указаний на то, что кто-нибудь спал когда-либо подобным образом. Приоритет в этой области принадлежал, безусловно, мне. Но, как всякое новшество, способ этот нуждался в экспериментальной проверке. Однако провести эксперимент до конца мне не пришлось все же. С одной стороны, мешало то обстоятельство, что сон в таком непривычном положении никак не хотел приходить. С другой

стороны, я скоро почувствовал, что ноги от стояния на месте устают даже больше, чем при ходьбе. Все суставы начинают ныть. Боль отдается в позвоночнике. Начинает ломить в затылке, даже почему-то в плечах и особенно в пояснице. К тому же в парадном неуютно, одиноко, скучно. Кругом мрак и зловещая тишина.

Изредка доносящиеся с улицы шаги прохожих внушали мысль, что идут именно сюда, ко мне, и заставляли напрягаться в ожидании встречи, которая неизвестно чем могла бы и кончиться.

Не знаю, что бы я делал, если бы в голову не пришла спасительная мысль отправиться на вокзал и провести ночь в зале ожидания для пассажиров. Покинув свое убежище, я зашагал по пустынным улицам к вокзалу. Расчет мой оказался верным. На вокзале было светло, тепло и дажелюдно, что вовсе немаловажно, как я теперь понимал. Усевшись на свободной лавочке, я положил рядом книжечку рассказов Мамина-Сибиряка, которую прихватил с собой, чтоб почитать в поезде, а на книжку положил недоеденную буханку хлеба. Растянувшись на лавочке, я положил голову на буханку, с удовлетворением ощутив, что она вполне могла сыграть роль подушки. Сон, однако, почему-то не сразу пришел ко мне, а вместо него пришло какое-то официальное административно-вокзальное, железнодорожное лицо и сказало, что на лавочке спать нельзя. Я ответил, что вовсе не сплю, а просто так, захотел немножечко полежать. Но лицо объяснило мне (кстати сказать, довольно вежливо), что вот это как раз и запрещено правилами: спать отнюдь никому не возбраняется, спать можно, но только сидя, а забираться на лавку с ногами нельзя, независимо от того, спишь ты или не спишь. Таковы правила, и их нарушать нельзя.

Что ж делать! Я сел покорно, свернул книжечку трубкой и сунул в карман. Буханку положил на колени и принялся, что называется, клевать носом, то есть, неожиданно засыпая, ронял голову на грудь, быстро наклонялся вперед всем корпусом, словно собирался кого-то боднуть, но тут же просыпался и откидывался назад на спинку лавочки.

Публики на вокзале между тем становилось все меньше. Наконец отошел последний назначенный по расписанию поезд, и распорядившееся человеческими судьбами административно-должностное лицо начало выгонять из помещения вокзала засидевшихся посетителей. Оно сказала, что вокзал закрывается и зал должен быть “очищен” от пассажиров.

Пришлось мне “очистить” вокзальное помещение, словно я его засорял своим присутствием.

“ВОЛЬНИЦА”

Покинув вокзал, я заметил, что вместе со мной на привокзальную площадь вышли еще два каких-то небрежно одетых и давно небритых субъекта, которых я, впрочем, не успел как следует разглядеть, поскольку, не сказав друг другу ни слова, они быстро зашагали, один в одну сторону, другой – в другую, и скрылись во мраке, словно их ветром сдуло.

Наверно, они по опыту уже знали, что в такую пору не следует подолгу задерживаться на одном месте. А может быть, каждому из них было известно какое-нибудь пристанище, где можно было провести остаток ночи.

Не имея никакого определенного плана, я оглядел расстилавшуюся передо мной площадь. Вдали, по правую руку, возле забора, ограничивающего владения “железнодорожной державы”, полыхал огонек костра, вокруг которого сидели несколько беспризорников. В те времена фигура беспризорника, то есть одетого в невозможнейшие лохмотья, грязного, давно не мытого и не чесанного мальчишки, потерявшего в годы войны родителей, была как бы неотъемлемой принадлежностью городского пейзажа. Шел уже 1924 год. Но я помню, что еще и в 1931 году, когда вышел на экраны фильм “Путевка в жизнь”, борьба с детской беспризорностью не была закончена. Беспризорники очень любили ходить на этот фильм из их собственной жизни. Я сам не раз видел, как, собравшись стайкой, они просачивались в какой-нибудь кинотеатр на дневной сеанс, когда зрителей было поменьше. Хотя этих несчастных ребятишек уже тогда, то есть в

1924 году, помещали в детские дома и специальные колонии, но они упорно убегали оттуда, предпочитая жить на свободе, промышляя попрошайничеством и воровством. Все эти беспризорники представляли как бы определенную касту или корпорацию, живущую по своим собственным законам и противопоставлявшую себя остальному обществу.

Неподалеку от костра стоял огромный черный котел цилиндрической формы. В ту пору повсюду на киевских площадях и улицах можно было видеть такие котлы. В них разогревали асфальт для покрытия мостовых и тротуаров, пришедших в негодность за время войны. В течение дня котел настолько разогревался, что не успевал остыть за ночь и, таким образом, являлся хорошим прибежищем для беспризорников на ночь, особенно с наступлением холодов. Мне показалось странным, что увиденные мной беспризорники предпочитали проводить ночь у костра, вместо того чтоб залезть в котел и спать преспокойно в тепле. Я решил использовать упущенную ими возможность, но когда подошел к котлу и заглянул на дно, то увидел, что оно плотно уложено спящими беспризорниками. Они лежали, тесно прижавшись друг к дружке, словно сардельки, поджариваемые на сковороде, и спали таким крепким сном, на который способны только ребяташки их возраста.

Убедившись, что все вакантные места в котле заняты, я решил погреться у костра, так как холод уже довольно ощутимо напоминал о себе. Беспризорники совершенно никак не отреагировали на мое появление в их среде. Ни один даже не повернул ко мне головы. Только худенький, тонкий, как тростинка, мальчишка, рядом с которым я присел у костра, метнул косой взгляд в мою сторону. От моего внимания не ускользнуло, как сверкнули белки его глаз на совершенно черном от грязи лице.

У остальных (всего у костра сидело четверо) были такие же черные, словно покрытые слоем копоти или сажи физиономии. Видимо, у них вообще не было выработано привычки когда-либо умываться или хотя бы мыть руки.

Молчание, впрочем, длилось недолго. Сидевший напротив меня мальчишка постарше сказал, как бы ни к кому не обращаясь:

– Слышь, Тонкий, ты сидишь ближе, спроси у фрайера, чего это он принес нам.

Фрайер на блатном, то есть на воровском, языке, как мне было известно, означало не что иное, как простофиля, простак, деревенщина, вообще неопытный, не принадлежащий к блатному миру наивный чудаков, которого легко можно обвести вокруг пальца. Не было никакого сомнения, что в данном случае фрайер – был именно я. Худенький мальчишка ткнул своим грязным пальцем в буханку, которую я держал под мышкой, и спросил:

– Что это у тебя?

– Хлеб с маслом, – ответил я. – Сейчас поужинаем и будем ложиться спать.

Я разломил буханку на пять частей, по числу сидевших вокруг костра. Со всех сторон потянулись грязные руки, и каждый взял свою долю. Тонкий тоже взял кусок и, приоткрыв рот, выжидательно посмотрел на меня.

– А масло? – спросил он.

– Масло? – сказал я и с сожалением развел руками. – Масло, понимаешь, в магазине осталось.

Сидевшие у костра так и фыркнули от смеха, и это, как видно, задело самолюбие не ожидавшего подвоха Тонкого.

Он бросил мне на колени доставшуюся ему краюху хлеба и буркнул сердито:

– Ты что, пришел сюда надсмехаться над нами?

Он так и сказал: “надсмехаться”.

Его действия, однако, не вызвали одобрения старшего мальчишки.

– Ты что это вздумал швыряться хлебом? – строго сказал он. – Ты что, лорд Керзон или Чемберлен, может быть? Ну-ка, иди за обрезками.

– Сам иди! – буркнул упрямо Тонкий.

Старший мальчишка был, как видно, парень покладистый. Он молча встал, подошел к забору, отогнул в сторону болтавшуюся на одном гвозде доску и исчез в образовавшемся отверстии.

Тонкий поглядывал на меня исподлобья, словно стараясь узнать, сержусь ли я, потом быстро протянул руку и схватил брошенный им кусок хлеба. Видя, что я не препятствую ему, он сказал, явно стараясь завязать разговор:

– Ты, видать, из детского дома сбежал?

– Это ты, наверное, сбежал, – ответил я таким тоном, чтоб он почувствовал, что я еще сержусь.

– Я-то сбежал, – сказал примирительно он.

– А зачем?

– Там скучно. Все кричат. И никуда не пускают.

– А куда тебе надо?

– Ну, “куда, куда”! Я мамку ищу.

– А где твоя мамка?

– Вот чудак! Если бы я знал где, зачем бы искал? А у тебя есть мать?

– Есть.

– Ну? – искренне удивился он. – Почему же ты не поедешь к ней?

– Я и хотел, да на билет не хватило денег, – ответил я.

– А это далеко?

– Двадцать пять верст.

– А двадцать пять верст – это много?

Видно было, что в счете он не особенно силен: небось и до десяти не сосчитал бы. Я на секунду задумался, как попроще объяснить ему. Но тут снова заскрипела доска в заборе. Это вернулся парнишка, отправившийся за обрезками. В руках у него было что-то завернутое в старую засаленную газету.

– Зеркай, пацаны, Кочан обрезков припер! – обрадованно сказал черноволосый мальчонка, сидевший рядом с Тонким.

Кочан сел у костра и, не сказав ни слова, развернул газету. В свертке оказались обрезки колбасы самых разных названий: чайной, любительской, краковской, кровяной, ветчинной. Тыкая пальцем в сторону каждого сидевшего у костра, Кочан пересчитал всех, не забыв ткнуть в грудь и себя, после чего разделил принесенные обрезки на пять частей и вручил каждому его порцию. Все, аппетитно чавкая, принялись уплетать колбасные обрезки с хлебом.

– Шамай, хорошие! – обратился тонкий ко мне.

Стараясь не думать, какой путь проделали и в каких руках побывали доставшиеся на мою долю обрезки, я тоже стал есть, постепенно приходя к мысли, что ко всему можно привыкнуть: нужно только стараться поменьше думать и не давать воли воображению.

Тонкий искоса поглядывал на меня, словно хотел узнать, нравится ли мне угощение. Потом сказал, кинув в мою сторону:

– Слышь, Кочан, у него мать есть.

Слово “мать” он произнес как-то уважительно или любовно, словно пропел: “Ма-а-ать!”

– Врё... – мотнул головой Кочан.

– Чтоб я так жил! – поклялся Тонкий. – Только она далеко: двадцать пять верст на поезде ехать.

– Олух царя небесного! – со снисходительным презрением ответил Кочан. – Если б у меня была мать, я бы двадцать пять раз по двадцать пять верст пехтурой протопал. Я бы топал, топал, топал, пока не упал. Понял?

– Понял, – послушно ответил Тонкий.

В это время я почувствовал, что кто-то залез мне в карман. Обернувшись, я увидел, что сидевший рядом черномазый, как и все остальные, парень (как его звали, не помню) вытащил торчавшую из моего кармана свернутую трубкой книжку.

– Что это у тебя? – спросил.

– Сам видишь, книжка.

– А-а... – протянул он, будто только теперь понял, что это книга.

– А для чего книги? – спросил тонкий.

Он, видимо, отличался любознательностью.

– Книги – это пища для ума. – начал я.

– Как это? – не понял Тонкий.

– Ну, что такое пища, знаешь?

– Ну, – развел Тонкий руками. – Пища – это такая шамовка.

– Пища – это всякая шамовка или еда, вот как хлеб или колбаса, – объяснил я. – Только хлеб, колбаса – это шамовка для желудка... Что такое желудок, знаешь?

– Это который у меня в пузе?

– Вот-вот. Хлеб, колбаса – это шамовка для желудка, который у тебя в пузе, а книга – это шамовка для ума, который у тебя

тут. – Я постучал его пальцем по лбу. – Понял?

– Понял. А ты почитай... Или не можешь?

– Почему не могу? Только больно поздно!

– Читай, читай, все равно без дела сидим, – подхватил Кочан. – А надоешь, так скажем.

Я перелистал книжку, стараясь отыскать что-нибудь более доступное по возрасту и развитию моих слушателей. Выбрав рассказ “Зимовье на Студеной”, я начал читать им эту трогательную историю про старика, жившего в одиночестве на Севере, попутно стараясь объяснить, что такое Север и зимовье и почему на зимовье обоз приходит только раз в году, но они неохотно слушали мои объяснения, нетерпеливо махали руками, говоря:

– Ты читай! Читай дальше! Ну тебя!

Художественная ткань рассказа – магия слов – настолько захватывала их, что мои комментарии казались лишь досадной помехой.

Широко раскрыв глаза, приоткрыв рты, забыв все на свете, они жадно ловили слова писателя об огромной нечеловеческой дружбе простого, одинокого, всеми забытого старика и одинокой собаки, которую, как сказал писатель, старик любил гораздо больше, чем люди любят друг друга. И она его тоже любила. Уже я кончил рассказ, а ребята продолжали неподвижно сидеть у костра, будто окаменели. Они словно прислушивались к словам, которые уже улетели.

Куда?

Кто знает.

А может, и не улетели вовсе?

Может, остались в их душах.

Навсегда.

На всю жизнь.

Тот, который вытащил у меня из кармана книжку, покачал головой. Сказал:

– Стариком плохо быть.

– Да, – отозвался кто-то со вздохом.

И все вдруг опустили головы, словно отдавая последний поклон старику, ушедшему из этого странного мира, в котором мы все с вами живем.

– Молодым лучше быть. Вот как мы, – сказал Кочан.

– Да! – опять отозвался кто-то, как эхо.

Все сразу приободрились и, словно освободившись от придавившей их тяжести, подняли головы.

Тонкий осторожно тронул меня за локоть.

– Ты знаешь... – просительно сказал он. – Ты еще почитай.

– Да, да! – загомонили все вокруг. – Давай еще!

Я выбрал какой-то другой рассказ и начал читать. Некоторое время все молча слушали, но Кочан вдруг сказал с возмущением:

– Ты что? Ты это что читаешь?

– Ну, рассказ, – пожал я плечами, не понимая, чего он вдруг взъерепенился.

– А про что рассказ? Это же не про старика Елеску с Музгаркой.

– Про Елеску мы прочитали уже. А это другой рассказ.

– Не-е-т! – решительно протянул Кочан. – Ты про Елеску читай.

– Правда, читай про Елеску с собакой, – запросили все хором.

– Второй раз? – удивился я.

– Ну и что! Второй раз.

– Кто же это читает по два раза одно и то же!

– Ну ничего. Ну, а ты читай! Ничего! – слышались со всех сторон уговоры.

– Ладно, – развел я руками и принялся читать рассказ, как говорится, на “бис”.

Ребята и на этот раз слушали с таким же жадным одушевлением. Когда чтение подходило к концу, в трепетном свете костра возникла из ночной темноты фигура беспризорника, голову которого украшала большая, не по размеру, матросская бескозырка. Горячась и волнуясь, Кочан обратился к нему:

– Слушай, Боцман, какая пилюля! Старик, понимаешь, один с собакой, а вокруг на сто верст ни души. Он людей только раз в году видел, когда обоз приходил за рыбой. Так он, понимаешь, разговаривал с собакой, вот как я с тобой.

– Шо? – удивился Боцман. – Ты со мной, как с собакой?

– Да нет! Это старик с собакой, как ты со мной. И пес все понимал, вот как ты понимаешь.

– Шо? Я как пес понимаю? – снова удивился Боцман.

– Да нет! Ты не понимаешь! Вот пес понимал...

– Шо? – окончательно возмутился Боцман. – Я не понимаю, а пес понимал? Вот как дам тебе, так это тебе уже не пилюля будет, а микстура потекет из носа!

– Э! – досадливо махнул Кочан рукой. – Вот ты послушай! Ты почитай, – обратился он ко мне.

– Что? В третий раз читать? – удивился я.

– Ну и что? Пусть Боцман послушает.

– Ну почитай! Что тебе стоит? Пусть послушает. И мы послушаем, – взмолились все.

– Ладно, нехай читает, – милостиво разрешил Боцман, разлегшись у костра на асфальте.

Нечего делать, я принялся читать в третий раз про Елеску с его Музгаркой, но, не прочитав и двух страниц, услышал мерное похрапывание. Оглядевшись, я увидел, что все мои слушатели, и сам Боцман в том числе, спят, растянувшись в разных позах вокруг костра. Подбросив в костер оставшуюся охапку сосновых щепок, я опустил голову на еще не совсем остывший после заливки мостовой асфальт и заснул как убитый.

МЫ БЕСПРИЗОРНИКИ

Теперь я умный. Вернее, не такой простофиля, как прежде был. Жизнь все-таки чему-то понемножку учит всех нас. Сейчас же после окончания занятий в рабшколе я, не теряя времени, иду на вокзал, пристраиваюсь поудобнее на лавочке с таким расчетом, чтоб не валиться ни назад, ни вперед, ни набок, и старательно “сплю” в таком положении часов до двух ночи, пока не выгонят, после чего без каких-либо протестов и деклараций отправляюсь бродить по улицам. Чего там! Ведь побродить надо всего часа четыре каких-нибудь, а там гостеприимные двери вокзала открываются снова, и опять можно приходить и ложиться или, вернее сказать, садиться спать: добирать полагающуюся для сна восьмичасовую норму.

Самое трудное в этом деле – прогулять эти самые четыре часа. У меня такой метод: с вокзала, как только закроется, я отправляюсь вверх по Безаковской, потом по Бибиковскому бульвару до Крытого рынка. На здании этого рынка – большие часы. Можно посмотреть, который час и долго ли еще нужно “гулять”. Дальше – путь по Крещатику до Думской площади. Там на здании бывшей городской думы – тоже часы. Оттуда вверх по Софийской улице до Софийской площади (и там часы), потом на

Сенной рынок (часы), а оттуда вниз по Бульварно-Кудрявской на Галицкую площадь, где тоже есть часы и недалеко до вокзала.

Удивительно все же, до чего ночью медленно время идет! Днем оно бежит, так что никуда не успеваешь, а тут совершишь целое кругосветное путешествие по городу, глядишь, всего час прошел! Значит, пускайся в новую кругосветку с какими-нибудь изменениями маршрута для разнообразия.

Ввиду наступившего похолодания и слякотного сезона мостовые асфальтировать перестали. Котлы для варки асфальта стоят холодные, и беспризорных возле них нет. И вообще беспризорников что-то не видно стало. То есть днем они попадаются, а ночью где-то прячутся. Наверно, у них для ночлега какое-нибудь место есть. Где только, хотелось бы знать...

Все же узнал!.. Однажды шел после занятий к вокзалу. Меня обогнали двое беспризорных. Один оглянулся, улыбнулся во всю ширину рта – узнал меня. Оказалось, Кочан, мой старый знакомый.

– Кимарить чапаешь? – спрашивает.

– Негде, – говорю я.

– Чапай за нами, у нас левая хазовка есть.

На нормальном русском языке “кимарить” – значит “спать”, “чапать” – “ходить”, “левая” – значит “хорошая”, а “хазовка” – помещение, пристанище.

Я молча “почапал” за ними. На Степановской мы свернули в какой-то двор, зашли в дом с черного хода. Стали подниматься по лестнице. Добрались до пятого этажа и еще выше полезли по какой-то совсем уже узенькой лестничке.

“На чердак полезли”, – сообразил я.

Очутившись под самой крышей, остановились на площадке перед

низенькой дверью. На двери оказался замок довольно внушительного размера.

“Вот и попали в хазовку!” – мелькнула у меня досадная мысль.

Они, однако, и не пытались проникнуть в дверь, а полезли в слуховое окно, слабо светившееся сбоку площадки. Я тоже полез за ними. Выбравшись на крышу, они поползли на четвереньках друг за дружкой. Я тоже пополз на четвереньках по краю крыши. Добравшись до другого слухового окна, они по очереди пролезли в него. Я тоже полез в окно ногами вперед. Кочан подбодрил меня:

– Прыгай, не бойся.

Я отпустил руки. Ноги коснулись мягкого, засыпанного песком пола.

Неподалеку, прилепленная к выступу кирпичной трубы, светилась тоненькая восковая свечка. Свет от нее героически боролся с наседающим со всех сторон мраком обширного чердачного помещения. На дымоходах, тянувшихся с разных сторон к кирпичным трубам, расположились во всяких позах с десятка полтора беспризорных. Один из них подошел ко мне. На голове – какая-то рваная черная поповская шляпа. Обут в дырявые галоши, подвязанные веревочками, чтоб не свалились с ног. Руки – в карманах брюк.

– Не бойся, Крендель, он фартовый, я знаю, – успокоил его Кочан.

“Фартовый” на их языке – это нечто противоположное фрайеру, то есть свой в доску.

– Ты откуда? – спросил Крендель меня, не вынимая рук из карманов.

– Оттуда, – показал я пальцем на крышу.

– Еще скажешь, что ты сам ангел, с неба спустился.

Все вокруг фыркнули:

– Ангел! Ха-ха!

– А ты что за птица? – спросил Крендель приятеля Кочана.

– Это Артист. Петь умеет, – ответил за приятеля Кочан.

– А ну-ка, ну-ка, спой что-нибудь, – сказал Крендель и, подойдя к трубе, где горела свеча, уселся на дымоходе.

Артист принял позу певца, выпятил живот и заголосил что было силы:

Позабыт, позаброшен

С молодых ранних лет,

Я остался сирото-ою,

Счастья-доли мне нет...

– Стой, стой! Заткнись! – заорал вдруг, выходя из себя, Крендель. – Что вы все, черт вас побери, одну и ту же песню поете? Хотелось какую-нибудь новую песню послушать, а он все про то же! Ты что, никаких других песен не знаешь?

– Так это же самая жалостливая, – сказал Артист. – Я как войду в вагон, как завую, так все только сморкаются и медяки суют: только подставляй шапку.

– Артист счастливый, – сказал мне Кочан. – Петь хорошо. А вот воровать страшно. Я мильтонов ужаси до чего боюсь!

– Так чего ж не поешь? Ты бы пел, – говорю.

– Как же петь, не умеючи? Попробуй сам.

– Мне пробовать незачем, – говорю. – Попробуй ты, я проверю, есть ли у тебя слух.

– Тут не слух. Голос надо.

– Я, – говорю, – лучше знаю, что надо. Ну-ка, пропой, как Артист пел: “Позабыт, позаброшен...”

– По-за-быт, по-за-бро-шен... – заголосил Кочан, как говорится, совсем не из той оперы.

Впоследствии я убедился, что у беспризорников, как правило, совершенно не развит музыкальный слух. Может быть, потому, что они выросли без матерей и никто в детстве не пел им колыбельные песни. Какая-то причина существовала, наверно. Вообще они были молчаливы. Много разговаривать не любили. Если говорили, то коротко. Только то, что надо.

– Где же твоя книжка? – вспомнил Кочан. – Ты бы почитал, а мы бы послушали.

– Про Елеску? – усмехнулся я.

– А чего? Хорошо бы и про Елеску.

Книжки на этот раз со мной не было.

– Хочешь, стихи почитаю? – предложил я.

– Без книжки?

– Ну, я и так помню.

– Эй, пацаны, садись ближе, Ангел стихи будет читать без книжки! – провозгласил Кочан.

Я сел на теплый дымоход. Ребята уселись вокруг. Я прочитал им наизусть вступление к “Руслану и Людмиле”.

– Здорово! – одобрил Кочан. – Мне бы так, я бы в поездах читал, как Артист. Тоже, наверно, деньги давали бы.

– Еще как давали бы! – подхватил кто-то.

– Ну и чего тут, – говорю. – Выучи и читай.

– Да разве выучишь?

- Почему же не выучишь? Дети легко стихи выучивают.
- Так то дети.
- И вы дети.
- Мы беспризорники.
- Не имеет значения, – сказал я. – Давайте-ка все повторяйте за мной.

И начал:

- “У лукоморья дуб зеленый...”
- “У лукоморья дуб зеленый...” – как эхо, отозвались ребята.

Они все подвинулись ближе и сидели передо мной на песчаном полу чердака. В глазах, смотревших на меня снизу вверх, светилась надежда, что они осияют “науку”.

- “Златая цепь на дубе том...” – продолжал я.
- “Златая цепь на дубе том”.
- “И днем и ночью кот ученый...”
- “И днем и ночью кот ученый...”
- “Все ходит по цепи кругом”.
- “Все ходит по цепи кругом”.
- “Идет направо... – здесь я делал паузу, – песнь заводит...”
- “Идет направо – песнь заводит...”
- “Налево... – пауза еще больше, – сказку говорит”.
- “Налево – сказку говорит”.
- “Там чудеса... – После этого страшным голосом: – Там леший бродит!”

– “Там чудеса: там леший бродит!” – Ребята хорошо перенимали интонацию.

– “Русалка на ветвях сидит”. – Это спокойно, напевно.

– “Русалка на ветвях сидит...”

И так у нас пошло с некоторыми пропусками, которые я сделал, чтоб ребятам легче было запомнить. Наконец мы добрались до последних строчек:

И там я был, и мед я пил;

У моря видел дуб зеленый;

Под ним сидел, и кот ученый

Свои мне сказки говорил.

К этим стихам я разрешил себе прибавить еще одну жалостную строчку:

– Подайте копеечку на пропитание!

– Подайте копеечку на пропитание! – с энтузиазмом подхватили ребята.

– Вот и все, – говорю. – А теперь повторим сначала. Ну-ка, разом: “У лукоморья дуб зеленый...”

Дружно повторили стихотворение второй раз. Потом еще и третий.

– А теперь, – говорю, – сами.

Сначала вышла заминка. Никто не отваживался начинать. Потом все же нашелся смельчак, провозгласивший:

– “У лукоморья дуб зеленый!”

И все хорошо пошло. Если кто-нибудь забывал продолжение, то обязательно в общей массе находился кто-нибудь, кто вспоминал, и все подхватывали. Я убедился, что теперь и без моей помощи

обойдутся.

Растянувшись на теплом дымоходе, я заснул под хоровое исполнение стихов.

В тот раз проспал всю полагавшуюся мне восьмичасовую норму, как говорится, с полным комфортом.

Обстоятельства сложились так, что в эту хазовку я больше не приходил, Кочана и его приятелей с тех пор не встречал ни разу и, таким образом, не мог узнать, пошел ли на пользу им мой урок. Тем более я был удивлен, когда, не помню уже какое время спустя, в вагон поезда, только что тронувшегося в путь от Киева, вошла привычная для тех лет чумазая фигурка беспризорника и, остановившись в проходе между лавочками... нет, не запела, как все ожидали, привычную жалостливую песню, а объявила во всеуслышание:

— Стихи! — И начала декламировать с выражением: — “У лукоморья дуб зеленый...”

Все, как говорится, были приятно удивлены. Для публики это было что-то новенькое. Все, посмеиваясь, бросали в шапку проходившего между лавочками исполнителя медяки; я же, сколько ни всматривался, не мог признать в нем кого-нибудь из тех, кто в тот раз на чердаке с таким рвением повторял за мной эти бессмертные строки.

А потом... потом это стало обыкновением. И уже не редкость было услышать в вагоне поезда или трамвая про этот вечнозеленый дуб, который стоял у лукоморья. Певцы, конечно же, не перевелись, но наряду с ними появились еще чтецы-декламаторы. У певцов, правду сказать, репертуар был пошире. Кроме песни про позабытого и позаброшенного с молодых ранних лет сироты, исполнялась иногда песенка, начинавшаяся такими словами:

Горит свеча дрожащим светом...

Была еще жалостливая песенка, которая начиналась так:

Товарищ, товарищ, болят мои раны!..

Были и еще песни, сейчас я уже не припомню их, но из стихов исполнялись только “У лукоморья дуб зеленый”. Это я точно помню. Многие удивлялись такой приверженности беспризорников именно к этому произведению великого нашего поэта. Но одному только мне было известно происхождение этого феноменального факта.

“ГОВОРIT МОСКВА”

В публичной библиотеке, куда я приходил почитать, позаниматься, а заодно и просто посидеть в тепле, мне попалась книжка. На обложке была изображена широко улыбающаяся физиономия симпатичного малыша, прижимающего к ушам плоские телефонные трубки. Как называлась книжка, не помню, но в ней рассказывалось, как самому сделать радиоприемник. Тогда только начала работать первая в нашей стране радиостанция имени Коминтерна. Но никакой радиопромышленности еще не существовало. Купить радиоприемник в магазине было нельзя. Однако, как говорилось в книжке, можно было самому смастерить приемник и слушать радиопередачи.

Это было на заре так называемого радиолюбительства.

Спустя несколько лет трудно было увидеть дом, на крыше которого не торчали бы мачты с протянутыми между ними проводами радиоантенн. Радиоприемники тех времен были слишком еще маломощны: дальность приема и слышимость находились в прямой зависимости от высоты и длины антенны. Каждый радиолюбитель стремился поднять свою антенну как можно выше и протянуть ее насколько можно длинней. Тот, кто не видел своими глазами, даже не представляет себе, какой вид имел город, изукрашенный всеми этими антеннами.

Так называемых радиолюбителей развелось тогда столько, что было организовано специальное общество ОДР, то есть Общество друзей радио. Члены этого общества собирались в своих секциях, делились опытом работы, рассказывали друг другу, как лучше

устроить радиоприемник, какую выбрать схему, по какому способу лучше наматывать катушки и пр. Кроме того, издавался специальный ежемесячный журнал. Назывался “Радиолюбитель”. В нем излагались разные проблемы радиодела. Рассказывалось о новых достижениях в этой области. Был также отдел для начинающих: для тех, кому хотелось начинать делать радиоприемники.

Такое повальное увлечение со стороны радиолюбителей неудивительно. Ведь создавался новый, невиданный и неслыханный дотоле вид общения между людьми. Что-либо случившееся в одном месте земного шара мгновенно могло стать известно в любом самом заброшенном его уголке. Совершалась победа над временем и пространством. Люди чувствовали, что радио дает в их руки возможности, о которых раньше можно было только мечтать. В человеческом обществе от природы заложен инстинкт общения. Человечество интуитивно чувствует, что сила его и спасение – в общении, в общих усилиях Разума. Этим, как мне кажется, и объясняется возникшее в тот период стихийное увлечение наматыванием разного рода катушек, изготовлением конденсаторов, трансформаторов и всего прочего, что требовалось для сооружения чего-то хоть мало-мальски пригодного для приема распространявшихся в эфире радиоволн, несущих с собой человеческий голос, глубокие мысли и высокие чувства, очарование и поэзию, короче говоря – все, что теперь прозаически называется одним термином: “информация”.

Но это, правду сказать, уже было потом. На первых порах многие скептически, то есть с недоверием, относились к радио с его многообещающими возможностями. Первых радиолюбителей считали какими-то ненормальными чудаками. Наверно, и в моей натуре было что-то чуждающее, потому что, как только я прочитал эту книжку о самодельном радиоприемнике, в моей голове поселилась ничем не омраченная, нетерпеливая мысль заняться как-нибудь на свободе постройкой радиоприемника. В моих мечтах без всяких усилий возникает на крыше нашего ирпенского дома антенна. Тихий вечер. В доме тепло и уютно. Я надеваю наушники.

Поворачиваю ручку приемника. Слышу голос далекой Москвы. Узнаю самые последние новости, которые еще не успели попасть в газеты. Поворот ручки. Я слышу голос Берлина, Праги, Братиславы, Парижа, может быть даже Лондона. Льются волшебные, словно космические, звуки музыки. Что это? “Лунная соната” Бетховена, исполняемая каким-нибудь знаменитейшим пианистом. Ее сменяет рапсодия Ференца Листа. Вот ликующие, победные звуки вальса из оперы Чайковского “Евгений Онегин” в исполнении симфонического оркестра. Вот вдруг модный фокстрот, танго. Играет джаз. И вдруг – торжественные, словно возвышающиеся друг над другом, растущие, словно этажи небоскребов, звуки фуги Баха, может быть, исполняемые на том же органе, на котором играл сам Иоганн Себастьян Бах... И это где!.. У нас в Ирпене. В захолустье!

Я даю наушники матери. Пусть послушает. Она постоянно чем-то занята. Штопает одежду, шьет белье, вяжет ребятам варежки или носочки. Это по вечерам. А днем – стряпня. Жизнь ее скучна и наполнена одними заботами. Из дому – никуда. Ни в кино, ни в театр. Так жить страшно. Хорошо бы ей радиоприемник! Она бы слушала по вечерам радио...

Я даю наушники малышам. Ляльке и Бобке. Они тоже хотят послушать. Я вижу, как они улыбаются.

Последнее время я вдруг стал задумываться о судьбе малышей. В сущности, они не такие уж малыши. По возрасту им давно пора учиться в школе. А они разве учатся? Как же так получилось? Что-то произошло с моими родителями. Когда мне и моему старшему брату пришло время учиться, отец и мать позаботились о том, чтоб определить нас в гимназию. Ради этого мы всей семьей переехали на жительство в Киев. Правда, когда спустя десять лет задумали возвратиться в Ирпень, то говорилось, что теперь не то, что в старые времена, теперь и в Ирпене есть семилетка. Малыши могут учиться и в Ирпене. Но вот переехали в Ирпень, настала осень. Лялька и Бобка сидят дома или гоняют по улицам, а в школу их никто и не думает посылать. Да и как посылать? В первый класс им идти уже поздно. По возрасту их

надо было бы подготовить в третий или четвертый класс, а они-то ведь и читать не умеют. Кто их будет готовить? Поглощенные своими заботами, неурядицами, ссорами, родители об этом как будто вовсе не думают. Старший брат тоже не думает. У него свои заботы. Ему надо учиться, чтоб стать художником. Я тоже хочу продолжать учение. Как-то я не мыслю себя не то что без любимой специальности, не то что без высшего образования, а без знаний, завоеванных человечеством. Мне кажется ничтожным, недостойным, нечеловеческим существование без использования всех возможностей, которые отпущены человеческому уму от природы. Но если такое существование кажется невозможным мне, почему оно возможно для моих брата, сестры? Почему я не должен помочь им, если никто другой этого не хочет или не может сделать?

Сказать по правде, учение в вечерней рабшколе дает мне лишь моральное удовлетворение. Пока мы проходим то, что я уже изучал в семилетке. Но мне приятно приходить по вечерам в теплое, светлое помещение, проводить время в обществе людей, стремящихся к знанию.

Мы уже все знакомы между собой. Встречаем друг друга улыбками, шутками.

Но иногда ведь следует делать не только то, что приятно, но и то, что нужно. В конце концов, знания, требующиеся для поступления в институт, я могу почерпнуть из книг. В этом деле у меня уже есть опыт. Мне к тому же тягостно выпрашивать у отца деньги, нужные на расходы. Ведь эти деньги отцу приходится отрывать у семьи. А семье и без того трудно. Да и жить, как я живу, тоже не дело! Это все моя маниловская мечтательность виновата. Я почему-то вообразил, что так можно: скитаться ночью по улицам, торчать на вокзале, валяться на чердаках...

А откуда я знал, что так нельзя?

Ну, что ж, теперь знаю. Теперь я могу сказать себе: “Я

попробовал. Я проверил. Я вижу, что это никуда не годится, и могу вернуться домой. Дома, как говорится, и солома едома. Дома и стены помогают”.

В рабшколе я достал программу, рассчитанную на все три года обучения, с указанием нужной литературы. В Политехническом институте я тоже получил программу для поступления на химический факультет. Я зашел в первую попавшуюся семилетку и расспросил, какие знания нужны для поступления в четвертый класс.

На оставшиеся у меня деньги я купил букварь и книжку, как самому сделать радиоприемник.

Я приехал домой и сказал Ляльке и Бобке:

– Вот вам, чертенята, букварь. Будете учить азбуку.

Что-то я не заметил особенной радости на их физиономиях.

Но мать была довольна. Лицо ее смягчилось улыбкой, когда она увидела в моих руках букварь. Должно быть, ее все же беспокоило, что малыши растут неграмотными.

Но кто был по-настоящему рад моему возвращению, так это Цезарь. Наш пес.

Он с визгом прыгал вокруг меня, клал передние лапы мне на плечи и лизал своим слюнявым языком мои щеки.

Насилу я от него отбился.

ИДЕЯ

В ту зиму в нашем доме учились все. Не только Лялька и Бобка. Даже Цезарь был включен в учебу. Я прочитал в журнале статью, как дрессировать собак, и он у меня не получал никакой еды без того, чтобы не проделать предварительно какое-нибудь задание: постоять на задних лапах, принести в зубах палку, отыскать спрятанный предмет или пролаять нужное число раз. Я лично в тот период взялся за самостоятельное изучение логарифмов, то

есть того раздела алгебры, которого мы не проходили в семилетке.

Забегая несколько вперед, скажу, что с логарифмами я вполне успешно справился, после чего взялся за изучение тригонометрии; Лялька и Бобка вполне успешно поступили осенью в четвертый класс; а Цезаря вполне успешно у нас украли. Он был чистопородный пойнтер, то есть хороший охотничий пес, но бегал без всякого присмотра по улицам. Соседи давно предупреждали, что его в конце концов у нас украдут. Так оно и случилось, о чем мы, впрочем, не очень жалели, поскольку надеялись, что у новых хозяев он будет лучше питаться.

У нас же с питанием, мягко выражаясь, было не так чтоб уж очень жирно.

Мать постоянно твердила, что отцу нужно устроиться на работу. На мой взгляд, вся беда была в том, что разговоры эти она затевала, когда отец возвращался навеселе и был в особенно воинственном настроении. В таком состоянии он начинал хорохориться, кричал, что сейчас безработица, что ему не везет в жизни, в подтверждение чего приводил всяческие пословицы и поговорки вроде: “На бедного Макара все шишки валятся”, “У людей и долото бреет, а у нас и бритва не берет”, “Если не повезет, то и на верблюде собака укусит” и так далее в этом же роде.

В результате всех разговоров возникла идея приобрести лошадь. Некоторые ирпенские жители, имевшие лошадей, промышляли извозом, то есть возили на железнодорожную станцию кирпич с кирпичного завода, бревна из леса, круги с бетонного завода, и неплохо зарабатывали. Матери хотелось, чтоб отец занялся этим делом. В таком случае он перестал бы играть в ресторане со своим Демкой и был бы подальше от вина, которое, как она считала, его губило. Отец соглашался, но так как денег на покупку лошади не было, то решено было продать граммофон, швейную машину и имевшиеся в доме золотые вещи: два обручальных кольца, браслет и медальон матери, подаренный ей

отцом в день их свадьбы. Медальон, как мне казалось, был очень красивый. Он имел овальную форму, снаружи был украшен резьбой, изображавшей веточку с листьями и тремя красными камнями в виде цветов. Если медальон открыть, то внутри на его крышках можно было увидеть слева миниатюрный фотопортрет отца, а справа – матери. Единственная драгоценность, с которой отец не хотел расстаться, была хранившаяся в небольшом флакончике щепотка золотого песка, который он собственноручно намыл, когда был на золотом прииске в Сибири. Он сказал: что много за это золото все равно не заплатят, а оно ему дорого как память и он скорее согласен расстаться с обручальными кольцами, чем с этим песком.

Матери, как утверждала она, ничего не было жалко, лишь бы поскорей купить лошадь, чтоб отец занялся настоящим делом. Ей казалось, что он тут же перестанет пить и жизнь станет счастливой. Единственная жалоба сорвалась у нее, когда очередь дошла до продажи швейной машины.

– Как будто родное дитя свое собираюсь продать! – пробормотала она, как-то виновато взглянув на меня.

В глубине ее черных красивых глаз я увидел растерянность и тревогу. Сердце мое сжалось от какого-то щемящего чувства. Бедная женщина не понимала, почему ей в голову пришла такая странная, пугающая мысль. И я скорее чувством, чем умом, понял эту мысль. Сколько детских рубашонок, распашонок, трусиков, платиц, штанишек было сшито ею для своих подраставших детишек! Образ машинки в ее сознании слился с образом детей, для которых она мастерила все эти вещи.

Я сказал, что, может быть, лучше не продавать машинку, но мать ответила, что иначе мы не соберем нужную сумму.

– Но ведь тебе постоянно приходится что-нибудь шить, – сказал я.

– Шить не обязательно на машинке. Шить можно вручную. Я это умею. Я ведь училась в детстве, – сказала она.

У меня не остались в памяти подробности продажи швейной машинки. А вот как продавалось золото, это я запомнил. Отец договорился со знакомым ювелиром, Апельцыным по фамилии, что мы с братом привезем ему эти золотые вещишки (сам он почему-то не смог или не захотел поехать). Предварительно отец вынул из медальона крошечные портреты свой и матери. Медальон опустел, как покинутое жилище.

В своей ювелирной мастерской Апельцын сидел за столом против витрины, выходившей на улицу. Над столом висел большой красивый стеклянный шар, наполненный прозрачной голубоватой жидкостью. Луч света, проходивший сквозь эту жидкость, фокусировался на изделии, которое Апельцын держал щипчиками. Это была золотая сережка, отделанная бирюзой, к которой он припаивал золотую дужку. В глазу у Апельцына торчал монокль, а во рту была тонкая, изогнутая на конце медная трубочка, в которую он старательно дул с таким расчетом, чтобы пламя от стоявшей на столе ацетиленовой лампы направлялось на припаиваемую дужку.

Оставив свою работу, он осмотрел принесенные нами вещи. Кольца взвесил на маленьких аптекарских весах, что-то записал на бумажке, что-то на что-то помножил. Опять записал. С браслетом проделал такую же манипуляцию. С медальоном поступил по-другому. Открыв его, зачистил изнутри край тупоносом ножом, смочил зачищенное место желтой жидкостью из флакона. По цвету и запаху я догадался, что это была азотная кислота. Убедившись, что кислота никак не подействовала на металл, он выковырял из медальона красные камешки и, завернув их в бумажку, отдал нам. Потом специальными щипчиками безжалостно сплющил обе крышки медальона, так что они сразу превратились в бесформенные обломки, и только после этого положил их на весы. Я спросил, зачем он сломал медальон. Он ответил, что такие медальоны уже вышли из моды и золото все равно надо будет пустить в переплавку.

Что-то болезненно шевельнулось у меня внутри, когда я увидел, как равнодушно была исковеркана вещь, которую мать носила на

своей груди, а носила она ее в радостные, счастливые дни, когда был праздник, когда ждала гостей или сама собиралась в гости или в театр. Она считала эту вещь красивой и любила ее. Это был свадебный подарок, и там были портреты ее и отца...

Апельцын объяснил, что принесенное нами золото разной пробы и оценивается по-разному за грамм. Сейчас я уже не помню ни этих расценок, ни того, сколько мы получили за все наши “фамильные драгоценности”. Помню, что брат спросил, сколько платят за грамм золотого песка. Апельцын насторожился. Мне показалось, что в глазах его блеснула не то жадность, не то любопытство.

– А что, у вас золотой песок есть? – спросил он.

– Нет, это я так просто спросил, – сказал брат, и глаза его сделались узенькие, словно щелочки.

У него всегда такие глаза были, когда случалось соврать. И лицо становилось неподвижным, как деревянная маска.

Апельцын объяснил, что в самородках или в виде песка золото совершенно чистое, без всяких примесей, и поэтому ценится наиболее высоко. Уже не помню, сказал он, какая цена такому золоту, или не сказал. Мне, в сущности, это было безразлично.

В публичной библиотеке я нашел книгу о том, как выбирать при покупке лошадь. В книге рассказывалось, что лошадь живет около тридцати лет, а чтоб узнать ее возраст, надо заглянуть ей в рот и посмотреть, насколько стерлись у нее зубы. Если каких-нибудь зубов у нее нет, то эта лошадь – уже не лошадь, так как не сможет нормально пережевывать пищу и питание будет ей не впрок.

Надо проверить, нет ли у нее каких-нибудь изъянов: не хромая ли она, не слепая. Если лошадь очень худа, то она, значит, уже стара. В книге говорилось также, что у каждой лошади должен быть паспорт, в котором указан ее возраст, масть, рост, имеющиеся недостатки. Без паспорта лошадь покупать нельзя, так как она может оказаться краденой.

ЦЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Покупать лошадь надо было на ярмарке, которая собиралась по воскресным дням на Демиевке, то есть в одном из окраинных районов тогдашнего Киева. Ярмарка – это не обычный рынок или базар. На базаре продают овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу – в общем, все, что годится в пищу. А на ярмарке – все остальное. То есть все, что нужно крестьянину в его хозяйстве. А также все, что ему не нужно. Вернее сказать, то, что у него есть лишнего, что он хочет или может продать или специально изготовил на продажу. Лен, конопля, пенька, лыко, мочало, пух, перо, шерсть, волос, кожи, метлы, овчины, корзины, лукошки, бочки, кадушки, корыта, решета, ведра, тазы, грабли, лопаты, гончарные изделия, кони, волы, коровы, козы, овцы, куры, гуси, маленькие поросята...

Над всем этим шум, гомон, крик. Все на всяческие лады расхваливают свои товары. Не стесняются в средствах, чтоб привлечь к себе внимание. Крестьянка, торгующая гончарными изделиями, подняла над головой горшок и старательно колотит по нему палкой. Торгующий бочками не только орет во все горло, но и стучит скалкой по бочкам, извлекая из них громоподобные звуки. Продавец скобяных товаров схватил какую-то железяку и колотит ею изо всех сил по ведру или лопате...

– Ведра! Ведра! Лопаты! Грабли! Продаем, чуть не даром отдаем! Ведра! Лопаты! Косы! Серпы!

– Бочки! Кадушки! Корыта! Навались, у кого деньги завелись!

– А ось глэчики (горшки, значит), глэчики, макитры, кухлыки, крынки! Глэчики! Ось, купать горшенятко!

– Скильки за цю макитру?

– Два карбованци.

– Що?!

– Два рубли, кажу.

– Дорого!

– А сколько б вы дали?

– Пять копийок.

– А трясця вашей матери! Идись по три чорты! От як дам цэю макитрою! Матери твоей ковинька!

На ярмарке невозможно побыть, чтоб не услышать чего-нибудь по адресу своей матери. Еще ничего, если ей пожелают трясцю или ковиньку, а не что-либо похуже того.

– Глэчики! Миски! Макитры!

– Бочки! Кадушки! Навались!

Бум! Бам! Блям! Бах! Трах! Звяк! Бряк! Топ! Мык! Хрюк! Кряк! Гогот!

Семнадцатый век! Плюшкинские времена! А шум – тысяча децибелов! Такое теперь услышишь разве что на стадионе в разгар футбольного матча или на выступлении модного джаз-оркестра. А чем достигалось? Собственной глоткой, без всякой электроники, без усилительной техники, без какой бы то ни было акустики!

Да! Было времечко!

Конный ряд (то есть там, где продают лошадей) представляет собой, в сущности, не один, а два ряда телег с выпряженными лошадьми, а между этими двумя рядами – как бы улица, по которой можно провести покупаемую лошадь, посмотреть, как она ходит, не хромая ли. Первое, что мы видим посреди этой улицы, – это огромный, раза в полтора крупнее всех остальных продающихся лошадей, конь, исхудавший до предела возможного. В далеком прошлом это, может быть, даже какой-нибудь знаменитый рысак, но сейчас это просто живой конский скелет, обтянутый лошадиной шкурой. Буквально, как принято говорить, кожа да кости. Трудно понять, какими силами жизнь еще держится в нем.

Демонстрирует этот живой скелет черноволосый цыган в синих штанах, заправленных в сапоги, в вышитой косоворотке, подпоясанной красным кушаком. Поддерживая под уздцы коня, цыган то и дело тычет ему кулаком в зубы, отчего конь старается держать голову выше, шарахает по сторонам глазами, пытается встать на дыбы, но так как сил для этого нет, он просто приседает на задние ноги. Цыган, однако, тянет за узду, и, вместо того чтоб присесть, конь, нервно перебирая ногами, словно приплясывая, таскается вперед и назад за своим мучителем... Окружающие с улыбкой посматривают на это даровое представление. Да и у самого цыгана веселые огоньки в глазах. Он, видимо, доволен резвостью своего подопечного коняги или просто старается сделать вид, что ничего грустного в этой картине нет.

Как только я увидел этого коня, у меня появился страх, как бы отец не купил его. Опасения мои оказались, однако ж, излишними. Было совершенно очевидно, что представляла собой такого рода покупка. Да и мать и все знакомые предупреждали, чтобы мы ни в коем случае не покупали лошадь у цыгана. Мы, то есть отец, я и мой старший брат, прошлись по рядам, присматриваясь к лошадям, прислушиваясь к разговорам и прицениваясь. Собственно, приценивался, конечно, отец. Деньги были у него. Мы с братом даже не знали, какой суммой располагаем, поэтому и цена лошади сама по себе ничего нам не говорила.

Отец, однако, испытывал какое-то затруднение, то ли не зная, на чем остановить свой выбор и чем его обосновать, то ли опасаясь заплатить лишнее или купить не то, что нужно. Не могу точно припомнить, как и почему подле нас оказалась фигура цыгана, которого отец запросто называл Мироном, словно век с ним был знаком. Кажется, отец велел нам с братом подождать, сам же пошел в сторону, где была чайная, откуда вернулся с этим Мироном. У меня же навсегда осталось впечатление, будто цыган этот вынырнул перед нами прямо из-под земли. Вынырнув же, принялся тут же яростно расхваливать какого-то скромного,

флегматичного, понурого конягу, которого продавал флегматичный, молчаливый седоусый крестьянин с люлькой в зубах, похожий на запорожского казака в отставке.

Конь этот (что о нем сказать?) не имел того вида, к которому привык рядовой городской житель, то есть человек, встречающийся с обычными извозчичьими лошадьми на городских улицах. Что-то типично деревенское, сермяжное, если так можно сказать, было в этом коне. Он не то сутулился, не то горбился, словно привык с натугой, неспешно таскать за собой плуг или соху, а не бегать в легкой упряжке с коляской или телегой по укатанной, хорошей дороге. Недоставало в его виде резвости, грации, той лошадиной стати, которая так нравится людям в конях. Не было в нем также и той глубокомысленности, в которую впадают по временам даже очень резвые кони. Вся его фигура говорила о какой-то безучастности ко всему окружающему. Главное же, что настораживало, – это его худоба. Правда, он не был так худ, как тот конь, которого с таким старанием рекламировал первый цыган, но во всяком случае худощавый или, что называется, тощий.

Цыган Мирон, однако ж, клялся, божился, что конь хороший, что его только нужно немножечко подкормить; призывал все силы небесные в свидетели того, что он говорит правду, кричал “разрази меня гром, покарай меня бог”, колотил себя кулаком в грудь, пытался разорвать ворот своей рубашки, хватал из-под ног горсть земли и кричал, что сейчас будет есть землю.

Я хотел посмотреть коню в рот, чтоб проверить, как у него обстоит дело с зубами, но не знал, с какой стороны к этому приступить. В книжке говорилось, что надо открыть коню рот и осмотреть зубы, а вот как заставить коня открыть рот, об этом в книжке не говорилось. Кстати, я вспомнил про паспорт и сказал отцу, что надо бы посмотреть паспорт коня. Но отец почему-то подмигнул мне и сделал знак, чтоб я помалкивал, так, словно мы пришли на ярмарку не для того, чтоб купить коня, а чтоб украсть его. Цыган, однако ж, наклонился ко мне, изображая всей своей фигурой внимание. Выслушав же вопрос о

паспорте, вместо ответа начал снова рвать на себе ворот, бить кулаком в грудь, кричать “разрази меня гром”, хватать пятерней землю. Но даже, когда он, горячась, кричал, что будет есть землю, губы его играли улыбкой, глаза же были неуловимы, то есть глядели вскользь, мимо лица: мне ни разу не удалось встретиться с ним взглядом.

Так он паясничал и шаманил, пока отец, словно загипнотизированный, не начал повторять за ним, что конь хороший, его только подкормить надо и что-то вроде этого. Не успел я оглянуться, как деньги были заплачены. Тут только на свет появился паспорт коня. Отец отдал паспорт мне и велел нам с братом вести коня домой, а сам вместе с цыганом и бывшим хозяином коня отправился “обмывать” покупку, потому что без этой “обмывки” покупка не могла считаться счастливой.

Крик кончился. Дело было сделано. Я посмотрел в паспорт, и что-то в груди у меня словно упало вниз. Коню было двадцать восемь лет. Во рту недоставало каких-то зубов. Кажется, эти зубы назывались кутними. Впрочем, неважно, как они назывались. Отсутствие каких-то зубов само по себе было признаком нехорошим. Да и возраст говорил сам за себя. Все это было известно мне из книжки, но я старался уговорить сам себя, что это, может быть, ничего. В сущности, я ведь ничего не понимал в лошадях. Если кони, как говорилось в книжке, живут в среднем до тридцати лет, то это в среднем. Нам, может быть, повезет, и наш конь проживет до тридцати пяти. Может быть, его действительно подкормить надо...

В общем, человек такое существо: его можно уговорить. Оно может дать себя уговорить. Оно даже само себя может уговорить. Вот и я начал понемножечку уговаривать сам себя и начал верить, что коня можно будет подкормить, уже не думая о том, чем мы его будем подкармливать.

Звали его, коня то есть, как значилось в паспорте, Ванькой.

НА КОНЕ

Оттранспортировать в Ирпень это приобретенное нами ископаемое непарнокопытное, этот реликт, именуемый Ванькой, можно было лишь по способу пешего хождения, то есть на своих двоих, или, вернее сказать, на своих четверых. Практически это осуществлялось так: один из нас шел впереди и тянул коня за повод, привязанный к уздечке, другой шел с хвостотиной сзади, чтобы в случае надобности подгонять коня. Тому, кто шел сзади, было страшно, и это естественно: всему миру известна народная мудрость, гласящая: “Бойся собаки спереди, лошади – сзади, а глупого человека – со всех сторон”. Поскольку в данном случае мы имели дело с лошадью, то и бояться следовало, согласно народной мудрости, тому, кто сзади. Но это теоретически. Практически бояться приходилось и тому, кто был спереди. Во-первых, он боялся, чтоб лошадь как-нибудь невзначай не укусила его (вдруг ее рассердит что-нибудь; мало ли что ей может прийти в голову: возьмет еще и зубами хватит). Во-вторых, было опасение, что лошадь, испугавшись чего-нибудь, может вдруг “понести”, как тогда говорилось, то есть броситься вскачь, не разбирая пути и ничего не соображая от страха.

В те времена такие случаи были не редкость. Когда появились первые автомобили, они наводили страх даже на некоторых людей. Все привыкли к тому, что впереди экипажа (коляски, к примеру, или телеги) обычно бежала лошадь и тащила его. Видя же, что экипаж катится как бы сам собой, без помощи поставленной впереди лошади, многие пугались или приходили в недоумение. Но люди существа умные и быстро соображали, что тут, наверно, какая-нибудь хитрость. Лошади же по недостатку ума воображали, должно быть, что тут не иначе как какая-нибудь чертовщина. Завидев такую самодвижущуюся коляску, они теряли всяческое самообладание и, невзвидя света, бросались бежать галопом куда попало. Если такая напуганная лошадь была запряжена в бричку или телегу, то бричка или телега переворачивались, люди вываливались прямо на мостовую и хорошо, если отделялись только ушибами. Помимо того, такая несущаяся без всякого соображения лошадь могла кого-нибудь сбить с ног, растоптать и

вообще наделать разных бед.

По мере того как автомобилей становилось на улицах больше, лошади постепенно привыкали к ним и переставали пугаться. Но это относилось в основном к городским, извозничьим лошадям. Деревенская лошадь, для которой автомобиль или трамвай были в диковинку, могла все же испугаться этого вида транспорта со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мы не знали, как поведет себя наш ископаемый Ванька, попав на шумную городскую улицу. Пока мы шли с ним от ярмарочной площади по тихим узеньким улочкам, все обстояло благополучно. Но вот мы вышли на Большую Васильковскую и зашагали по обочине мостовой, стараясь держаться поближе к тротуару. Мимо нас промчался легковой автомобиль. За ним прогромыхал довольно тяжелый грузовик. Нужно сказать, что выхлопные трубы автомобилей в те времена не были оборудованы глушителями, поэтому даже поездка на легковом автомобиле сопровождалась как бы пулеметной пальбой. Шины грузовых автомобилей к тому же не были снабжены надувными баллонами, а делались из сплошной твердой резины, что при езде по тогдашним булыжным мостовым производило страшный грохот. Ванька, однако ж, не испугался ни пулеметной пальбы, ни грохота. Он даже ухом не повел, когда мимо нас с непрерывным, нетерпеливым звоном проехал трамвай, а продолжал размеренно, не спеша шагать, синхронно переставляя одно за другим свои четыре копыта. Надо полагать, что за свою долгую конскую жизнь он насмотрелся всяких чудес и такие человеческие выдумки, как различные самодвижущиеся тележки, трамваи и даже поезда, уже не удивляли его.

Он шагал все с тем же безучастным видом со скоростью примерно пять километров в час. Мы с братом могли бы, конечно, идти быстрее, но решили не подгонять коня, чтоб он как-нибудь ненароком не пустился вскачь и не удрал бы от нас. По всей видимости, принятая им скорость была для него привычной. Он шагал как заведенный, не убыстряя движения и не замедляя; казалось, если его не остановить, он может шагать, пока не обойдет вокруг земной шар, да так и будет кружить, пока завод

не кончится.

Мы с братом понемногу успокоились, и я, шагавший сзади, принялся уже более детально знакомиться с нашим приобретением. Сравнивая его с другими попадавшимися навстречу лошадьми, я заметил, что у Ваньки была какая-то особенная, нестандартная шерсть. Она была какая-то шероховатая, словно старый, потрепанный войлок, которым обивали в те времена для утепления двери, то есть она не лежала гладко, не лоснилась, как обычно на лошадях, а как бы торчала или топорщилась, словно на древнем мамонте или на современном буром медведе, разве только была несколько посветлее и чуточку покороче. Этим, возможно, и объяснялось, что конь имел какой-то типично не городской вид.

Тем, кто воображает, что наш Ванька был нечто вроде донкихотовского Росинанта, могу прямо сказать: ошибаетесь. Росинант был тощ, это правда, но он был строен, высок, подтянут (по крайней мере, его таким рисуют художники). У него была своя гордая лошадиная красота. Это как и с людьми бывает. И у людей: один – высокий, худой, но держится молодцом, другой – низенький и широкий, но не потому, что расплылся от жира. Он тоже худой, но по природе своей ширококостный, кряжистый, приземистый. Такой у него экстерьер (если этот термин тут к месту). Вот и у Ваньки был совсем не тот экстерьер, что у Росинанта. Не хватало в нем той внутренней лошадиной изящности, элегантности. Чего-то донкихотовского не хватало. Уж слишком веяло от него древесиной, чем-то пещерным, что ли.

Представьте себе. Воскресенье. На улице – приодевшиеся по случаю праздничного дня прохожие. Они, может быть, в гости идут или в парк, чтобы культурно провести время, а тут вдруг рядом на мостовой такой пещерный медведь, то бишь, прошу прощения, не пещерный медведь, конечно, а такой вроде как первобытный конь, явно не вписывающийся в современный городской ландшафт. Впрочем, публика на улице вполне культурная и никаких насмешливых замечаний по адресу нашего коня себе не позволяет, если не считать того, что уж как-то слишком пристально, слишком назойливо на него поглядывает. Мы

с братом стараемся делать вид, что нас не смущают все эти взгляды, будто мы их и не замечаем.

Вот мы вполне благополучно продефилировали мимо величественного готического собора, к которому по случаю воскресного богослужения тянулись со всех сторон благочестивые прихожане-католики. Еще немного терпения – и мы поворачиваем на нашу родную Марино-Благовещенскую улицу. Марино-Благовещенская не такая широкая, как Большая Васильковская. Трамваи, которые то и дело обгоняют нас, проходят чуть ли не впритирку к нашему Ваньке. Но Ваньке все нипочем! Он держится с завидным хладнокровием. Я лично каждый раз прихожу почему-то в волнение, когда нас обгоняет трамвай.

Наконец мы на углу Большой Караваевской. Идем мимо нашего дома, в котором мы прожили столько счастливых лет. Трудных лет, наполненных жизнью, борьбой. Может быть, именно потому и счастливых.

И вот – Брест-Литовское шоссе. Шагаем вдоль высокой бетонной ограды, за которой владения бывшего нефтяного или керосинового короля Нобеля. Среди зелени кустов и деревьев – гигантские цилиндрические резервуары для бензина, керосина, нефти, и на каждом – надпись огромнейшими буквами: “НОБЕЛЬ”, “НОБЕЛЬ”, “НОБЕЛЬ”...

Напротив нобелевских владений – завод сельскохозяйственных машин Фильверка и Дидина. Завод не работает со времен войны. С пуском его не торопятся. Крупных помещиков, которые могли бы покупать сельскохозяйственные машины, теперь нет, а крестьянам-единоличникам машины вроде как бы ни к чему – да и не по карману. Дальше, по ту же, то есть по правую, сторону шоссе – папиросная фабрика. За ней – завод “Ауто”. Нет, это не автозавод. Автомобилей в нашей стране тогда еще не делали. “Ауто” – небольшой авторемонтный завод. Автомашины покупали за границей, а вот ремонтировать приходилось уже самим. Правда, автомобили на городских улицах были уже не редкость, но ездили главным образом все же на лошадях. Дальше, тоже по правую

сторону, – узенькая фабричная улица. На ней – небольшой кинотеатрик “Рекорд”. Когда-то в этом “Рекорде” я впервые в жизни увидел кинофильм. Чуть дальше, но уже по левую руку, – Борщаговская улица. Узенькая, кривая, убийственно длинная, одноэтажная улица моего детства. Она для меня полна воспоминаний, главным образом военного содержания. В военном отношении ей особенно повезло. Какая бы армия ни брала Киев, она обязательно вступала в город по Борщаговской улице. Какие только войска не протопали по ее булыжной, ухабистой мостовой!

Но... мимо!

Мимо воспоминаний!

Вот уже Борщаговская с моим прошлым далеко позади. А впереди мое будущее: Киевский политехнический институт, на химический факультет которого я мечтал поступить. С каким-то душевным трепетом я всегда проходил мимо этой красивой чугунной решетки, за которой вдали виднелись корпуса института.

Сбудутся ли мои мечты?

Как бы мне хотелось, чтоб они сбылись!

А вдруг не сбудутся?

Что тогда?

Какая-то непонятная тревога овладевала душой. И что-то приятное было в этой тревоге. Как перед решающей схваткой. Кто победит?

Жизнь меня или я ее?

Мимо!

Мимо будущего!

Институт позади, а впереди – чугунолитейный завод Греттера и Криванека. Завод уже восстановлен, и трубы его дымят. Правда, теперь уже без Греттера и Криванека. И даже имя ему дано

новое: завод “Большевик”. Гордое имя.

Здесь город кончается. Начинается просто пустырь. Это по левую сторону шоссе. Зато по правую... Гремите, литавры, трубите, трубы... Впереди – джунгли моего детства: львы, тигры, питоны и крокодилы, медведи и леопарды, зубры, шакалы, страусы, лоси, койоты, верблюды, слоны, фламинго, дикие собаки динго, обезьяны, тюлени, лебеди, муравьеды, кенгуру, утконосы... Зоопарк!

...Разжившись деньгами на билет, мы четверо (я с братом и двое наших приятелей) отправляемся с утра в зоопарк. Здесь мы пропадаем у клеток, вольеров и загородок с животными до тех пор, пока у всех, как говорится, не подведет животы. Странная смесь ощущений. Целая палитра эмоций! Жалко беднягу мишку, которого заперли в тесной клетке и даже погулять не пускают. Он смотрит на нас добродушным, умоляющим взглядом. Да что мы можем для него сделать? Если бы могли, честное слово, выпустили бы! Страусам лучше: им отведена довольно большая территория, есть где побегать. Диким уткам, гусям, лебедям совсем хорошо: они беззаботно плавают и ныряют в своих водоемах и не помышляют о том, чтоб куда-нибудь улететь.

Волков нам тоже, в общем-то, жалко. Но мы не прочь их иногда подразнить: суем сквозь решетку клетки палки. Волки с ожесточением кусают палки. Шерсть на них дыбом, острые зубы оскалены, глаза горят бешеной ненавистью. Нам страшно.

Больше всего времени мы проводим, конечно же, возле клеток с обезьянами. Это природные акробаты. К тому же очень смешат своим сходством с людьми. Бывало, нахохочемся за день так, что до вечера животы болят.

В общем, зоопарк был для нас чем-то вроде модели земного шара в миниатюре. Там были уголки, где, казалось, не ступала нога человека. Насмотревшись на зверей, мы спускаемся в глубокий овраг, склоны которого заросли деревьями так густо, что лучи солнца не пробиваются сквозь листву. Спустившись на дно

оврага, мы путешествуем по этой сумрачной терра инкогнита и пробираемся на старую, заброшенную территорию зоопарка, где, судя по полуразрушенным бетонированным берегам, были когда-то водоемы для водоплавающих птиц или для рыб. Теперь эти водоемы пересохли, и, роясь на их дне в песке, мы отыскиваем монетки, главным образом серебряные пяточки, а иногда гривенники старой, царской чеканки. Нам непонятно, почему монетки попадают именно там, где раньше была водная гладь, следовательно, никто не ходил и не мог обронить их. Лишь впоследствии я узнал о существовавшем в народе поверье, что если бросить монетку в какой-нибудь водоем – в бассейн фонтана, в море или в реку, – то это приносит счастье. Если при этом задумать какое-нибудь желание, то задуманное исполнится...

Ну, вот и зоопарк уже позади. Мы совсем отрываемся от города с его цивилизацией и культурой. Перед нами открытое поле. Начинаем сливаться с природой. Здесь наш четвероногий Ванька уже не производит впечатления ходячего анахронизма. Нет здесь ни непрерывного потока людей, ни пугающих самодвижущихся тележек. Вон только по обочине шоссе бредет какой-то одинокий человек. Но он добрый и, как видно, общительный. Остановившись, заговаривает с нами. Спрашивает, почему мы оба с братом идем пешком. Ведь один из нас мог бы ехать верхом. Можно чередоваться. Сначала один едет, а другой ведет коня на поводу, а потом другой едет, а первый ведет.

– Ну, с кого начнем? С тебя, что ли? – спрашивает добрый человек и помогает мне взобраться на спину коня.

И вот я уже верхом на коне. Впервые в жизни. Страшновато, конечно. Особенно когда конь начинает шагать. Но ничего. Можно держаться за гриву. Понемножечку привыкаю к положению всадника. В то же время начинаю ощущать, что сидеть на спине у Ваньки не так уж удобно. Уж очень худая у него спина! Не гладкая. Из-за худобы хребет выпирает так, что кажется, будто сидишь на доске, поставленной вдоль конской спины ребром. Шерсть на Ваньке мохнатая, торчащая в стороны, и скрадывает

худобу. Но когда сидишь верхом, то на ощупь хорошо заметно, как выпирают хребет и ребра. Неожиданное открытие, я бы сказал!

Павлушке, то есть брату, не терпится тоже покататься на лошади. Я спешиваюсь, держу коня под уздцы, жду, когда брат вскарабкается ему на спину. Снова отправляемся в путь. Потом опять еду я. Тут навстречу нам попадает еще один добрый человек. Он удивляется, почему один из нас едет, а другой плетется пешком. Говорит, что на лошади можно и двоим ехать. Так часто делают всадники, у которых на двоих одна лошадь. Мы, конечно, решаем последовать совету этого доброго человека. Брат велит мне сесть поближе к шее коня, отдает мне в руки поводья, залезает на коня и, сидя сзади, держится руками за мои плечи.

– Поехали, – говорит.

– Но! – говорю я и слегка ударяю коня пятками по бокам.

Мы продолжаем путь, но теперь мне страшно вдвойне. Во-первых, я уже не могу держаться за гриву, так как у меня в руках поводья; во-вторых, теперь коня никто не ведет, и я опасюсь, как бы он не помчался сдуру куда-нибудь по своему выбору. Конь, однако ж, никуда не мчится, а шагает все с той же скоростью, на которую, казалось, был запрограммирован со дня рождения.

Так мы путешествуем с полным “комфортом”, пока не встречаем еще одного доброго человека. Этот третий добрый человек был почему-то злой и принялся ругать нас с братом самыми последними словами. Так вот, этот добрый злой человек, всячески изругав нас, сказал, что бедный конь еле на ногах держится, что ему подышать пора, а мы два здоровых балбеса вздумали мучить бедное животное и забрались ему на спину. Наконец мы отъехали на такое расстояние, что перестали слышать все эти эпитеты и решили последовать совету этого доброго человека. Нам стало казаться, что конь вот-вот рухнет под

нами. На всякий случай мы оба спешили и дальше уже транспортировали коня по своему прежнему методу, то есть один спереди, другой сзади.

Добрые люди не оставляли нас между тем без своего внимания. Миновав поселок Святошино и прокрутившись по кривым улочкам деревни Беличи, мы встретили еще одного доброго человека, который участливо расспросил нас, откуда и куда мы ведем коня, узнав же, что мы ведем его в Ирпень, он сокрушенно покачал головой и сказал, что до Ирпеня конь, пожалуй, не дойдет, сдохнет. Этот диагноз привел нас с братом в уныние; к тому же очередной встреченный добрый человек без всяких околичностей осведомился, не на живодерню ли мы ведем коня, когда же узнал, что не на живодерню, только руками развел, с недоумением сказав, что куда же его еще можно вести, если не к живодеру.

В дальнейшем все встречные добрые люди уже не называли нашего коня иначе, как аргамак, орловский рысак, одёр, кляча, живой труп, ходячий шкилет и дохлятина, высказывая при этом самые пессимистические прогнозы относительно его ближайшего будущего. Когда мы наконец прибыли с конем домой, то искренне были удивлены, что слышанные нами в пути прогнозы не оправдались.

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

Я уже говорил, что отец постоянно жаловался на невезение, проклиная его на всяческие лады. Но как же могло везти, спрошу я вас, если делать все не по-людски, а шиворот-навыворот? Конечно же, сначала нужно было приобрести телегу, а потом уже покупать лошадь. Если я начну утверждать, что теперь легче купить автомобиль, чем в прежние времена телегу, то просто совру, потому что телегу вообще невозможно было купить. Телегу надо было делать на заказ, а тут уж приходилось иметь дело с плотником, колесником, а главное, с кузнецом.

Проще всего обстояло с плотником, а вот с колесником пришлось повозиться, потому что в Ирпене был только один колесник, да и тот очень старый, флегматичный и наполовину глухой. Он был

немец по национальности, а по фамилии Штокфиш. Правда, все жители называли его на русский лад: Штокич, но он не обижался, так как почти ничего не понимал по-русски. Он знал всего несколько русских слов, зато ругаться умел сразу на трех языках: на русском, польском и, конечно же, на немецком. Он постоянно сосал коротенькую деревянную трубку, набивая ее каким-то особенно вонючим табаком, который он выращивал на своем огороде. С этой трубкой в зубах и в огромнейших башмаках, выдолбленных из дерева, он был похож на голландского или фламандского крестьянина с картины Ганса Гольбейна-младшего. Обычно он по целым дням сидел на завалинке своего дома, греясь на солнце, и только приговаривал:

– Пэче!

То есть печет, припекает, пригревает.

Когда я приходил к нему, то заставлял обычно сидящим на этой завалинке с неизменной трубкой в зубах. На мой вопрос, готовы ли заказанные ему колеса, он только похлопывал себя рукой по накаленной солнцем коленке и, как бы не слыша моего вопроса, кивал в сторону высоко стоявшего в небе солнца, крутил головой и произносил уже известное мне слово:

– Пэче!

Непонятно было, радовался он или печалился по поводу того, что “пэче”, или просто удивлялся способности солнца накалять окружающие предметы.

Выслушав несколько раз подряд мой вопрос и выколотив о край завалинки свою носогрейку, он говорил, разводя, словно в недоумении, руками:

– Нема ни единой спицы сухая!

После чего снова набивал не спеша трубку, поднимался с завалинки и, повернувшись ко мне спиной, уходил в дом, выругавшись на прощание:

– Донэр вэтэр! Пся крэв! Тшорт побери!

Что такое “тшорт побери”, каждому русскому и без перевода ясно. “Пся крэв” по-польски означает “собачья кровь”. А “донэр вэтэр” – это немецкое ругательство, точного перевода которого даже сами немцы не знают. Я спрашивал многих немцев, что такое “донэр вэтэр”.

“Это такое ругательство, – объясняли мне. – Когда человек сердится, он говорит: “Донэр вэтэр”.

“Ну, это попятно. А что означают сами слова “донэр вэтэр” в переводе на русский?” – допытывался я.

В ответ на это немцы только руками разводили и говорили, что “донэр вэтэр” – это “донэр вэтэр”; когда немец сердится, он должен говорить: “Донэр вэтэр”.

Так я ничего и не уразумел, но про этот “донэр вэтэр”, а заодно и про “пся крэв” достаточно наслушался, пока наконец колеса были готовы, после чего наступила пора мучительства с кузнецом, который не хотел начинать делать телегу, пока не получит задаток, когда же наконец получил, не начинал потому, что у него была какая-то другая работа.

Пока дело тянулось с колесником да с кузнецом, Ванька пасся стреноженный на подножном корму: отъедался, подкармливался, как считал отец. Без телеги мы, конечно, не могли приспособить коня ни к какой работе и только катались на нем верхом для развлечения.

В начале лета, с возобновлением работ на бетонном заводе, я, как и в прошлом году, бил щебень и немного подрабатывал на нужные мне книги, но потом мы наколотили такое количество щебня, что его хватило бы заводу на весь год работы. Получился так называемый “кризис перепроизводства”, в результате которого все мальчишки, и я в том числе, были “уволены” и пополнили “армию безработных”, которых и без нас было предостаточно в те так называемые нэповские времена.

Помимо забот о траве, коне, огороде (в том году я снова посадил картошку), у меня было еще одно дело. В какой-то книге (уже не помню, был ли это очерк минералогии или геологическое описание) я прочитал, что золото – очень распространенный на земле металл и встречается в природе почти повсюду, но в крайне малых, микроскопических количествах. Наиболее богатые месторождения золота находятся у нас в Сибири. Но и в других местах было обнаружено золото. Так, например, золото было найдено на Украине, недалеко от Киева, в пойме реки Ирпень. Однако, как указывалось в книге, эти месторождения были настолько бедны золотом, что никакая промысловая добыча его не рентабельна. Иначе говоря, добыча этого золота обойдется дороже тех денег, которые можно за него получить.

И все же мысль о том, что где-то поблизости имеется золото, засела у меня в голове. В книге не указывалось, в каком именно месте на реке Ирпень было обнаружено золото, и я решил попытаться счастья, то есть поискать. Не знаю, то ли во мне проснулся так называемый поисковый инстинкт, то ли, может быть, меня начала одолевать свойственная мне маниловская мечтательность. Мой старший брат и его друг Толя Буськов, с которым он учился в художественной профшколе, говорили, что если я найду золотые россыпи, то все равно не смогу взять их себе, а должен отдать государству. Я отвечал, что вовсе не собираюсь брать себе россыпи и, конечно, отдам их государству, а сам буду работать на приисках и получать причитающуюся мне зарплату. Если же содержание золота в россыпях окажется скудным и государство не захочет разрабатывать их, оно не станет жадничать и не будет возражать, если я буду промывать золото на свой риск и на мою хотя бы на полтинник в день. Надо же мне, в конце концов, где-нибудь работать и хотя бы немного зарабатывать!

Когда брат и Толя Буськов отправлялись на берег Ирпеня писать этюды, я тоже шел с ними, прихватив с собой тазик для промывки песка и саперную лопатку, сохранившуюся у меня со времен войны. Брат посмеивался надо мной, называл меня

золотопромышленником, концессионером и говорил, что я заболел “золотой лихорадкой”.

Однако недаром, как видно, существует пословица: “Над чем посмеешься, тому и послужишь”. Скоро он и сам заболел, правда не золотой лихорадкой, а сходной болезнью, которая известна в народе под названием кладоискательства.

ОПЯТЬ ЭТА ТАЙНА!

Симптомы кладоискательства, которым заболел брат, заключаются в том, что человеку начинает казаться, что где-то поблизости зарыт клад, и человеком овладевает непреодолимое желание этот клад отыскать.

Началось это у брата таким образом. Однажды отец приехал домой поздно ночью и притом сильно на взводе. Вообще-то определить степень опьянения не было никакой возможности, так как, сколько бы ему ни пришлось выпить, он всегда держался на ногах твердо. Только в голове у него начинало что-то путаться. Он замечал, что из-за своего пристрастия к вину все больше терял уважение матери, и болезненно это переживал. Ему страшно хотелось, чтоб она его уважала, как уважала тогда, когда они встретились в молодости, полюбили друг друга и решили не расставаться всю жизнь и делить все радости и печали. Ему хотелось, чтоб все встречали его улыбками, чтоб все радовались его приходу, но, видя недовольное лицо матери, он расстраивался и старательно доказывал, что достоин всяческого уважения, но ему попросту не везет, его никто не понимает, но он еще всем что-то докажет и напишет книгу, и тогда всем все станет ясно, и все что-то увидят, и вот тогда только все что-то поймут... Он давно уже толковал, что напишет книгу, хотя всем было ясно, что никакой книги он написать не может, и все разговоры об этой книге обходились обычно без всяких последствий. Но на этот раз братец почему-то вдруг возьми и спроси:

— А как будет называться книга?

– А ты небось думаешь, что я не знаю, как она будет называться? – прицепился тут отец к брату.

– Ничего я не думаю. Я так просто спросил.

– Хотел над отцом посмеяться! – не отставал отец. – Вот, мол, батька твердит все, что напишет книгу, а сам даже не знает, как она будет называться! Нет, брат, батька у тебя не такой дурак. Он знает, что название для книги – это все. Будет название – будет и книга, а не будет названия, так и книги не будет. Понял?

– Ну вот мне и интересно, какое будет название. Его ведь еще придумывать надо, – ответил брат.

– Ничего не надо придумывать! Все уже сделано. Вот тут все есть, – отец похлопал себя ладонью по лбу.

– Ничего там нет, – махнул брат рукой.

– Чего нет? – удивился отец.

– Названия нет.

– А если я скажу, тогда что будет?

– Ну, тогда будет.

– Что будет? – не понял отец.

– Ну, название будет, – объяснил брат.

– Ну, так слушай, название будет такое: “Тайна на дне колодца”.

– Не модно, – махнул брат рукой. – Это во времена Диккенса такие названия книгам давали. А теперь мода другая.

– Какая же теперь, по-твоему, мода?

– Вот если б ты, к примеру, книгу назвал “Бред сивой кобылы” или “Сарынь на кичку, елова шишка”, то было бы модно, или,

например, “Печаль полей винцом полей”...

– Каким винцом? – с недоумением спросил отец.

– Будто не знаешь, какое винцо бывает!

– А! Издеваешься! – закричал отец.

Он бросился на кухню, схватил топор, но брат успел выскочить за дверь. Отец выбежал во двор и принялся гоняться вокруг дома за братом. Мы все с тревогой глядели в окна, наблюдая за этой погоней. Хотя я и понимал, что отец просто хотел попугать брата, но все-таки было страшно смотреть, как он бегал за ним с топором в руках при лунном свете.

Уже было часа два ночи, когда отец наконец уgomонился и лег спать.

– Что он там вчера про тайну на дне колодца трепался? – спросил меня на другой день брат.

Мы оба вспомнили, что когда-то, в детстве, уже слышали об этой колодезной тайне и пытались ее разгадать, а потом уже о ней и не думали. Но тут отец снова сказал о ней, что дало толчок нашим мыслям. Брат высказал предположение, что отец зарыл на дне колодца какой-нибудь клад, потому что если бы клада не было, то и никаких разговоров о какой-то там тайне не было бы.

Как раз перед этим я прочитал в каком-то журнале статью о кладах. Сейчас я уже не помню, что это был за журнал: не то “Вокруг света”, не то “Хочу все знать”, не то издававшийся в те времена журнал “Глобус”. В статье писалось, какие бывают клады, почему они возникают и как их отыскивают. При этом рассказывалось, как незадолго до революции группа каких-то не то преступников, не то экспроприаторов (сейчас уже точно не помню) напала на поезд и ограбила вагон, в котором перевозили серебряные слитки. Остановив поезд, они нагроузили этими слитками телегу и умчались на тройке лошадей. На след похитителей, однако, вскоре напала полиция. Тогда они спрятали

слитки, а сами разбежались кто куда. Полиции, однако, удалось задержать одного из них. На допросе он сознался, что похитители бросили слитки в колодец, только он не знает, в какой именно, потому что сам не участвовал в этом деле. Полиция после этого обыскала множество колодцев во всей округе, но слитков так и не нашла.

Когда я рассказывал эту историю брату, он сказал, что слитки, наверно, лежат в нашем колодце и отец об этом знает.

– Ты еще скажешь, что отец был в этой шайке, которая похитила слитки! – ответил я.

– А что ты думаешь, по пьяной лавочке еще и не то можно сделать, – сказал брат. – Сегодня он за родным сыном с топором гоняется, а завтра возьмет да и поезд ограбит.

– Но слитки-то ведь были похищены тогда, когда отец еще не пил, – возразил я.

– Это верно, – согласился брат. – Но, может быть, они бросили слитки в наш колодец, а он про то и не знает.

– Почему же он тогда твердит, что тут какая-то тайна?

– Правда. Он не может не знать. И я буду не я, если не узнаю, что там за слитки.

– Но если ты вытащишь слитки, то могут узнать, что это он их похитил. Это может для него плохо кончиться, – сказал я.

– Это ничего, – сказал он. – Во-первых, слитки были похищены еще при старом режиме. А во-вторых, мы будем действовать осторожно. Сначала посмотрим, что там есть, а потом будем смотреть, что делать.

По плану братца нужно было вычерпать из колодца воду, как это делал отец, когда вылавливал лягушек, после чего спуститься вниз и покопаться на дне. Для того чтобы не возникло каких-нибудь подозрений у соседей, мы решили сделать вид, что берем

воду для поливки огорода.

Прокопав канавку, чтоб вода сбегала от колодца к посаженной мной картошке, мы принялись таскать воду в четыре руки, то есть двумя ведрами. Пока один выкручивал ведро воротом, другой вытаскивал ведро на веревке. Я позаботился, чтоб вода, бежавшая по канавке, равномерно растекалась вдоль картофельных рядов. Время было жаркое, и поливка была очень кстати. Часа два мы трудились как каторжные, пока не достигли дна. Тогда брат спустился вниз по веревке, стал наполнять ведра песком со дна, а я выкручивал эти ведра наверх и вываливал песок прямо на землю возле колодца. Уже не помню, сколько мы этих ведер вытащили. Братец наконец выбился из сил и, ухватившись за веревку, сказал, чтоб я тащил его кверху. Я попытался крутить ворот, но это оказалось мне не по силам. Тогда брат сказал, что мы дураки, потому что надо было спускаться в колодец мне. Я легче его, и он смог бы меня выкрутить из колодца. Я сказал, что он может выбраться по веревке сам. А он сказал, что не может, так как он перетрутился и на то, чтоб карабкаться по веревке, уже нет сил. Я сказал, чтоб он отдохнул, потому что, когда он отдохнет, силы его восстановятся и он сможет выкарабкаться.

Он стал отдыхать. А день между тем кончился. Стало смеркаться. В колодце сделалось совсем темно, и брату стало там страшно. К тому же колодец постепенно наполнялся водой, и брат стал бояться, что он утонет. Я сказал, что позову кого-нибудь на помощь. А он сказал, чтоб я не смел, потому что тогда все над нами будут смеяться. Но поскольку он все время твердил, что ему и страшно и холодно, мысль моя стала усиленно работать, в результате чего я додумался, как ему помочь. Я сказал, что брошу ему веревку, а он пусть обвяжется ею. Я буду его поднимать на этой веревке, а он пусть ухватится руками за ту веревку, которая привязана к вороту, и поднимается вверх по этой веревке. Таким образом, я буду помогать ему лезть вверх, а он будет помогать мне тащить себя. В конце концов мы так и сделали и соединенными, так сказать, усилиями вытащили его на

поверхность.

Выкарабкавшись из колодца, брат с досадой пнул кучу вытащенного нами песка ногой, плюнул на нее и сказал, что мы с ним дураки, что никаких слитков на дне колодца нет и не было, что никакие дураки не стали бы бросать слитки в чужой колодец, а если и были там слитки, то какие-нибудь дураки их уже давно и без нас достали, что я как хочу, а его лично в колодец больше никакими коврижками не заманишь. Он так говорил, словно это я сказал, что там слитки. Правда, я сказал, что читал статью, но что слитки у нас в колодце, я ничего не говорил. Это он сам домыслил, а теперь оказалось, что я во всем виноват.

ДРУЗЬЯ

В тот вечер, когда мы вернулись домой, отец сказал, что кузнец завтра начинает делать нашу телегу, и велел прислать помогать мальчишку. Поскольку мальчишкой в нашей семье мог считаться скорее я, нежели старший брат, то было решено, что именно я и пойду.

– Там ничего делать не надо, – сказал отец, – будешь только раздувать горн.

Кузница была на краю Ирпеня, под самым лесом. Это было старое, черное, насквозь прокопченное дымом деревянное строение, вроде покосившегося набок сарая, без окон, с широкой дверью, которая всегда была распахнута настежь, так как свет в кузницу мог попадать только через эту дверь. Посреди кузницы, прямо против двери, на огромном деревянном чурбане, напоминавшем древесный пень, стояла наковальня. Неподалеку от наковальни, слева, был горн, дым от которого выходил из помещения через ту же дверь. С другой стороны, то есть справа, был грубо сколоченный крепкий дубовый стол, врытый в землю всеми четырьмя ножками, с привинченными к нему тисками. В темных углах сарая валялся покрытый пылью и копотью разный железный хлам. У наковальни обычно стоял огромный пудовый молот, именуемый в просторечии кувалдой.

Сам кузнец был невысокий, короторукий и коротконогий, коренастый мужик, заросший до самых ушей дремучей, торчащей во все стороны бородой, отчего голова его казалась вдвое больше, чем нужно. Я решил, что он нарочно не брил бороду, потому что постоянно имел дело с раскаленным железом, от которого, словно метеориты, разлетались во все стороны искры. Эти “метеориты” обычно застревали в его бороде и не могли нанести вред коже лица и шеи.

Горн, раздувать который было моей обязанностью, представлял собой совсем не то, что я думал. С подобного рода механизмом я уже давно был знаком. У родственников моего приятеля Гучи, живших по соседству с нами в Киеве на Борщаговской улице, была своя не то что кузница, а целая кузнечная или механическая мастерская. Они брали заказы на изготовление разных буравов для бурения земли, лемехов для плугов, гаек, болтов и прочих металлических изделий. Мы с Гучей часто наведывались в эту мастерскую посмотреть, как у них идут дела. Нас, мальчишек, обычно не прогоняли, а, наоборот, иногда даже давали покрутить какой-нибудь из горнов. Горны у них в мастерской были железные, с педалью, как у швейной машины. Нажимая на эту педаль, можно было приводить во вращение колесо, которое, в свою очередь, вертело вентилятор, заключенный в металлический кожух. Струя воздуха от этого вентилятора целиком направлялась на тлеющий каменный уголь и раздувала пламя. Вертеть такой горн было одно удовольствие и не составляло труда даже для ребенка.

По сравнению с этим механизмом, сделанным по последнему слову техники, горн нашего ирпенского дремучего кузнеца представлял какую-то доисторическую фукалку, с помощью которой раскаляли металл при изготовлении наконечников для стрел наши предки еще в начале бронзового или железного века. Здесь не было ни педали, ни колеса, ни вентилятора, а были кожаные мехи вроде гармошки. Эту гармошку нужно было все время растягивать и сжимать при помощи рычага, как у ручного насоса, чтоб выжимать из нее струю воздуха, который раздувал пламя в горниле.

Гармошка эта хрипела, шипела, воздух из нее вырывался не только туда, куда надо, но во все стороны, в результате чего усилия тратились непроизводительно, и, чтоб раскалить железо до нужной температуры, приходилось затрачивать столько усилий, что дух, казалось, готов был выскочить из груди вон. Вся беда заключалась в том, что нельзя было передохнуть ни на минуточку, так как железо начинало тут же стынть, и, чтоб нагреть его снова, приходилось как бы наверстывать упущенное и затрачивать еще больше усилий.

Кузнец сам почти ничего не делал, так как всю основную работу выполняли я и его сын Алеша. Как только железо в результате затраченных мной усилий раскалялось до нужной кондиции, кузнец брал его клещами, клал на наковальню и говорил:

– Алеша, вдарь!

И Алеша, вооружившись пудовым молотом, начинал “вдарять”. По всей видимости, он был опытным молотобойцем. Молот в его руках начинал двигаться снизу, от самой земли, описывал в воздухе круг и с размаху вдарял по раскаленному железу, после чего отскакивал в сторону. Алеша давал молоту опуститься вниз, опять почти до земли, и, не задерживая кругового движения, снова поднимал над головой и с силой опускал на обрабатываемую деталь. Кувалда кружилась в воздухе, непрерывно нанося железу удары. Кузнец только поворачивал нужной стороной обрабатываемую деталь и в перерывах между ударами молота стучал по ней небольшим молотком. Эти удары не приносили, однако ж, никакой пользы, а производились как бы для ритма. Когда кузнец ударял не по успевшей остыть детали, а рядом с ней, то есть просто по наковальне, это служило Алеше сигналом к прекращению работы кувалдой.

Алеша опускал молот на землю и, опершись на его ручку, отдыхал, тяжело дыша всеми ребрами, словно загнанная лошадь. От обильного пота рубашка прилипала к телу, так что ребра были хорошо видны. Кузнец тем временем совал успевшее потемнеть железо в горн и говорил мне:

– Качай.

Теперь наступала моя очередь доводить железо до белого каления, а себя – до состояния загнанной лошади, после чего Алеша снова начинал “вдарять”, а я отдыхал. Такое разделение труда и отдыха было, безусловно, необходимо, так как если бы Алеше самому приходилось и раздувать горн и работать молотом, он бы просто не выдержал. Недаром говорится: “Куй железо, пока горячо”. И Алеша ковал, пока оно было горячо, я же разогревал, пока оно не успевало растерять остатки тепла. В результате мы оба выматывались. К счастью, в нашей работе часто бывали спасительные перерывы, когда кому-нибудь из клиентов кузнеца требовалось подковать лошадь, починить колесо или что-нибудь еще. В таких случаях все работы по изготовлению нашей телеги откладывались, и мы с Алешей получали возможность отдохнуть.

Алеша был высокий, почти на голову выше меня... я хотел сказать – парень или юноша, но скажу лучше – мальчик, каким он остался в моей памяти. Наверно, он был годом старше меня, но очень худой (я тоже, нужно сказать, был не толстый). Лицо его поражало бледностью, без какого-либо следа загара или румянца на щеках. Глаза сидели глубоко, и от этого он казался неприветливым, суровым. Я ни разу не видел, чтоб он улыбался. К тому же он постоянно молчал. Отец его тоже не отличался многословием. Весь лексикон его, как мне показалось, состоял из двух фраз. Первая: “Алеша, вдарь”, вторая: “Качай”. С первой фразой он обращался к сыну, со второй – ко мне. Что же касается Алеши, я не помню, чтоб он сказал мне хоть слово. Он все делал молча, с какой-то сосредоточенной, напряженной, тупой угрюмостью. Мне начинало казаться, что он отупел от тяжелой работы, к которой отец начал приучать его с малых лет, и вырос ограниченным, недоразвитым, дефективным, кем-то вроде дегенерата или, как теперь говорят, некоммуникабельным, что ли.

Когда у нас получался перерыв в работе, он не принимался болтать о чем-нибудь, как другие ребята, а выходил за дверь, садился на низенькой лавочке, стоявшей у стены кузницы, и

молча смотрел на зеленую лужайку, пестревшую полевыми цветами, на лесную опушку, на небо. Постепенно дыхание его становилось менее глубоким и более ровным, напряженное выражение лица сменялось спокойным, он даже иногда бросал взгляд в мою сторону, если я сидел рядом, и мне казалось, он вот-вот заговорит, но он только молча вздыхал и снова с каким-то непонятным для меня интересом разглядывал и траву, и деревья, и небо, словно видел все это впервые. Я не решался заговорить с ним: думал, он сердится на меня за то, что ему приходится делать для нас телегу.

Основная задача кузнеца заключалась в том, чтоб выковать переднюю и заднюю оси телеги. Для этого надо было как бы расплющить, растянуть в длину два железных бруска так, чтобы в средней части, где оси крепятся к телеге, они имели прямоугольное сечение, а по краям, где надевают колеса, были круглые. Все это достигалось путем горячей обработки железа, то есть посредством битья по раскаленному куску железа молотом. В теперешние времена, если понадобится подобного рода работа, используют паровой или электрический молот, для раздувания пламени в горне включают электромотор, тогда же вся эта горячая обработка производилась исключительно при помощи мускульной силы.

Однако все эти мучения с горячей обработкой были лишь цветочки. Ягодки появились позже, когда началась так называемая холодная обработка. Вот тогда-то я и узнал, как говорится, почем фунт лиха. Для того чтобы колеса не соскочили с телеги, их надо было закреплять гайками. Для этого на осях и внутри гаек надо было делать винтовую нарезку. Чтоб сделать нарезку, ось укреплялась в вертикальном положении в тисках, и дальнейшая обработка велась при помощи инструмента, известного в технике под названием прибора для нарезки винтов вручную. Этот прибор представлял собой как бы две соединенные железные рукоятки или два рычага, между которыми было утолщение с четырехугольным отверстием. В это отверстие вставлялись плашки, то есть режущие детали из твердой стали с

винтообразными выступами. Когда плашки навинчивались с помощью рычагов на ось, они как бы снимали с металла стружку, оставляя на оси винтообразную бороздку. При первом прокручивании эти бороздки были неглубокие, потом плашки в приборе менялись на такие, которые оставляли на оси более глубокие следы... и так до тех пор, пока не получалась хорошая, полноценная нарезка.

Нарезку как гаек, так и осей приходилось делать по холодному, то есть не размягченному нагреванием металлу, так как плашки не должны были нагреваться, иначе они быстро затупились бы и пришли в негодность. Снимать же стружку с холодного металла было чертовски трудно. Мы с Алешей действовали в четыре руки. В то время как он толкал рычаг с одной стороны, я толкал другой рычаг с другой стороны, в результате чего плашки навинчивались на ось. Когда вся эта планетарная система поворачивалась на сто восемьдесят градусов, я перехватывал Алешин рычаг, а он мой, и вращение продолжалось до тех пор, пока мы оба в изнеможении не падали грудью на рычаги (каждый со своей стороны) и повисали в таком положении, стараясь отдышаться. Усталость по временам была такая, что дыхание перехватывало в груди и становилось тошно.

Меня удивляло, что Алеша, который так ловко орудовал пудовым молотом, уставал на этой нарезке не меньше, чем я. Постепенно я понял, что у него сил было не больше, чем у меня, с молотом же он управлялся ловко лишь потому, что приобрел сноровку, но и это, как видно, тоже доставалось ему нелегко.

И вот однажды, прокручивая очередную плашку, мы оба, выбившись из сил, в одно и тоже время упали на рычаги и бессильно повисли на них, еле переводя дух от усталости. И я, взглянув мельком на Алешу, заметил, что и он в это же время взглянул на меня. Наши глаза встретились. И Алеша при этом как-то не то утвердительно, не то отрицательно качнул головой, и в его глазах я увидел что-то глубоко осмысленное, глубоко понимающее. Он как бы выразил мне сочувствие и в то же время высказал жалобу, прося сочувствия у меня. Этот взгляд сказал мне больше, чем все слова, которые он мог бы произнести.

И я увидел, что он вовсе не отупел от тяжелой работы, а мог чувствовать все, как и я, как и все остальные люди.

Во мне росло неприязненное чувство к его отцу. Все знали, что он давал за проценты под заклад деньги, то есть занимался ростовщичеством. Если ему вовремя не возвращали долг, он продавал взятую в заклад вещь с выгодой для себя. Таким образом, деньги у него имелись, и он мог нанять себе помощника или молотобойца, без которого в кузнечном деле не обойтись. Но если в царское время он мог взять молотобойца в качестве ученика, который работал бы за харчи, то есть за пропитание, то теперь, по советским законам, он должен был платить ему положенную зарплату. А ему расставаться с деньгами не хотелось, и он фактически эксплуатировал своего сына.

Так я думал. В то время я читал книжки по политэкономии, по истории революционного движения. В моем воображении этот кузнец-ростовщик представлялся мне в образе кулака-миroeда или капиталистической гидры, а мы с Алешей были пролетариат и могли сделать революцию. Но революция уже была сделана без нас, так что нам оставалось помалкивать и работать. В общем, этот кузнец был жадина и эксплуататор. Он, наверно, и меня заставил бы ковать железо, если б не боялся, что из-за неопытности я трахну кувалдой не по железу, а ему по рукам, так что он никогда в жизни уже больше ничего не сможет ими хватать.

Кроме осей и шкворня, мы наковали с Алешей разных болтов и гаек, сделали на них нарезки, наготовили скоб для крепления частей, разных дужек, втулок, крючьев, колец — и все это молча. Однажды я пришел в кузницу, но Алеши там не было. Он был во дворе, на крыльце дома, где они жили, и разговаривал с матерью. Она посылала его не то в магазин, не то на рынок, а он отвечал, что все понял, что пойдет и все сделает и все принесет. В его голосе слышалась радость. Должно быть, радовался, что можно куда-то пойти, вместо того чтоб торчать в этой осточертевшей кузне. И он щебетал, словно вырвавшаяся на свободу птица.

Я впервые слышал, как он говорил! И я почему-то очень обрадовался этому. Незаметно для самого себя я успел привязаться к нему и чувствовал, что мы с ним друзья, хотя так и не сказали друг другу ни слова. Никогда не слышал, чтоб где-нибудь на свете были еще двое таких вот друзей.

ЗАВЕСА ПРИОТКРЫВАЕТСЯ

Не было железа для изготовления шин, и постройку телеги пришлось приостановить. Кстати, уже давно нужно было собрать урожай картошки, о которой я перестал думать из-за всех этих кузнечных дел. В первый же свободный день мы с братом отправились на огород с лопатами и мешками. Прихватили с собой также и малышей и коня Ваньку в качестве вьючного животного для перевозки или, может быть, вернее сказать, для переноски мешков с картошкой домой.

Когда мы пришли на огород, то первое, что привлекло мое внимание, была кучка песка, которую мы с братом выгребли из колодца. Я заметил, что Павлушка перехватил мой взгляд и как-то внутренне, про себя, усмехнулся. Я сразу понял, над чем он смеется. С тех пор как я заболел этой, как он называл, золотой лихорадкой и побродил с тазиком для промывки по берегам реки, у меня выработалось что-то вроде условного рефлекса на песок. Если я видел белеющий где-нибудь песок, то ли на пляже, то ли на железнодорожной насыпи, или мне просто на глаза попадалась песчаная куча, меня так и тянуло взять тазик и попробовать промывать этот песок: вдруг там обнаружатся золотые крупинки.

Я увидел, что брат угадал мою очередную дурацкую мысль. После этого я уже старался даже не глядеть больше в сторону колодца.

Целый день мы провозились с уборкой картошки, а вечером, когда все уже легли спать, я дал волю своей фантазии, и мне вдруг стало казаться, что моя дурацкая мысль не такая уж дурацкая. Если я пробовал промывать песок вдоль всех берегов реки, то можно было промыть и тот, который мы вытащили из колодца. Меня охватила какая-то непонятная уверенность, что там есть золото. Эта мысль так взволновала меня, что я долго не мог уснуть.

Какое-то нетерпение охватило меня. Хотелось тут же вскочить и бежать к колодцу с тазиком для промывки песка.

Постепенно я, однако же, успокоился. Или сон меня одолел. Сейчас я уже в точности не могу вспомнить. А наутро проснулся поздно да еще решил поваляться в постели, поскольку, к величайшему моему удовольствию, не надо было идти к кузнецу. О своем намерении промыть песок я даже забыл и, только после того как позавтракал, вспомнил, подумав с какой-то самоиронией: “Что за чушь может прийти в голову, когда размечтаешься!” Вскоре все же я пришел к мысли, что, возможно, это не такая уж чушь, а еще через небольшой промежуток времени я и вовсе забеспокоился. Мне начали лезть в голову мысли, что, пока я здесь прохлаждаюсь, кто-нибудь из соседей возьмет этот песок для какой-нибудь своей надобности: ну, хотя бы посыпать дорожки или употребить для приготовления штукатурки, чтобы обмазать стены.

Не прошло и пяти минут, как я уже лихорадочно искал свой тазик, который куда-то запропастился. Брата не было дома, и я подумал, что он, должно быть, куда-нибудь ушел писать свои этюды. Я решил поискать в сарае и, выйдя во двор, неожиданно увидел брата бегущим из-за железнодорожной насыпи к дому. Лицо его было встревожено. От быстрого бега он ничего не мог сказать, а только молча протягивал мне тазик, который держал в руках. Только теперь, заметив у него свой тазик, я понял, что произошло нечто непоправимое.

– Кучу украли? – спросил я испуганно.

– Какую кучу? – с недоумением спросил он.

– Ну, песок!

– А! – махнул он рукой. – Я золото нашел. По-моему...

– Какое золото?

– Ну, какое золото бывает, – пожал он плечами.

– Где же оно?

– А вот! – И он протянул мне тазик, который держал в обеих руках.

На какой-то момент у меня мелькнула мысль, что он спятил с ума.

– Где же золото?

– Ну, в тазу.

– Так он же пустой!

– А ты хотел, чтоб был полный? Это никакой дурак, я думаю, не отказался бы!

Я взял у него тазик и внимательно осмотрел. На дне было с десяток темных песчинок.

Брат сказал:

– Ты химик. Ты можешь определить, золото это или, может быть, какая-нибудь мура?

Взяв стеклянную пробирку, я осторожно собрал в нее песчинки и принялся разглядывать их в увеличительное стекло. Они отсвечивали металлическим блеском.

– Где ты это нашел? – спросил я.

– Ну, в песке.

– В каком песке?

– Ну, в куче, которую мы из колодца вытащили.

– Ты всю кучу промыл?

– Нет, я только попробовал. Там еще много, наверно.

– Тогда надо бежать, – говорю.

– Куда?

– Промывать песок. Куда же еще!

– А анализ не надо делать?

– Анализ, – говорю, – потом. Сейчас надо бежать, пока не растащили кучу.

– Кто же ее растащит?

– Ну, мало ли кто. Может быть, кто-нибудь видел, как ты мчался как сумасшедший.

Теперь мы уже как два сумасшедших побежали с тазиком обратно к колодцу. К моей радости, куча оказалась на месте. Бросив в тазик пригоршни две песка и наполнив его до половины водой, я принялся усиленно встряхивать тазик круговым движением и, когда вода как следует замутилась, выплеснул ее вместе с песком. На дне таза остался как бы мазок желтоватого цвета.

Золото! Это было, безусловно, золото. Все происходило, как в прочитанных мной рассказах про золотоискателей. Собрав со дна таза золотые песчинки, образовавшие этот живописный мазок, в пробирку, я снова наполнил его песком и водой. Брат вырвал у меня таз из рук. Принялся встряхивать. Выплеснул. Что-то неудачно у него получилось. Мазка не было. С трудом мы нашли на дне три-четыре песчинки.

– На, болтай лучше ты, у тебя больше опыта, – сказал брат, отдавая мне таз.

Я принялся промывать песок. Дело шло с переменным успехом. Иногда получался вполне заметный мазок, как и в первый раз. В другой раз вся добыча ограничивалась одной или двумя песчинками. Случалось и так, что совсем ничего не было. Видно, распределение золота в песке имело неравномерный характер. И все же, когда весь песок был промыт, пробирка оказалась почти наполовину наполнена темным, непросвечивающимся песком. Она казалась тяжелой, словно в нее насыпали свинцовой дроби.

– Это, несомненно, металл, – сказал брат, – но какой? Может быть, это вовсе и не золото?

– Вот придем домой и установим точно, – ответил я.

– А как мы установим?

– Увидишь.

Дома я занялся химическими опытами впервые с тех пор, как мы вернулись в Ирпень из Киева. Укрепив на специальной деревянной подставке три пробирки, я бросил в каждую из них по несколько крупинок добытого нами металла, после чего в одну пробирку налил крепкой соляной кислоты, во вторую пробирку – серной, в третью – азотной.

Брат впервые с интересом отнесся к химии.

– Это что ты туда за вонючие жидкости льешь? – спросил он.

– Это не вонючие жидкости, – авторитетно ответил я, – а серная, соляная и азотная кислоты. Если крупинки хоть в одной из этих кислот растворятся, то это не золото.

– А если не растворятся?

– Ну, тогда золото, – развел я руками.

– А если, допустим, в серной растворятся, а в соляной и азотной не растворятся? – продолжал спрашивать брат.

– Тогда не золото, – объяснил я. – Золото не растворяется ни в серной, ни в соляной, ни в азотной кислотах.

– А долго надо ждать?

– Ну, я не знаю. Я ведь с золотом никогда не имел дела. Подождем до завтра.

– Это до завтра ждать! – ужаснулся брат.

– Зато уж наверняка будет, – утешил я его.

– Отцу ничего говорить не надо. Ему не понравится, что мы раскрыли его тайну, – предупредил брат.

– А он, думаешь, знает, что в колодце золото?

– Почему же он, по-твоему, про какую-то колодезную тайну болтал? Ясно, знает, – сказал брат. – Должно быть, когда колодец копали, он попробовал промывать песок и нашел золото. Он ведь видел, как промывают в Сибири золото, когда на японскую войну ходил.

– Да, – вспомнил я. – Он ведь и сам там нашел золото, которое во флаконе.

– Верь ты ему! – с презрением сказал брат. – Это он не там нашел, а здесь.

– Где здесь?

– В колодце. Где же еще?

– Почему же он говорит, что в Сибири?

– А что он, дурак, чтоб говорить, что не в Сибири? Станет говорить, что у него в колодце золото, чтоб каждый дурак лазил к нему в колодец за золотом! Он не дурак!

– Значит, то золото, которое у него во флаконе, вовсе не из Сибири, а из нашего же колодца?

– Ясно.

Крупинки между тем без всякого изменения лежали на дне пробирок. Кислоты, по всей видимости, на них совершенно не действовали. У меня почти не оставалось сомнения, что наша находка – золото.

– А почему тебе пришло в голову там искать? – спросил я брата.

– Когда ты вчера посмотрел на песок, я сразу подумал, что ты подумал, что там золото. А вечером я лег спать да и думаю:

вдруг там на самом деле золото? Ты уже везде искал, а там не искал. Должно же оно где-нибудь быть, думаю.

– Почему же ты мне не сказал?

– Я думал, ты спишь.

– А утром?

– Утром не хотел тебя будить. Ну, и думал, вдруг там никакого золота не окажется и ты будешь надо мной смеяться, скажешь: заболел золотой горячкой.

Он стал спрашивать, почему золото могло оказаться на такой глубине. Я объяснил, что золото находит по берегам рек, потому что вода размывает природные месторождения и уносит крупинки золота, которые оседают по берегам и на дне. Реки часто меняют русла. Старое русло может засыпаться песком, на его месте может образоваться дюна, поэтому золотоносный слой может обнаружиться на глубине.

– Тогда надо поискать золото на участке там, где пониже. Колодец – на возвышенности, а мы пороемся в более низких местах. Там, может быть, только копни – тут же золото, – высказал предположение брат.

Поскольку исследуемые частички в пробирках не подверглись за ночь воздействию кислот, мы со следующего же дня принялись за геологические изыскания. Делалось это так. Снимался слой чернозема толщиной около метра, то есть, говоря проще, копалась яма глубиной с метр. Под слоем чернозема обнаруживался слой песка. Этот песок мы пробовали промывать и, не обнаружив в нем ни крупинки золота, начинали рыть яму в другом месте.

Через несколько дней у брата уже начались занятия в профшколе, и он сказал:

– Мы с тобой тут как дураки роемся, а может быть, это и не золото вовсе. Ты ведь не ювелир. Лучше я отнесу пробирку

Апельцыну и узнаю точно.

– А если Апельцын спросит, где ты взял этот песок?

– Скажу, отец из Сибири привез.

На другой день, уезжая в Киев, брат захватил с собой пробирку с нашей добычей, а вечером вернулся в таком виде, что я сразу и не узнал: в модном однобортном коверкотовом пиджаке, в таких же брюках-дудочках, то есть суживающихся книзу, по тогдашней моде; из-под брюк выглядывали наимоднейшие пестрые носки, на ногах – остроносые штилеты из желтой кожи, на голове – модная фетровая шляпа, и еще на шее у него был узенький галстук-гудочек, какие только входили в моду. Кроме того, в руках у него было два больших свертка.

Увидев, что я на него воззрился, он подмигнул мне и приложил палец к губам, чтоб я помалкивал. Мать, конечно же, сразу обратила внимание на перемену в его костюме и спросила:

– Где это ты все взял?

– Купил.

– А деньги откуда?

– Картину продал.

– Какую картину?

– Ну, свою картину “Зимний пейзаж”, – не моргнув глазом, ответил брат. – У нас в профшколе устроили выставку прошлогодних работ. Я еще весной дал для выставки этот пейзаж, и вот теперь его купил кто-то.

Мать только головой покачала. Я между тем развернул один из принесенных братом свертков, надеясь, что там костюм для меня. Но в свертке была аккуратно сложенная старая одежда брата. Зато в другом свертке оказался новенький модный непромокаемый плащ.

– Что же ты мне только плащ купил? – с обидой спросил я.

– Это не тебе. Это тоже мне, – сказал брат. – На тебя этот плащ велик будет.

Напялив на себя еще и этот плащ, он принялся вертеться в нем перед зеркалом, выпячивая грудь, как индийский петух.

– Сколько же тебе Апельцын заплатил за золото? – спросил я.

Брат назвал какую-то сумму.

– А сколько ты истратил?

– Все и истратил.

– Значит, тебе все, а мне ничего! – говорю.

– За что же тебе? Золото ведь я нашел. Ты вон сколько искал и ничего не нашел, а я взял пошел и сразу нашел.

– Вот что это проклятое золото с людьми делает! – сказал я, саркастически усмехаясь. – Вместе работали, вместе копали, а как только золото попало в руки, сейчас же – мое!

– Ну чего ты ерепенишься? – сказал брат. – В следующий раз найдем – твое будет.

– А где его найдешь? Мы уже весь участок обыскали.

– Чудак! Из колодца достанем. Там много.

– Под каким же предлогом ты сейчас в колодец полезешь? Тогда огород поливать нужно было.

– Предлог найдем. Если в это время кто-нибудь из соседей придет за водой, скажем, что я часы уронил в колодец.

– А ты что, еще и часы купил? – удивился я.

– Нет, на часы не хватило денег. В следующий раз и часы можно будет купить.

– Нет уж, – говорю. – Сначала мне купим одежду. Я тоже не хочу оборванцем ходить.

Когда пришел отец, мать сказала:

– Глянь-ка, наш Павлушка как отличился. Картину с выставки у него купили.

– Да что ты? – удивился отец. – Ну-ка, ну-ка! Да ты только погляди на него! Красавец! Экипировался, значит! Это какую картину? “Зимний пейзаж”, говоришь? Слушай, да ты везучий, я вижу! Талант! Деньгу зашиб своим трудом. Теперь я за тебя спокоен! Ты свою дорогу нашел в жизни. Я же говорю: искусство должно приносить пользу... художнику! Ха-ха-ха! Ну-ка, покажись, покажись! Дай я тебя поцелую, сыночек!

Брат вертелся перед ним в своем новом костюме, то надевал шляпу, то снимал, то плащ на себя натягивал, одним словом, выпендривался, если говорить на теперешнем языке, а отец все нахваливал его и повторял свою шуточку насчет того, что искусство должно приносить пользу художнику.

С тех пор отец при каждом подходящем случае не отказывал себе в удовольствии погордиться своим удачливым сыном и произносил уже известные монологи:

“Гляди-ка! Талант! “Зимний пейзаж”! Везучий! Деньгу зашиб! Шляпу надел! Обеспеченный кусок хлеба с маслом!..”

И так далее в этом же роде.

Когда же он являлся домой в особенно боевом настроении, он опять же затевал разговор на эту тему, но уже в другом тоне.

“Ты что думаешь, картину продал, так умнее батьки стал? Твой батька езде себя покажет! Шляпу надел! Плевал я на твою шляпу!..”

Словом, разговоров на эту тему хватило на целый год и даже больше.

На другой день мы с братом отправились к колодцу со всем своим золотопромышленным снаряжением и принялись вычерпывать воду в быстром темпе в два ведра. На этот раз уже не брат, а я опустил в колодец и наполнял ведра песком. В общем, мы и на этот раз натаскали песка не меньше, чем в предыдущий, а когда стали промывать, не обнаружили в нем ни одной золотой крупинки... Ни одной! Растерявшись, мы подумали было, что это какое-то “ошибочное явление”, как выразился брат, и промыли весь песок еще раз, однако с тем же отрицательным результатом.

После этого мы уже даже не знали, что думать, а так как оба очень устали, то уселись на край колодца, чтоб передохнуть. От этого, должно быть, колодец и “ухнул” (тоже выражение брата), то есть он не развалился, что тоже могло произойти, а как-то сразу опустился под нами и в одно мгновение стал вдвое ниже, чем был. От толчка мы оба чуть не полетели в колодец и скорей отскочили в сторону. Я почему-то вообразил, что началось землетрясение, и только потом догадался, что, поскольку мы подрыли основание колодезного сруба, он под действием собственной тяжести опустился вниз.

Уже вечерело. Собрав свой золотопромышленный инвентарь, мы ушли, опасаясь, как бы нас кто-нибудь не обвинил в том, что мы укоротили колодец чуть ли не на целый метр против нормы. По дороге домой брат сказал:

– Что за оказия! Почему в тот раз вон сколько золота оказалось, а на этот раз – шиш?

– Должно быть, золотоносный слой кончился, – высказал предположение я.

– Зачем же ему понадобилось так вдруг кончаться? Я понимаю, если бы мы в первый раз побольше добыли, во второй – поменьше, а там и совсем ничего, это было бы понятно. А так непонятно что-то выходит!

– Это легко объяснить, – сказал я. – Если бы мы в первый раз вытащили одно ведро песка и сразу промыли, то было бы

побольше, потом вытащили бы еще ведро – стало бы поменьше; в третьем ведре оказалось бы еще меньше, а в четвертом – совсем бы уж ни крупинки золота. А у нас как получилось? Мы вытащили сразу несколько ведер вместе со всем золотом, а теперь там наверняка ничего нет, хоть до центра земли копай.

– Мы не дураки, чтоб до центра земли, – сказал брат. – Теперь каждому дураку ясно, что надо в другом месте копать.

С ЕДИНОЛИЧНИКАМИ

Брат, однако ж, не стал в тот раз продолжать свои поиски, так как уехал в Киев. Мне же вскоре снова пришлось отправиться к кузнецу, так как он раздобыл где-то железо и нужно было кончать дело с телегой. Дело это снова потянулось в том же темпе, то есть не спеша, поскольку постоянно перемежалось какой-нибудь посторонней работой.

Наконец телега была все же сделана. Упряжь у нас была заранее куплена. Я запряг Ваньку (до этого я достаточно насмотрелся, как нужно запрягать лошадей) и впервые приехал домой на своей, на собственной или, как теперь, наверно, сказали бы, на личной телеге.

Вот!.. А на следующий день выпал снег. Началась зима. Мы поставили телегу под навес и стали думать, где раздобыть сани. Ясно было, что до конца зимы телега нам не понадобится.

Как доставали сани, кому их заказывали или купили готовыми, этого я почему-то не помню. Одно только помню: что в тот период у нас в доме усиленно склонялась пословица: “Готовь сани летом, а телегу зимой”. Ждать все же лета, чтоб начать готовить сани по правилам, предписываемым народной мудростью, отец почему-то не захотел. В один прекрасный день сани (самые простые деревенские деревянные сани с деревянными полозьями) появились у нас во дворе. От этого, однако, течение нашей жизни никак не переменилось. Ванька по-прежнему стоял в сарае и жевал запасенное мною сено или хрупал овес, который отец ежевечерне привозил для него в мешке из города. Если отец

привозил не овес, а отруби, он и от отрубей не отказывался. Все это он делал с таким сосредоточенным, серьезным видом, точно выполнял какую-то наинужнейшую, ответственнейшую работу.

Выезжать работать на лошади отец никак не мог собраться, поскольку возчикам, возившим бревна из леса на станцию, деньги выплачивались не ежедневно, а раз в две недели. Отцу же ежедневно нужно было давать матери на расходы, а тут еще прибавились траты на корм для коня. Двухнедельного запаса денег у отца никогда не было, зато не было и недостатка в пословицах, оправдывавших создавшееся противоречие между имевшимися возможностями и препятствиями к их использованию.

Убедившись, что отец не может взяться за эту работу, я задумал взяться за нее сам. Дело, в общем-то, казалось мне, было нехитрое. Присмотрюсь, что делают другие возчики, и сам буду делать то же, решил я. Одевшись утречком потеплей, я запряг Ваньку в сани и поехал в лес. Дорога была накатанная, сани скользили по ней хорошо. В лесу навстречу мне попадались возчики с бревнами. Эти возчики служили мне ориентирами, по которым я добрался в конце концов до делянки, где, по всей видимости, происходили недавно порубки. На занесенной снегом полянке чернели в разных местах штабеля бревен. У одного из штабелей кто-то из возчиков нагружал свои сани. Я тоже подрулил (на этот раз уже, однако ж, не по дороге, а по снежной целине) к штабелю, который был поближе, и стал накладывать на сани бревна, выбирая не самые тяжелые, а те, что были мне под силу поднять. Нагрузив сани так, чтоб не получилось слишком много, но и не так, чтоб уж слишком мало, я уселся на бревна и стал погонять коня. Ванька дернулся, по привычке, вперед, но, почувствовав, что на этот раз ему придется тащить уже не пустые сани, остановился и больше не двигался с места. Чтоб облегчить тяжесть, я слез с саней, но этим не пробудил сознательности коня. Не помогло также и то, что я сбросил часть бревен, уменьшив поклажу чуть ли не наполовину. Постепенно я убедился, что толстая шерсть, словно слой войлока, защищала коня от ударов и ему, в сущности, было

безразлично, стегают его кнутом или не стегают. В ответ на сыпавшиеся удары он, как говорится, даже ухом не вел.

Что сделаешь? Я выломал из орешника прут или, если сказать точнее, палку и, понукая коня, треснул его хорошенечко этой палкой. Почувствовав, что тут уже что-то новое, Ванька задвигал ушами. После второго удара он вдобавок еще завертел глазами и, уловив боковым зрением, что я снова замахнулся палкой, рванулся вперед, словно стараясь убежать от удара. Сани двинулись. Размахивая палкой, я ухватился рукой за оглоблю, стараясь помочь Ваньке вытащить сани из снежной целины на дорогу.

Здесь мы остановились, чтоб отдохнуть, перед тем как тронуться в дальний путь. Когда же я решил, что пора трогаться, опять возник конфликт, для разрешения которого, в конце концов, снова потребовался такой убедительный аргумент, как палка. К этой веской аргументации приходилось прибегать каждый раз после остановки, а останавливаться приходилось часто, чтоб дать коню передохнуть.

Как-никак мы все же добрались до железнодорожной станции. Здесь приемщик указал мне место, ограниченное двумя парами вбитых в землю шестов, где я должен был выложить в штабель привозимые мной из леса дрова с таким расчетом, чтоб получалась кубическая сажень. Для большей наглядности скажу, что штабель должен был получиться девять аршин в длину, три аршина в высоту, ширина же его определялась длиной бревна (аршин – это старая мера длины, равная семидесяти одному сантиметру). Когда я сгрузил привезенные мной бревна, то увидел, как много понадобится еще труда, чтоб заполнить отпущенное мне пространство. Подумать только: девять аршин, то есть больше шести метров в длину и больше двух метров в высоту!

Я утешил себя тем, что начало все же положено, и отправился налегке домой. День зимний короткий, больше одной ездки все равно совершить нельзя. К тому же надо было обдумать все, с

чем я встретился за день. Я заметил, что все возчики одеты в овчинные тулупы, шапки-ушанки, меховые рукавицы и сапоги. На мне же вместо тулупа было довольно легкое пальтецо, хотя и на вате, но вполне доступное для всех ветров. Шапка такая, что при среднем морозце уже приходилось хвататься за уши. Вместо рукавиц на руках интеллигентские перчатки, не имевшие привычки водить знакомство с какими-то там лесными бревнами. Главное же, на ногах не сапоги, а ботинки. Снега в лесу по колено. Как только сойдешь с дороги, снег попадает под брюки, залезает в ботинки, в носки, а ногам и без того холодно.

Обдумав все, я решил объявить войну неблагоприятным метеорологическим условиям и внести некоторые коррективы в свою амуницию. Попросил мать сшить мне самые примитивные, но теплые рукавицы на вате. Взял старую отцовскую мохнатую папаху, сохранившуюся у него со времен русско-японской войны. Разорвал на части мешок и полученной мешковиной обмотал на следующее утро ноги поверх ботинок. Чтоб мешковина не размоталась, я привязал ее крепко веревками и брюки снизу завязал тоже веревочками, чтоб под них не забирался снег. В такой обуви, в мохнатой бараньей шапке и огромных ватных варежках на руках я имел вид, представлявший собой нечто среднее между турецким башибузуком и Микки-Маусом.

Своим нарядом я поставил было в тупик не избалованных обилием развлечений возчиков, которые сразу не могли даже решить, что лучше избрать объектом для своих шуток: мой вид или моего конягу. Все же лошадиная тема, видимо, была им ближе по духу, поэтому они оставили в покое мой вид и продолжали отпускать шуточки по адресу бедного Ваньки. С этими шуточками я познакомился в первый же день, и они повторялись в дальнейшем почти без вариаций. Обычно кто-нибудь из возчиков спрашивал, кормлю ли я чем-нибудь своего коня или он живет на пище святого Антония; или кто-нибудь с самым серьезным видом делал мне внушение, что коня ежедневно надо кормить, потому, ежели его не кормить, он может подохнуть; или кто-нибудь начинал убеждать меня, что конь мой благородных кровей и его надо

кормить не сеном или овсом, а кашей, лучше всего манной, а поить надо “какавой”.

Особенно донимал меня своими насмешками один кичливый и язвительный возчик, которого звали Ониськой. У него был тоненький, ехидно загнутый крючком, ястребиный нос и скудная бороденка, которая никак не хотела расти на щеках, а пробивалась только на подбородке, представляя собой просвечивающуюся насквозь поросль чего-то среднего между свиной щетиной и собачьей шерстью рыжевато-го цвета. Он, по-видимому, дорожил своей “бородой”, то и дело поглаживал ее рукой, словно желая проверить, не разрослась ли она погуще, о чем, надо полагать, втайне мечтал. Помимо этой смехотворной псевдорастительности на лице и ястребиного носа, он был обладателем пары лошадок, небольших, но очень ладненьких, гладеньких, старательных и смышленных. Они делали все без всякого понукания, сами знали, когда надо тронуться, когда остановиться и куда свернуть. Словно сговорившись между собой, они дружно поднапрягались, когда нужно было вытащить тяжело груженные сани из снежного завала или преодолеть крутой подъем. Хозяин только суетился около них и начинал подбадривать, когда дело и без него было сделано. Создавалось впечатление, что не лошадки при нем, а он при лошадках, и лошадки это хорошо понимали, только помалкивали.

Он, однако, очень гордился тем, что у него такие добрые кони, тем, что на нем такой ладный, теплый тулуп, и меховые рукавицы, и крепкие юфтевые сапоги. Он самодовольно похлопывал кнутовищем по голенищам своих сапог, с превосходством поглядывал на моего Буцефала, и справедливости ради надо сказать, что, с его точки зрения, ему было чем гордиться: он был, что называется, справный мужик... но вредный. Во вредности его характера я убедился при обстоятельствах, о которых сейчас расскажу.

Уже в первый или во второй день своей работы я сделал открытие, что полозья груженных саней при остановках примерзают к накатанной дороге и, чтоб отодрать их в таких случаях, коню

приходится затрачивать слишком много усилий. Поразмыслив как следует, я придумал хороший метод. В сани я обычно клал на всякий случай запасную оглоблю. Перед тем как трогаться после остановки в путь, я подсовывал конец оглобли под сани и, действуя оглоблей как рычагом, встряхивал сани, чтоб примерзшие полозья отодрались от дороги, после чего тут же начинал погонять коня. В результате проведенной рационализации коню легче было сдвинуть груженные сани, и дело обходилось без излишней затраты сил.

Однажды, встряхивая при помощи своего оглобельного метода сани, я заметил, что находившийся неподалеку Онисько с явно выраженным любопытством наблюдает за моими действиями. Проследив за всей этой оглобельной процедурой до конца, он только головой покрутил, пряча ехидную ухмылку в рукавицу и делая вид, что приглаживает свою несчастную бородавку.

Впоследствии я заметил, что возчики, трогая с места, обычно дергают правую или левую вожжу, заставляя коня немножечко повернуть сани. При повороте примерзшие полозья легко отдираются от дороги, и коню уже не составляет особенного труда стронуть сани с места. Я тут же освоил этот прием, и мне вдруг стало понятно, над чем смеялся в тот раз Онисько. Он догадался, для чего мне понадобились все эти сложные манипуляции с оглоблей, да не захотел сказать, что есть более простой способ, о котором каждый деревенский мальчишка знает. В общем, вредненький мужичонка был! Единоличник, если сказать одним словом. Тогда колхозов и колхозников еще нигде не было. А с тех пор как появились колхозы, таких мужичков с подобного рода ехидной единоличностной психологией значительно поубавилось. Работая сообща, люди как-то приучились и более сочувственно относиться друг к другу. Теперь небось кто-нибудь и не поверит в возможность существования таких людей. Но они все же существовали. Даю честное слово! Сам видел.

Постепенно я кое-чему учился, да вся беда заключалась в том, что конь мой был старый, изъездившийся. Если такой справный мужик, как Онисько, мог увезти на своей паре добрых коньков за

один раз чуть ли не целую четверть сажени бревен, то я никак не мог прихватить больше восьмушки. Да и восьмушки, видно, не выходило, потому что я возил да возил уж и не помню сколько дней, а никак не мог выложить полную сажень. Приемщик приходил, приставлял свою мерку и каждый раз говорил, что все еще не хватает. Я не сразу и сообразил, что мой злосчастный, медленно растущий штабель представлял собой то, что теперь принято называть “бесхозный объект”, то есть нечто вроде кормушки для любителей попользоваться тем, что “плохо лежит”. Каждый возчик спешил поскорей выложить свою сажень, сдать ее приемщику и уже больше не думать, что кто-нибудь может стащить из его штабеля хоть бревно. Если какому-нибудь возчику не доставало нескольких бревен, чтоб закончить свою сажень, он без всяких церемоний брал недостающие бревна из моего штабеля, перекладывал в свой, сдавал приемщику и шел получать денежки.

Мамочка, как говорится, родная (с ударением на первом слоге), что со мной было, когда я установил эту истину! Подумать только, что это делали не какие-нибудь голодранцы, не человеческое отребье, не расшалившиеся мальчишки, таскающие яблоки из чужого сада, а вполне взрослые, серьезные, рассудительные, справные мужики, каждый из которых годился мне в отцы и мог чему-нибудь поучить. Да, черта с два они научили бы чему-нибудь хорошему! Первой моей мыслью было – натащить из их штабелей бревен, да я тут же оставил эту затею, так как совсем недавно слышал, как один такой справный мужичок говорил другому справному мужичку:

“Если кто возьмет у меня хоть бревно, то так хрясну по черепу, что мозги вон. И ничего мне за это не будет, потому как – моя собственность. Имею полную праву”.

Они и на самом деле были убеждены, что имеют право убить вора. Так испокон веку деревенские мужики обычно самосудом расправлялись с конокрадами. Убьют – и концы в воду. В то же время для себя они не считали зазорным взять что плохо лежит. Но взять у такого же справного мужика, как он сам, – это одно (это уже негоже, вроде как несолидно), а взять у мальчишки,

который в ответ не мог “хряснуть” как следует, – это и сам бог велел, это уже и не воровство вовсе, это только дурак не сделает.

Вот такая была философия!

К тому времени я измотался так, что впору было все бросить, да жаль было всей проделанной работы. И деньги были нужны. К тому же до полной меры не хватало всего лишь какого-нибудь десятка бревен. Нужно было сделать еще рывок, чтоб закончить эту затянувшуюся “одиссею”. Денек для этого рывка выдался морозный – не по моей худой обуви и одежке. Ехать же пришлось глубоко в лес, потому что с ближних делянок все бревна уже порасхватили проворные возчики. Наконец я отыскал нужную делянку и нагрузил сани. Нагрузил я, разумеется, не десятком бревен, рассчитывая, что если вчера доставало десятка, то на сегодня может создаться такое положение, что будет не доставать и двух десятков. Словом, я положил на сани свою обычную норму, по силам моему коню.

Короткий зимний день между тем подошел к концу. Красное декабрьское солнце клонилось к закату, когда я тронулся в обратный путь. Времени у меня оставалось в обрез. В незнакомой мне части леса я сбился с дороги и поехал не в ту сторону, куда нужно. Ночь застала меня в лесу, и вскоре я понял, что заблудился. Мороз усилился. Я усердно скакал на ходу, стараясь согреть застывшие ноги. Конь, однако ж, уверенно шагал по дороге, и когда я выбрался наконец из леса, то увидел, что попал не к Севериновской улице, по которой ездил обычно, а на дорогу к Киевской улице. Ночь была лунная, и я сразу узнал знакомое место. Для езды с грузом этот путь не был удобен, так как здесь требовалось преодолеть крутой подъем. Выйдя из леса, дорога сразу ныряла вниз, как бы на дно оврага, а потом круто взбиралась вверх. Мы легонечко спустились с горки, а на горку, как я и ждал, конь уже не пошел. Нечего делать, я решил перевезти груз в два приема. Сбросил с саней половину бревен, и мы потащили с Ванькой первую часть груза на гору. Я говорю “мы”, потому что я тоже тащил сани вместе с конем и вдобавок

погонял его палкой. Наверху я опорожнил сани и, завернув коня, спустился за оставшимися внизу бревнами. Вторую половину мы втащили уже, мягко выражаясь, с меньшей резвостью, то есть останавливаясь чуть ли не через каждую дюжину шагов и растрачивая понапрасну силы, чтобы стронуть с места примерзшие сани.

Наконец мы вторично взобрались наверх, и я принялся нагружать перевезенные в первый раз бревна. Сил у меня уже оставалось мало, и каждое бревно казалось вдесятеро тяжелее обычного. От мороза, который забирал все круче, я буквально коченел. Руки мерзли. Пальцы на ногах сначала ныли от холода, потом как бы онемели. Я не ощущал уже, холодно им или тепло, просто не чувствовал, что они у меня есть. Когда же бревна были уложены, хитрый конь, догадавшись, как видно, что я снова увеличил нагрузку, решил объявить так называемую сидячую или, вернее было бы сказать, стоячую забастовку. То есть сколько я ни понукал его, сколько ни колотил палкой, он не двигался с места, решив, очевидно, более выгодным для себя терпеть побои, чем тащить тяжелые сани.

Мороз между тем не дремал. Я чувствовал, что у меня онемели уже не только пальцы на ногах, но целиком все ступни. Появилось ощущение, что я уже не хожу по земле, а как бы порхаю над ней, машинально переставляя ноги. Это необычное, новое ощущение встревожило меня. Я огляделся по сторонам и не увидел ничего, где бы можно было укрыться от холода. Мне стало страшно. Не зная, что предпринять, я схватил оглоблю, встряхнул примерзшие сани и заодно стукнул оглоблей коня по крупу. Конь не то с удивлением, не то с упреком оглянулся на меня, но после второго удара уразумел, видно, что пора кончать “шутки”, и, рванувшись вперед, потащил сани.

Да простит меня Общество покровительства животным! Я сам знаю, что поступил нехорошо. А разве хорошо колотить коней острыми шпорами? Разве хорошо ради одной только моды отрубать ни в чем не повинным собакам хвосты и уши? Разве хорошо резать ножом кур, коров, маленьких телят и цыплят, а потом есть их?..

Хорошо рассуждать, сидя дома, в тепле, а когда приходится туго, уж какие тут рассуждения!

До самой станции мы ехали не останавливаясь. Я топал рядом с санями, не чуя под собой ног (в буквальном смысле). На станции я быстро побросал привезенные бревна на свой штабель, поднял валявшуюся на снегу оглоблю, чтоб положить в сани. Ванька же вообразил, что я хочу огреть его еще раз, и бросился бежать с такой прытью, что я насилу догнал его. Домой он всю дорогу мчался бегом. Да и нечего было медлить.

Дома я налил из самовара в таз горячей воды и сунул в нее обмороженные ноги. Обе ступни были белые как бумага. Я принялся растирать их и разминать руками, стараясь восстановить кровообращение. Чувствительность постепенно возвратилась к ступням. Вместе с ней возвращалась и боль. Кончил я это дело, совершенно выбившись из сил, когда обе ноги покраснели от прилива крови. Я не знал, так ли я поступил, как следовало в подобных случаях, и сделал ли все, что надо. Ноги мои болели страшно, и это пугало меня. Боль, однако, постепенно утихла. Я лег в постель и уснул.

СТРАШНЫЙ СУД

И приснился мне страшный суд. Будто все звери собрались и судят меня. Прокурором, то есть обвинителем моим, на этом судебном процессе выступал Конь. Не потерпевший Ванька, а какой-то другой конь, вообще представитель всей конской породы. А адвокатом или защитником у меня был Осел. Не в переносном смысле осел, а в самом подлинном: то есть самый обыкновенный длинноухий осел. Это было коварство со стороны всей звериной братии — подсунуть мне такого умника в защитники. Да уж ничего не поделаешь: поскольку тут распоряжались не люди, а звери, то и действовали они по своему звериному усмотрению.

— Он должен ответить за все, — сказал в своей речи мой обвинитель. — Это еще пустячки, когда оглоблей бьют. Думаете, коню хорошо, когда его колют острыми шпорами, чтоб он шибче

скакал? А разве сладко приходится, когда клеймят каленым железом? Ведь так прижгут, что испечется кожа и шерсть потом уже не растет в этом месте всю жизнь.

— А это делается, чтоб тебя не украли, — вставил свое слово Осел.

— А ты, длинноухий, молчи, когда не спрашивают! Мне неважно, для чего это делают. Нельзя живую скотину жечь. Он должен ответить и за оглоблю, и за острые шпоры, и за железо каленое...

— А я вам, братцы, скажу, что хуже всего — в неволе сидеть, — сказал Медведь. — Ну, ты поймал меня. Ну, захотел подраться — ударь дубиной или оглоблей и отпусти в лес. А так, на всю жизнь в зверинец, в клетку... В клетке-то два шага вперед да два шага назад. Да ты лучше убей, чем вот так всю жизнь за решеткой держать! Раньше поймают цыган, проделает дырку в носу, вставит кольцо да и водит на цепи с оглоблей по ярмаркам — и то интеллигентнее было! Нет, пусть ответит за все: и за оглоблю, и за кольцо в носу, и за клетку.

— А волкам что за жизнь? — подхватил Волк. — Говорят, волков убивать надо, потому что они обижают бедных овечек. А сами-то что с овечками делают? Зарежут бедную да и съедят. Волк и то лучше. Он овцу съест, так хоть шкуру оставит, а человек и овцу съест, и шкуру на себя напялит. Это как называется? Волк во всем виноват?

— Это у них называется “лицемерие”, — объяснил Осел.

— За такое лицемерие убивать надо! — начала свою речь Лиса. — Нагонят народу человек сто. Флажков в лесу понаставят. Через каждые десять шагов — охотник с ружьем. Выгонят лисичку из леса да и бах из ружья. Так хоть бы ради мяса. А то мясо это и не едят вовсе. Выбросят! А из шкуры горжетку сделают — как будто лисичка целая, даже глаза стеклянные вставят — и носят на шее. Это как называется?

— Это называется “мода”, — ответил всезнающий Осел. — А мода —

все равно что закон.

– Варварство это, а не закон! За такой закон судить его без всякого снисхождения!

– А то еще люди бывают, – сказал Цыпленок. – Он тебе и курицу не зарежет, до такой степени интеллигентный, а курятину любит и шашлыки кушает. А цыпленка (он еще и на свете не пожил) и того слопает. Это как называется?

– А это у них называется “гуманизм”, – авторитетно сказал Осел. – Или, вернее сказать, “гурманизм”, – поправился он. – Не знаю точно.

Тут наступила очередь сказать свое слово Собаке.

– Собака, говорят, друг человека. А сами на цепь сажают. Ну, если я виновата, побей меня, разве я что скажу? А то так, без всякой вины, возьмут да и отрубят хвост, а уши обрежут. Если бы им еще для какой-нибудь пользы мой хвост был нужен. А то так просто. Что это?

– Эстетика, – коротко пояснил Осел.

– Да лучше меня оглоблей, чем такую эстетику! – недовольно проворчала Собака.

– За такую эстетику живьем глотать надо! – прошипел Крокодил.

– А это уже анархия! – парировал Осел. – Сегодня ты меня проглотил, а завтра я тебя. Что же будет?

– Дурень ты, дурень! Если я тебя проглочу сегодня, как же ты сможешь меня проглотить завтра?

Тут заговорили все сразу, весь звериный ареопаг: львы, тигры, слоны, олени, леопарды. Наконец судья зазвонил в колокольчик и обратился ко мне:

– Обвиняемый, признаешь ты себя виновным в том, что бил лошадь оглоблей?

Весь звериный ареопаг уставился на меня глазами. Казалось, как только слово вылетит из моего рта, все, как по команде, бросятся на меня. И, замирая от страха, я пробормотал немеющим языком:

– Признаю.

– Что ты можешь сказать в свое оправдание?

Голос пропал у меня, но язык еще нашел в себе силы сказать:

– Я хотел жить.

– Суд удаляется на совещание, – сказал судья.

От волнения я даже не разглядел, кто был судья и кто входил в состав суда. Скоро они вернулись, но я опять не разглядел или не запомнил, кто это: люди или какие-нибудь звери. Судья огласил приговор, состоявший в основном из какого-то бессмысленного набора слов, что-то вроде следующего:

“Приговор. Именем закона всех зверей. Принимая во внимание. Учитывая положение. Руководствуясь презумпцией закона всеобщего благоутробия. В согласии с согласованным согласовательным согласованием. Виновного считать виновным и приговорить к жизни. Приговор привести в исполнение. Осужденного отпустить на все четыре стороны и злобы на него не питать”.

Пока я видел надвигавшуюся со всех сторон опасность, пока я ощущал необходимость бороться с ней, я как-то держался. Но как только мое существо осознало, что все кончилось и силы для борьбы не потребуются, я упал на землю, почувствовав страшную физическую слабость. Вместе с тем я ощутил, что моральные мои силы тоже иссякли. Слезы стали душить меня. Постепенно мое сознание возвращалось к действительности, и я начал догадываться, что лежу вовсе не на земле среди зверья, а в своей постели. Мать услышала мои всхлипывания и спросила:

– Что с тобой? Чего ты плачешь?

Я умолк и ничего не ответил, сделав вид, что заснул. Я не мог рассказать ей свой сон, так как нужно было бы признаться, что я бил Ваньку оглоблей. И я никогда никому за все эти долгие годы не признавался в том. Вот сейчас признаюсь впервые.

Проснувшись наутро, я быстро побежал на станцию. Я должен был опередить возчиков, пока они не вернулись из леса и не начали растаскивать мой штабель. Разыскав приемщика, я сдал ему выложенную мной сажень. На этот раз недостачи не было. Он выдал мне квитанцию, по которой я получил в кассе шестнадцать рублей, то есть столько, сколько полагалось за вывозку кубической сажени бревен.

Может быть, кто-нибудь думает, что я купил из этой своей первой получки матери цветов, как теперь советуют делать молодым людям, заработавшим свои первые деньги? Нет, я не купил матери цветов. Получка эта у меня была не первая. До этого я уже получал деньги на бетонном заводе, но и тогда я не купил матери цветов. Цветы во множестве росли вокруг. И никому из нас не нужны были цветы. А нужна нам была картошка. Та картошка, которую я вырастил на огороде, уже была съедена, и ее снова нужно было приносить с рынка. А в общем, я не помню, на что ушли эти деньги. Скорее всего, мы их проели.

Проделав весь этот лошадиный опыт, я убедился, что для отца не годится эта работа. Если бы он за нее и взялся, то не смог бы заработать столько, чтоб прокормить семью. Но поскольку мне все-таки хотелось что-нибудь делать, поступить же куда-нибудь на работу не было никакой возможности как из-за безработицы, так и по причине моих недостаточных лет (тогда еще только появлялось кое-где фабрично-заводское ученичество – фабзавуч), то я и продолжал возить бревна на станцию.

Поскольку я уже постиг в то время индивидуалистический характер моих товарищей по работе, моих коллег, моих “братьев” по классу, их мелкотоварный предпринимательский беспардонный дух, то и поступал в соответствии с обстоятельствами. Ставил метки анилиновой краской на своих бревнах. Загонял в бревна с

обратной стороны гвозди и привязывал верхние бревна к нижним проволокой, чтоб их не так просто можно было хапнуть и положить в свой штабель. В общем, как говорится: “С волками жить – по-волчьи выть”. Я не хочу сказать, что в окружавших меня людях было одно только волчье. Это только так называемое присловье. Добывали они хлеб свой своим трудом. Но человеческое проявлялось у них, видно, только в более узком, семейном кругу или в каких-нибудь необычных ситуациях.

Однажды порвался у меня хомут, а шорника в Ирпене вообще не было. Пришлось отнести хомут в Романовку, где был шорник. И вот возвращался я с починенным хомутом из Романовки через лес, и попался мне навстречу Онисько, ехавший на своих жизнерадостных конягах порожняком за бревнами. Увидев меня пешим да еще с хомутом на плечах, он как-то растерянно приоткрыл рот. Остановив коней, он молча провожал меня взглядом, пока я проходил мимо его саней, и только потом уже в спину спросил:

– Что Ванька-то? Подох?

Я не сразу сообразил, что, увидев меня идущим из лесу с хомутом, он, естественно, мог подумать, что конь подох, поскольку по опыту своему деревенскому знал, что такой старый конь не мог прожить долго. И вот он, как и следовало ожидать, как это и бывает обычно с конями, свалился где-то в лесу, чтоб уже никогда больше не встать, я же, прихватив хомут, чтоб его не стащили, отправился доставать у кого-нибудь лошадь, чтоб привезти домой сани. Все это я сообразил в четверть секунды, то есть быстрее, чем об этом рассказываю здесь, и ответил со вздохом:

– Подох.

Онисько как-то испуганно дернул плечами и уставился на меня. Я же, остановившись, пристально смотрел ему прямо в глаза, стараясь разглядеть, как подействовала на него эта новость. И на его обычно самодовольном, ехидно-насмешливом лице я увидел

на этот раз что-то вроде смятения и выражения обыкновенного человеческого сочувствия и участия.

– Как же ты теперь будешь? А? – спросил он.

И в его голосе чувствовалась непривычная душевная теплота.

Я молча повернулся и пошел прочь. Я не ответил на его вопрос, радуясь, что на этот раз он не может посмеяться над моим конем, поупражняться в своем неглубокомысленном остроумии. Пройдя шагов двадцать, я обернулся и увидел, что он все еще смотрит мне вслед со скорбным выражением на лице. Поймав мой взгляд, он сокрушенно покачал головой и что-то пробормотал. Чудак, как видно, воображал, что в нашей семье погиб кормилец, каким обычно в крестьянском хозяйстве был конь. Ему даже не приходило, должно быть, в голову, что Ванька при всем его старании, при всех моих ухищрениях едва вырабатывал на корм самому себе.

Когда на следующий день Онисько увидел меня с Ванькой, запряженным в сани (с живым Ванькой), он только на секунду открыл в удивлении рот, словно хотел что-то сказать, да так и не сказал ни слова. С тех пор я уже не слышал от него ни одной насмешки, ни одной шуточки над моим злосчастливым конем.

Так прошла вся зима. У меня была надежда, что летом конь перейдет на подножный корм: содержание его будет обходиться дешевле. Да летом и работать полегче, уж хотя бы потому, что теплей.

Весеннее солнце растопило снега. Дороги развезло, как говорится, ни на санях, ни на телеге. Но пока дороги не окрепли как следует, с Ванькой и на телеге выезжать было нельзя. Пришлось ему дать отпуск. Тем более что из земли уже полезла травка. Обычно я оставлял дверь сарая, игравшего роль конюшни, открытой. Ванька сам выходил и отправлялся к опушке, расположенной у подножия пригорка роши щипать молодую травку. На ночь он возвращался в сарай, где в кормушке для него обычно было припасено угощение.

Однажды, проснувшись утром, я выглянул в окно и увидел, как Ванька вышел из двери сарая и остановился на самой вершине бугра, откуда ему хорошо были видны и железнодорожная насыпь с промчавшимся по ней стальным конем, и красивая чоколовская дача за насыпью, и прекрасный железнодорожный мост над прибрежными ивами, и чудесная роща внизу с начинающими зеленеть молодыми листочками, и ясное голубое небо с белыми барашками облаков. Он оглядел все это и опустил на землю, подогнув под себя все четыре ноги. Потом лег на бок и...

Тот, кто первый сказал, что конь отбросил копыта, видел, как умирают кони.

Я УЗНАЮ ЕГО ПО ГЛАЗАМ

Шел 1926 год. Находившийся в Ирпене кирпичный завод все еще не восстановили, но километрах в десяти от Ирпеня, недалеко от деревни Яблонки, был другой кирпичный завод, который уже начал работать. Я задумал поступить на этот завод, но нужно было представить справку, что мне исполнилось восемнадцать лет. Поскольку восемнадцати лет мне еще не было, я решил прибегнуть к методу, который, по наивности, считал своим собственным изобретением и только впоследствии убедился, что метод этот давно известен под названием простого арапства. Придя в поселковый Совет, я спросил у сидевшей за столом секретарши (довольно миловидной девушки):

— Можно мне получить справку, что мне восемнадцать лет?

Расчет у меня был такой: если секретарша начнет проверять по книгам и обнаружит, что мне нет еще восемнадцати, то я скажу, что вовсе и не утверждаю этого, а только спрашиваю, можно ли получить такую справку, если же нельзя, то я и не настаиваю. Спросить ведь не запрещается.

Девушка, однако, не стала рыться в книгах, а просто написала красивым почерком нужную мне справку и приляпала в надлежащем месте круглую фиолетовую печать, что было очень мило с ее стороны.

С этой справкой я отправился на следующее утро в заводоуправление, где мне сказали, чтоб я разыскал старшего рабочего, который бегал где-то по заводу, а он уж определит, какую мне дать работу. У работавших на заводе в то время было обыкновение подшутить над новичком, и, когда я спрашивал у кого-нибудь, где старший рабочий, меня посылали туда, где он как раз в это время и не мог находиться.

Пока я искал таким остроумным образом старшего рабочего, я успел немного приглядеться к работе всего огромного заводского организма как в отдельных частях, так и в целом. Все в этом организме начиналось с глинища, то есть с огромной расселины в земле, вроде оврага, на дне которого, словно муравьи, копошились люди с лопатами и копали глину. Со дна глинища был проложен кверху монорельсовый путь, по которому, влекомые стальным тросом, двигались вверх подвесные вагонетки, груженные глиной. Навстречу им по параллельному рельсу в глинище спускались порожние вагонетки. Подвесная дорога, выбравшись на поверхность земли, поднималась на плоскую крышу деревянного строения, где было установлено в горизонтальном положении огромное металлическое колесо, которое, непрерывно вращаясь, тянуло трос с вагонетками. Как только груженная вагонетка попадала наверх, она автоматически отщеплялась от тянувшего ее троса и опрокидывалась. Глина из нее высыпалась. Находившийся тут же рабочий отвозил вагонетку по огибающему вращающееся колесо рельсу и прицеплял ее к тросу с другой стороны, в результате чего порожняя вагонетка начинала двигаться обратно в глинище. Несколько рабочих смешивали лопатами непрерывно поступающую глину с песком (откуда брался песок, я не успел разглядеть) и бросали эту смесь в четырехугольное воронкообразное отверстие в дощатом настиле. На мой вопрос, где старший рабочий, один из этих деятелей ткнул пальцем в сторону воронки, на дне которой вращались навстречу друг другу два железных барабана вроде катков, употреблявшихся при асфальтировании мостовых. Попадавшие в зазор между катками комья глины расплющивались и, проваливаясь вниз, исчезали бесследно.

– Если попадешь в эту воронку, то из тебя наделают кирпичей и фамилии не спросят. Понял? – сказал мне деятель.

Я ответил, что понял.

– А старший рабочий был здесь как-то в прошлом году, да чуть не угодил в эту воронку. С тех пор сюда и не наведывался.

– Почему же меня послали сюда? – удивился я.

– А это ты спроси у того, кто послал.

Спустившись вниз, я снова оказался у строения, из широких дверей которого рабочие вывозили тачки с уложенными на них в два ряда кирпичами из сырой глины. Когда я наконец отыскал старшего рабочего, он сказал, чтоб я взял тачку и тоже возил кирпич.

Тачка – это такая тележка на одном колесе, которую возят, держа за ручки и толкая впереди себя. Обычно тачка снабжается чем-то вроде ящика, в который можно насыпать песок, землю, глину, мусор, вообще все, что нужно перевозить. Но в тачке для перевозки сырого кирпича вместо ящика были прилажены сверху две доски, на которые и укладывался кирпич. Доски эти устанавливались над колесом с таким расчетом, чтоб они сохраняли горизонтальное положение во время движения, иначе кирпич мог с них свалиться. Центр тяжести нагруженной тачки находился, таким образом, значительно выше оси колеса, что создавало неустойчивое равновесие. При малейшей неосторожности тачка переворачивалась, кирпич падал и, шмякнувшись о землю, приобретал такую форму, при которой дальнейшая его обработка теряла всякую целесообразность: из него все равно уже ничего строить было нельзя. Впрочем, с этим явлением я познакомился несколько позже.

Начал я с того, что взял тачку из тех, которые в достаточном количестве валялись неподалеку от пресса (так называлось как самое помещение, так и находившаяся в нем машина для формовки сырого кирпича). С этой тачкой я направился туда же, куда

направлялись другие рабочие с пустыми тачками, то есть к одному из прессов (а их было два). Конечно, я не с первого раза разобрался в устройстве этой машины, но оно заключалось в следующем. Сырая глина, пройдя между двумя вращавшимися под потолком помещения барабанами (их-то я видел на дне воронки вверх), падала вниз и проходила еще через две пары таких же барабанов или вальцов, благодаря чему хорошо разминалась и перемешивалась с песком, после чего попадала в подобие гигантской мясорубки, кончавшейся двумя выходившими в разные стороны мундштуками четырехугольной формы. Из такого мундштука глина вылезала в виде длинного четырехугольного бруска, который скользил по вертящимся валикам и резальному станку. Станок этот представлял собой металлическую тележку с такими же валиками внизу и с устройством в виде гильотины, посредством которой можно было отрезать от непрерывно выходящего из мясорубки глиняного бруска за один раз по три кирпича, сложенные торцом друг к другу. Ножи этой гильотины делались из прочной стальной проволоки и резали глину, словно масло. Отрезав тройку кирпичей, резчик движением рычага отводил тележку вперед, находившаяся по другую сторону станка съемщица брала отрезанные кирпичи и клала на тачку, которую подкатывал в это время к станку тачковоз. Как только тачка была полностью нагружена, тачковоз отбывал с нею, а на его место подкатывал свою тачку следующий тачковоз.

Все это сопровождалось невообразимым шумом. Пыхтела, стонала и ухала находившаяся в соседнем помещении паровая машина, вертевшая не только колесо, тащившее вагонетки из глинища, но и все остальное, что только могло вертеться: валы, шкивы, шестерни, барабаны, приводные ремни, гигантские винты мясорубок, гнавшие со страшным напором глину. Вокруг все стучало, трещало, скрипело, визжало, лязгало, звякало, скрежетало, гремело и грохотало. Земля под ногами дергалась, корчилась. Воздух был наполнен вибрацией, от которой дрожали не только барабанные перепонки в ушах, но и все тело. Это был не просто шум, а нечто пугающее. Казалось, что все вокруг падает, валится, рушится, летит кувырком и вот-вот прихлопнет

тебя.

Первое мое движение было бежать без оглядки от этого шума. Видя, однако, что никто никуда не бежит, что все ведут себя так, будто ничего особенного не происходит, я тоже старался не подавать виду, что испугался, и, когда подошла моя очередь, подкатил тачку к станку, но поставил ее не то слишком далеко, не то слишком близко, а в общем, так, что съемщице неудобно было накладывать на нее кирпич. Съемщица (довольно молодая деревенская дивчина) принялась мне что-то кричать, но из-за шума я не мог разобрать ни слова. Только по выражению лица было видно, что она сердится. Поскольку глина из мундштука все же лезла не переставая, съемщица набросала на мою тачку кирпичи вкривь и вкось, так что тачку клонило набок и ее невозможно было везти.

Отъехав от пресса, я остановился, чтоб уложить поровней кирпичи, но это не понравилось следовавшему за мной тачковозу. Дело в том, что тачку нужно было везти не по земле, а по так называемым гонам. Эти гоны, представлявшие собой длинные железные полосы толщиной в полсантиметра и шириной в десять – пятнадцать сантиметров, были проложены от прессов к катрагам, то есть к длинным строениям в виде барakov, только без стен. Под этими катрагами работали укладчицы. Они снимали с тачек подвозимый тачковозами сырой кирпич и укладывали его столбиками для просушки. Работа была сдельная. За каждую привезенную тачку укладчица выдавала тачковозу жестяной жетончик. По этим жетончикам, сдаваемым в конце рабочего дня табельщику, подсчитывался дневной заработок тачковоза.

Поскольку сдельщина, никто из тачковозов (а все это были молодые, здоровые парни из окрестных деревень) не желал терять времени даром. Пока я возился со своим кирпичом, за мной выстроилась целая вереница тачковозов. Вся эта вереница кричала, изрыгая всяческие проклятия по моему адресу. Я даже не сообразил сразу, что их, собственно, так обозлило. Наконец один из тачковозов, свернув в сторону, прокатил тачку по грунту и въехал на гон уже впереди меня. Его примеру

последовали и остальные тачковозы. Каждый из них, совершив объезд, бросал мне на прощание полный презрения взгляд.

Кое-как уложив кирпич, я тронулся в путь, но уехать далеко все же не смог. От какого-то неосторожного движения тачка перевернулась, поддев меня под ребро ручкой так, что я буквально повис на какое-то мгновение в воздухе. Весь кирпич полетел на землю, превратившись в бесформенную грудку глины. А что удивительного, если вес кирпича на тачке более чем втрое превышал мой собственный вес! При таких обстоятельствах, пожалуй, и лошадь не справилась бы...

Дело, однако, было не в силе и не в весе, а в отсутствии сноровки, навыка. Год спустя я работал тачковозом на ирпенском заводе (он уже был восстановлен в то время) и вполне свободно справлялся с тачкой, наложив кирпич не в один ряд, как было принято, а в два и даже три ряда. Но тогда, в первый день, у меня не было никакого навыка, я растрачивал понапрасну силы, стараясь покрепче сжимать ручки тачки, колесо то и дело съезжало с гона, я старался въехать на него обратно с разбега, что не всегда удавалось, и часто кончалось тем, что тачка опрокидывалась. На меня со всех сторон сыпались проклятия, насмешки, ругань. Я всем мешал...

Для чего я говорю здесь об этом? Какой тут, так сказать, авторский замысел? Какая мораль?

Знаю: многие сейчас упрощенно воображают, что, как только произошла революция, как только установилась Советская власть, все люди сразу, как по сигналу, стали такими хорошими, какими мы их видим теперь, характеры их сразу переменились, все преисполнилось чуткости, внимания и уважения друг к другу. В действительности это, конечно, произошло не сразу. Это процесс медленный, затяжной. Чуткость, внимание, доброжелательность, благоразумие накапливались постепенно и не так быстро, как этого хотелось бы. Даже в наши благословенные дни этого добра еще не везде и не на всех хватает. Я не хочу сказать, что еще и до сих пор где-то что-то еще не так чтоб уж чересчур

слишком. Но есть еще кое-где возможность, так сказать, двигаться в этом направлении.

Кое-кому.

Теперьшний молодой человек хочет, чтоб его тепло встретили, когда он впервые приходит на завод или вообще начинает свой самостоятельный трудовой путь. И мне думается, что он не жаждет оркестров. Мне кажется, что он не ждет от нас громких речей. Я уверен, что он мог бы обойтись без бьющих в глаза и шиающих в нос обрядов, пусть даже новых и утвержденных какой-то авторитетной комиссией. Нехорошо выйдет, если мы начнем воображать, будто все сделали, сыграв на трубах, произнеся причитающиеся речи и совершив какую-то, в общем-то, по самой своей сути ничего не значащую церемонию или обряд посвящения в молодые рабочие или начинающие отцы. Нехорошо потому, что произвести все эти сотрясающие воздух действия гораздо дешевле и проще, чем проявить самую простую, естественную, человеческую, душевную теплоту. Если теплоты этой не будет, если будут одни только трубы, то будет хуже, чем если бы не было и самих труб.

Да простит меня читатель за это “лирическое отступление”.

И я не хочу сказать, что когда-то все было так уж плохо и вокруг были одни только плохие люди. Нет же! Разве каждый из этих сердитых молодых людей был сам по себе чем-то плох? Просто они еще не представляли собой слаженного коллектива, дружной рабочей семьи. Среди них не было товарищеской спайки. Не было и заботы об общем деле. Каждый только и думал, чтоб нахватать побольше жетончиков. И никому в голову не приходило сказать:

“Товарищи, он у нас новенький. Ему трудно. Пусть первое время возит не по две дюжины кирпичей, а по одной. Отвезет пару тачек – получит жетончик. Таким образом, и кирпича меньше загубит и задержек из-за него меньше будет. Завод только выиграет от этого”.

Нет! Никто этого и не подумал сказать. Каждый только ругался. А бешеная Мотька (так звали съемщицу) просто запустила мне в голову тремя кирпичами, которые держала в руках, когда я не успел вовремя подставить тачку. Я, правда, увернулся, так что кирпичи попали не в голову, а в плечо, и было совсем не больно, потому что кирпичи-то ведь были мягкие, из сырой глины. Но разве это дело – в живого пролетария кирпичами швырять? Что я ей, лорд Чемберлен, которого надо было бить за то, что организовал против нас интервенцию? Где ее рабочая честь? Где классовое самосознание? Где международная солидарность? Полная политическая несознательность, одним словом! Если они и были пролетарии, то еще только начинающие, несозревшие. Им еще надо было зреть и зреть, чтоб дойти до кондиции. Так оно и было. Многие из этих парней и девчат пришли на завод с единственной мыслью заработать денег на корову или коня, нужного в их крестьянском хозяйстве... И вдруг тут между ними и этой коровой появлялась преграда в виде неумелого слабака, чикающегося со своей тачкой и путающегося у всех под ногами.

Что ж, так и прошел весь день? Один мрак и невежество? Ни одного светлого пятна? Ни одной доброй души? Ни одного доброго слова?... Нет! Есть чем добрым вспомнить и этот день!

Когда я уже совсем выбился из сил, пытаюсь загнать обратно на гон соскочившее колесо тачки, оказавшийся поблизости гонщик (он прокладывал гоны к катрагам) крикнул:

– Стой, хлопец, ты не так робишь!

И, подбежав, объяснил, что не надо стараться наехать колесом на гон с хода. Надо спокойно поставить тачку, нажать на ручки, чтоб колесо поднялось вверх, и, повернув на подставке тачку, опустить колесо на гон. Таким образом, все обходится без затраты лишних усилий и без риска опрокинуть тяжелый груз.

Я взглянул на гонщика. Парень, может быть, года на два старше меня, с виду – типичный крестьянин-бедняк, на Украине их

называли “незаможники”, то есть у кого, как говорится, ни кола ни двора, что до революции батрачили у богатых крестьян, у помещиков или шли в город наниматься на фабрики и заводы. Одет в ситцевую заплатанную рубаху, штаны с такими же многочисленными заплатками. Худой. Долговязый. Худые длинные руки. Босые ноги с худыми длинными пальцами. Длинное худое лицо. Я только на миг встретился с ним взглядом, но на всю жизнь запомнил его глаза.

Не помню уже, в то лето или в другое я шел как-то из леса и увидел ребятшек, бежавших мне навстречу гурьбой. Впереди шагал высокий парень без шапки. Шапку он держал в руках, бережно прижимая к груди. По серьезным лицам ребят я понял, что произошло что-то важное. В ответ на мой вопрос парень показал мне шапку, в которой сидели желторотые, еще не совсем оперившиеся птенцы. Оказалось, что ребята нашли в лесу гнездо с птенцами и принесли птенцов домой, а парень объяснил им, что они сделали нехорошо, и теперь они идут, чтоб посадить птенцов обратно в гнездо. Что-то в этом парне показалось знакомым мне, но я никак не мог вспомнить что, и, только когда они уже убежали все, я вспомнил. Глаза. У него были те же глаза, что и у моего гонщика, то есть у того парня, который не прошел равнодушно мимо и помог. Мне. Слабому.

С тех пор я много встречал людей. И у многих видел эти глаза. И каждый увидит их у человека, который не пройдет мимо плачущего малыша без того, чтоб не спросить, чего он плачет, может, обидел кто, может быть, заблудился или по мамке соскучился, и обязательно успокоит; утешит, скажет:

“Не надо плакать. Мамочка придет скоро. Утри слезы. Вот так. Все хорошо будет!”

КОГДА ХОЧЕТСЯ К ЛЮДЯМ

Уж и не знаю, как в тот день я сумел дотянуть до гудка. Несмотря на хороший совет, я не одну еще опрокинул тачку и устал до такой степени, что еще чуточку – и просто заплакал бы. А что удивительного? И конь на моем месте заплакал бы.

Если бы кони, конечно, умели плакать.

Но вот прогудел спасительный гудок. Остановилась паровая машина. Повисли до завтрашнего утра вагонетки над глинищем там, где их застал гудок. И кончился весь этот стук и гром. И прекратился крик. И насмешки. И ругань. И все разошлись по домам. А я долго лежал совершенно неподвижно в траве неподалеку от завода. А потом пустился в обратный путь.

На следующее утро насилу оторвался от постели. Все тело мое болело, словно меня пропустили сквозь все эти вальцы или барабаны. Я все же решил не сдаваться. Ведь самый трудный первый день я выдержал и кое-чему научился. Помучусь еще пару дней и буду справляться с тачкой не хуже других. Так думалось мне. Но старший рабочий решил иначе. Утром, когда я пришел на завод, он отвел меня к зданию кирпичеобжигательной печи и сказал:

– Будешь работать мусорщиком.

Мусором здесь назывался шлак, то есть остатки от сгоревшего каменного угля, употреблявшегося для обжигания кирпича. В обязанности мусорщика входило вывозить этот шлак из печи. Тачка для шлака была гораздо устойчивей той, на которой возили кирпич. Поработав с этой тачкой, я по привычке, окреп физически, прошел “обкатку”, так что потом мне уже никакая тачка не была страшна.

С тех пор у меня так и пошло. Я работал и учился. Продирался сквозь дебри тригонометрии, удивляясь тому множеству математических истин, которые можно извлечь из одной такой простой геометрической фигуры, как треугольник. Одолевал по самоучителю немецкий язык, а также ряд дисциплин, объединявшихся тогда под общим названием “политграмота”. В имевшихся у меня программах указывались книги, которые следовало прочитать. Среди них “Манифест Коммунистической партии” Маркса и Энгельса, “Происхождение семьи, частной собственности и государства”, “Роль труда в процессе

превращения обезьяны в человека” и др. Когда я начал эти книги читать, то увидел, что в них говорилось о таких вещах, о которых я раньше даже не думал. Я заинтересовался. В те времена программы по политграмоте еще не были приведены в надлежащую систему, и в них включались произведения, которые теперь читают студенты вузов при изучении диалектического материализма. Так, например, в моей программе было указано, что нужно прочитать введение к книге Ленина “Материализм и эмпириокритицизм”. Я раздобыл эту книгу и был настолько захвачен, что прочитал не только введение, но и всю книгу от начала и до конца. Я, конечно, тогда не все еще понял в этой книге. В ней было много неожиданного для меня. И я увидел, что можно интересоваться не только тем, как устроен мир и из чего состоит вещество, но и как устроено человеческое общество, по каким законам оно живет, в чем причина разногласий между людьми. И я стал читать разные философские книги. И мне стало понятно, почему Сократ когда-то сказал:

“Я решил перестать заниматься изучением неживой природы и постараюсь понять, почему так получается, что человек знает, что хорошо, а делает то, что плохо”.

У приятеля моего брата Толи Буськова отец был художником, вернее, учителем рисования в школе. Он выписывал выходившие еще до революции журналы по искусству: “Аполлон”, “Весы” и еще не помню какие. Брат брал у Толи эти журналы, и они вместе рассматривали репродукции с разных картин, которые помещались в этих журналах. Я тоже любил рассматривать репродукции, но сверх того читал печатавшиеся в журналах статьи. В результате я стал понемногу думать об искусстве и убедился, что брат и Толя рисуют свои этюды не так, как следовало. Они, например, выбирали какое-нибудь место, садились со своими этюдниками и говорили:

– Я буду рисовать в эту сторону, а ты рисуй в ту.

И рисовали таким образом то, что попадало в поле их зрения.

Я говорил им:

– Вы не так делаете. Вы просто срисовываете, что видите перед собой. А это не все, что требуется от художника.

– А что, по-твоему, требуется от художника?

– От художника требуется, чтоб картина его говорила что-то не только глазам зрителя, но и его сердцу, чтоб действовала на его чувства. Дело не в том, чтоб все срисовать точненько. Надо, чтоб картина была живая. Надо, чтоб чувствовалась либо полуденная жара, когда все в природе как бы замирает от зноя, или чтоб чувствовалось дуновение свежего утреннего ветерка, пробегающего по листьям деревьев. Если рисуешь зиму, надо, чтоб чувствовалось, что день морозный: мороз бодрит, а снег так и скрипит под ногами; или, наоборот, оттепель: снег талый, мокрый, тяжелый, из него хорошо лепить снежки. Надо изображать не просто природу, а состояние природы, потому что именно это больше действует на чувства зрителей, чем просто вид.

– Ну хорошо, – говорили они, – а как этого добиться?

– Это достигается в первую очередь выбором места, которое рисуешь, и выбором времени.

– Так и мы выбираем место, – возражали они.

– Надо выбирать место, которое соответствует замыслу картины, – отвечал я, – а вы выбираете место, где вам удобнее сидеть.

Такие мои высказывания выводили из себя моих собеседников. Брат в конце концов просто посылал меня к чертям собачьим, а Толя Буськов говорил:

– Вот ты и выбери, а мы посмотрим.

– И выберу, – отвечал я.

А я между тем уже давно приглядел одно таинственное местечко,

вид которого так и хотелось унести с собой, чтоб показать всем. Что-то в этом виде внушало какое-то необъяснимое чувство... Какое именно? Почему? Каким образом? Вот в этом-то и хотелось разобраться. Это и хотелось понять.

Если идти вверх по течению Ирпеня, то за железнодорожным мостом, неподалеку от деревушки Романовки, река образовала довольно широкую тихую заводь. За этой заводью была сырая, болотистая лужайка, поросшая камышом. За лужайкой – зеленый пригорок с приютившимися на нем беленькими хатками, над которыми чернели верхушки вековых сосен. Я часто приходил сюда с удочкой, потому что на этом месте хорошо клевал окунь. Когда день начинал клониться к концу и дневной жар спадал, над болотистой местностью поднимался легкий туман. Он, словно облако, закрывал пригорок, отчего деревенские хаты вместе с подступавшим к ним вековым лесом казались как бы повисшими в воздухе над водой. Что-то фантастическое, неземное было в этой утопавшей в тумане и тишине картине, что-то волшебное, колдовское. Сердце охватывало какое-то непонятное, щемящее чувство покинутости, заброшенности, одиночества... И хотелось поскорей уйти куда-нибудь, туда, где люди, чтобы не чувствовать одиночества...

И я задавал вопрос сам себе: что же, прийти сюда с красками и кистями и зарисовать этот пейзаж? Так тут ведь не успеешь расположиться, как картина изменится, наступит темнота. Тут, может быть, не раз приходиться надо, не два да еще ловить время, когда будет туман. Может, сначала сделать эскиз, то есть набросок, а потом по памяти писать картину, как художники-передвижники делали? Но они ведь иной раз целый год картину писали, а то и два. К тому же у них мастерство было. Они учились по меньшей мере с десятков лет, прежде чем начать картины писать. Но к чему это теперь, когда изобретена фотография? Можно прийти и сфотографировать этот вид. А где фотоаппарат взять? Может быть, самому сделать?

И вот во мне все уже кипит. У меня идея: сделать фотоаппарат. Научиться фотографировать. Из учебника физики я знаю, что в

принципе фотоаппарат – дело простое. Но при фотографировании надо как-то проявлять пластинки, как-то закреплять, как-то печатать снимки. Требуются специальные сведения, которых в учебнике физики нет. Где взять эти сведения? Ясно: в книжке по фотографии.

У букинистов мне не удалось раздобыть книжки по фотографии. Но прямо-таки за бесценок я купил несколько годовых комплектов старых журналов. Один журнал назывался “Вестник фотографии”, другой – “Фотографический листок”. Там куча различных рецептов проявителей, закрепителей, усилителей, ослабителей, виражей. Целый курс лекций для начинающих. Описание различных систем аппаратов, начиная от новейших усовершенствованных зеркалок и кончая самыми простыми, как их в насмешку называли за их вид, “комодами”, которые не требовали даже наводки на фокус. Тут же таблицы для расчета выдержки, или экспозиции. Как оборудовать фотолабораторию. Как сделать красный фонарь. Как сделать фотоувеличитель. А вот как раз то, что мне нужно: как самому сделать фотоаппарат. Оказывается, действительно дело несложное. Любая деревянная коробка годится, лишь бы не пропускала света. Самая сложная часть в таком аппарате – объектив, но его можно сделать из стекла от простых очков.

В общем, я прочитал обо всем: и о научной фотографии, и о художественной, и о разных курьезных и смешных случаях, происходивших с фотографами, и о том, как снимают “пушкари”, то есть уличные фотографы, аппарат которых представляет собой не только фотокамеру, но и походную фотолабораторию с проявителем, закрепителем и запасом фотоматериалов для изготовления снимков. Как раз на такую “пушку” и смахивает сооруженный мной аппарат! Это просто фанерный, окрашенный внутри черной краской ящик. Впереди у него объектив из стеклышка от очков, сзади – окошечко с матовым стеклом, сбоку – круглая дыра с черным рукавом из двойной светонепроницаемой бархатной материи. Сквозь этот рукав можно просунуть внутрь аппарата руку, вынуть из хранящейся на дне ящика коробки

фотопластинку и поставить ее на место матового стекла. Вот и все. Можно снимать. Предварительно нужно только привести аппарат на снимаемый объект так, чтоб изображение попало на матовое стекло и выдвижением объектива добиться, чтоб изображение вышло четким, не расплывчатым. Конечно, таким аппаратом с рук снимать нельзя, только со штатива. Но и штатив я сделал. Неказистый на вид, но надежный. К толстой треугольной дощечке (головке штатива) прикрепил петлями три деревянные ножки. В центре головки – дыра. Сквозь эту дыру просовывается болт для крепления аппарата к штативу.

Что дальше?

Еду в Киев. Покупаю коробку (дюжину) пластинок. Тогда снимали не на пленке, а на стеклянных пластинках, покрытых светочувствительной эмульсией. Пачку фотобумаги. Метол и гидрохинон для проявления. Специальных фотомагазинов в те времена не было. Все это – и пластинки и бумага – продавалось почему-то в аптеках.

И вот я на своем заколдованном месте, со своим допотопным фотоаппаратом. Укрепленный на треноге аппарат этот напоминает большеголового, тонконового марсианина из романа Уэллса “Борьба миров”. Я явился слишком уж рано. Тумана еще нет. Зато есть время, чтоб обдумать все как следует. Я рассматриваю на матовом стекле изображение воды с отразившейся в ней деревушкой на пригорке. Постепенно мне начинает казаться, что чего-то не хватает в этой картине. Впереди ровная, чистая поверхность воды. Какое-то чутье мне подсказывает, что нехорошо, когда впереди пусто. Пробую выбрать другую точку для съемки. Нахожу такое место, где на берегу растут камыши. Но по-моему, нехорошо получается, когда камышей много. Они заслоняют все остальное. Выбираю такое место, где на переднем плане, несколько сбоку, всего один куст камыша. Окончательно закрепляюсь на этом месте. И волнуюсь. Почему-то волнуюсь.

Тумана нет. Но еще, безусловно, рано. Туман будет. Немного погода. Или его не будет. Тут никто в точности ничего не может

сказать. Высчитываю по таблице выдержку. Предварительно. Ведь снимать не сейчас надо. А освещенность еще может перемениться. Думаю о том, что, может быть, лучше закрыть аппарат, поставить на место матового стекла пластинку, чтоб быть готовым снять, как только появится туман. Но мне почему-то хочется увидеть, как получится изображение тумана на матовом стекле аппарата... Наконец над водой появляется легкое марево. Или мне это лишь кажется? Нет, не кажется. На матовом стекле уже вполне заметна белесоватая дымка. Теперь уже надо спешить. Поскорей закрываю снаружи светонепроницаемой крышкой матовое стекло, просовываю сквозь бархатный рукав внутрь аппарата руку, убираю матовое стекло, кладу его на дно камеры. Уже хочу открыть коробку с пластинками, но тут же спохватываюсь. Объектив-то я не закрыл! Хорошо, что вовремя вспомнил: я же мог засветить все пластинки. Закрываю объектив крышечкой. Ставлю на место пластинку. Вытаскиваю из рукава руку... Кажется, все правильно сделал... Можно снимать.

Осторожно, чтоб не пошевелить аппарат, снимаю с объектива крышечку, отсчитываю секунду (для этого надо произнести слово из четырех слогов. Я произношу “двадцать один” – так все фотографы делают) и тут же закрываю объектив. Снова просовываю руку сквозь рукав, убираю в коробку пластинку, а на ее место ставлю другую. Туман сгустился, и я решил сделать еще снимок, на всякий случай. Уже когда снял, заметил, что поверхность воды в реке совершенно спокойная. Деревенские избы отражаются в ней, словно в зеркале, так что самой воды как будто и нет вовсе. Поставил третью пластинку. Бросил в воду увесистый камень. Пошли по воде круги. Отражение стоявших на пригорке избышек запрыгало, заколыхалось. Делаю третий снимок.

Пожалуй, довольно на первый раз. К тому же туман уже начал закрывать весь вид.

Собрав свое не очень портативное снаряжение, отправляюсь в обратный путь. По дороге волнуюсь. Получится ли что-нибудь у меня? Недоумеваю, почему я решил вдруг отправиться в такой дальний путь, чтоб сделать свой первый снимок. Можно было

снять что-нибудь около дома: проверить, как работает аппарат, как проявлять пластинки, вообще хоть немного освоить это новое для меня дело. Нет! Сразу взялся за выполнение какого-то сложного замысла.

Дома жду, когда наступит полная темнота. Ведь у меня нет специального затемненного помещения для фотолаборатории. Вспоминаю прочитанные мною в журналах рассказы о фотолюбителях, устраивавших свои лаборатории в темных кладовых, чуланах, ванных комнатах, в шкафах-гардеробах, в крайнем случае под столом и даже под кроватью, завешанных со всех сторон одеялами. Я начинаю понимать всех этих чудаков, или, лучше сказать, одержимых (впоследствии и сам не раз оказывался в таком положении): ведь так не терпится удостовериться, вышло ли что-нибудь на твоей пленке или пластинке!

Но вот наконец стемнело. Я уединяюсь в темной комнате. Зажигаю свечу в фонаре с красным стеклом. Купленные мною пластинки нечувствительны к красным лучам спектра. За процессом проявления можно следить при красном свете. Погруженная в проявляющий раствор пластинка кажется при красном свете белой, словно чистый листок бумаги. Я волнуюсь, потому что на этом светлом прямоугольнике не появляется никакого изображения... Спокойствие! Реакция проявления так называемого скрытого изображения происходит не сразу. Требуется время, чтобы жидкость проникла в эмульсию и проявляющее вещество вступило в соединение с частичками бромистого серебра, подвергшимися действию света. Проходит два-три десятка секунд, и на пластинке начинают проступать первые следы изображения. Постепенно начинаю узнавать снятый мною пейзаж. В негативном виде: светлые места, как небо, белые стены изб, туман, яркие блики на воде получают темными и все больше чернеют. Темная земля, трава, темные деревья и их отражения в воде остаются светлыми. Постепенно и на них появляются какие-то детали. Не знаю, как описать охватившее меня чувство. Радость, ликование, но вместе с ними и опасение, тревога: а вдруг что-нибудь да не

так! В общем, и тут волнение, но какое-то другое... Все виды волнения!

Проявляю до тех пор, пока изображение не начинает довольно явственно проступать с обратной стороны пластинки. Теперь, после споласкивания в воде, ее можно опустить в фиксаж.

Наконец все три пластинки проявлены и отфиксированы. И лежат в большом тазу с водой. Промываются. Промывку можно вести при обычном свете. Еще на мокрых пластинках я пытаюсь разглядеть, что вышло. Если смотреть на негативное изображение с обратной стороны (со стороны стекла), то при определенном наклоне темные места на негативе кажутся светлыми и можно уловить изображение, какое должно получиться на отпечатке. Мне кажется, что эксперимент мой удался, но в этом можно быть уверенным лишь после того, как я напечатаю снимки, то есть не раньше завтрашнего дня. Негативам-то ведь нужно просохнуть.

А пока...

Я вспоминаю рассказ об одном художнике, писавшем портрет одной дамы, которая спросила его, о чем он думает, когда пишет.

“Я не думаю, мадам, – ответил художник. – Я волнуюсь”.

Мне кажется, я понимаю этого художника.

Еще придется поволноваться!

А пока... передышка.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Мне везет! Все три снимка с технической, то есть с чисто фотографической, стороны получились удачными. Это значит, что нет ни передержки, ни недодержки, ни перепроявки или недопроявки. Все это у меня еще впереди. Еще будут и передержки, и недодержки, и засветки, и такие казусы, когда снимешь на пустую кассету или забудешь открыть у кассеты шторку, или перепутаешь кассеты и сделаешь два снимка на одной

и той же пластинке...

Многие начинающие фотолюбители обычно сталкиваются с какой-нибудь такой неудачей, и это на всю жизнь отбивает у них охоту заниматься фотографией. К счастью, со мной этого не случилось. Мне, однако, трудно решить, какой из снимков наиболее верно передает мой замысел, то есть то настроение, которое внушает вид одинокой, заброшенной лесной деревушки. Присмотревшись как следует и пообдумав, я отложил в сторону самый последний снимок. Это тот, который я снял, после того как бросил в воду камень. Поверхность воды здесь получилась довольно эффектной, но излишне волнистой, как будто во время бури, тогда как деревья, кусты и прибрежные тростники остаются совершенно спокойными, как при полном безветрии, что как-то не вяжется одно с другим и не дает определенного впечатления.

Второй снимок тоже пришлось отбросить. Я его сделал, уже когда облако тумана над водой расширилось до такой степени, что вышло за края снимка и превратилось в сплошную поперечную полосу, которая словно делила снимок на две части: верхнюю, с лесом, и нижнюю, с водой и отразившимися в ней избушками. Получалось как бы два длинных снимка, разделенных какой-то непонятной белой полосой, что вызвало лишь недоумение.

И только на третьем снимке, то есть на том, который я снял первым, туман еще не разросся вширь и имел вид облачка, плотного посредине и прозрачного по краям. Деревенские избушки просвечивали сквозь это облачко, что придавало им какой-то призрачный, неземной вид. Снимок очень выиграл от того, что на переднем плане получился кусочек берега с кустом камыша. Было видно, что облако тумана находилось позади камыша, а деревня и все остальное – позади облачка. Это придавало снимку нужную глубину. На фото, таким образом, получились лес, река и деревня и даже сам воздух.

Я долго разглядываю этот снимок. Мне кажется, что он внушает то же чувство покинутости, одиночества, которое испытываешь там, на берегу тихой заводи. Если посмотреть на снимок в

увеличительное стекло, то впечатление усиливается. Мне ясно, что надо сделать увеличенный отпечаток... И вот уже моя фотокамера превращается в фотоувеличитель. Если на место матового стекла поставить снятый негатив и осветить с обратной стороны, то на стене можно получить увеличенное изображение, как от волшебного фонаря. Трачу все свои капиталы на покупку бумаги большого формата, ванночек для проявления, нужных химикалиев.

Увеличенный снимок наконец готов, и я показываю его брату и Толе Буськову.

Они долго мрачно смотрят на снимок.

– Да-а, – говорит наконец Толя, нарушая затянувшееся молчание.

В голосе его, однако, слышится одобрение. Я думаю, что это начало более распространенного высказывания. Но в разговор вмешивается брат.

– Фотография – не искусство, – изрекает он.

Из статей, напечатанных в журналах, я знаю, что фотография имеет множество применений. Может применяться и для научных целей, как, например, микрофотография или аэрофотосъемка. Или для фотографирования при археологических раскопках. Или для съемки следов преступления при судебных расследованиях. Может иметь просто прикладное значение. По фотографии, например, нагляднее можно представить себе африканскую саванну, норвежский фьорд или исландский гейзер. Такие снимки могут быть очень полезны в книжке по географии. Но бывает фотография художественная. А художественная фотография – тоже искусство. Она, как и каждое искусство, может действовать не только на ум, но и на чувства.

Все это я стараюсь растолковать моим собеседникам, но брат говорит:

– Фотографию каждый дурак снять может.

– Допустим, – соглашаюсь я. – А что это доказывает?

Брат начинает объяснять, что это доказывает, и у него получается, что если каждый дурак может заниматься фотографией, то каждый, кто занимается фотографией, – дурак.

Неожиданный вывод, я бы сказал. У нас начинается спор, где ни одна сторона ничего не может доказать другой стороне. Тогда такие споры были не редкость. В те времена живопись переживала, как принято говорить, кризис. С тех пор как появилась фотография, художники уже не могли рисовать свои картины, выписывая все подробности и детали, так как с этой задачей фотография справлялась гораздо быстрее и лучше. Чтобы их картины чем-то отличались от простых фотографий, многие художники стали писать размазисто. Но фотографы быстро доказали, что и они могут снимать размазисто. Тогда художники начали прибегать к разным фокусам. Появились различные футуристы, кубисты, пуантилисты, суперматисты, беспредметники (теперь они называются абстракционистами). Кубисты рисовали людей в виде комбинации кубов, шаров и цилиндров, пуантилисты рисовали свои картины разноцветными точечками или мазочками, суперматисты изображали нагромождения различной длины черточек и прямоугольничков, а беспредметники рисовали так, чтоб вообще невозможно было понять, что нарисовано. Слова “фотограф”, “фотография”, “фотографичность” считались у них ругательными словами. А когда появилось кино, они стали и его ругать и говорили, что кино – это тоже не искусство.

Странное существо – человек! Еще в каменном веке это существо начало выдалбливать на камне рисунки, чтоб помочь рукой своей памяти, помочь своему мозгу сохранить нужные образы, не дать им забыться. А потом, когда это существо изобрело способ сохранять нужные образы без того, чтоб мучительно долбить камень или кропотливо выписывать их красками, оно сказала, что это уже не искусство.

Какое дитя, рисуя свои примитивные картинки, не мечтало о том, чтоб эти картинки двигались, были как живые? Но постепенно,

становясь взрослым, дитя привыкало к тому, что картинки не могут двигаться. А когда появилась возможность делать движущиеся картины, это ставшее взрослым дитя сказало, что такие картины – не искусство.

Когда на смену немому кино пришло кино звуковое, сам Чарли Чаплин (великий Чаплин!) проклинал это новшество и утверждал, что, заговорив, кино перестанет быть искусством. Для понимания, какие новые огромные возможности дает кинематографу живое человеческое слово, гениальному Чарли Чаплину не хватило гениальности.

Не будем, однако, ошибки отдельных людей приписывать человечеству. Хотя предубеждение против фотографии держится в какой-то степени до сих пор, человечество все же широко пользуется ею. Не стоит придавать значения тому, что о ней говорят слишком много мнящие о себе художники. Недаром сказано, что дураком можно оказаться на любом языке. Можно снять фотографию, которая будет пробуждать в нас добрые чувства, можно написать картину, которая вызовет лишь омерзение. В конце концов нашлись художники, которые сами начали заниматься фотографией. И нужно сказать, что из них получались неплохие мастера этого дела, так как они обладали уже какой-то изобразительной культурой. А овладев фотографией, они могли идти работать в кино, становились кинооператорами. Ведь в своей основе кино – не что иное, как живая, движущаяся фотография.

В то время, о котором я пишу, уже были сняты такие советские кинофильмы, как “Броненосец “Потемкин”, “Красные дьяволята”, “Аэлита”, “Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков”, “Мисс Менд”. Уже в любом захолустье, куда мог добраться киномеханик с кинопередвижкой, помещавшейся в чемодане, люди могли увидеть игру таких замечательных артистов МХАТа, как И.Москвина (в фильме “Коллежский регистратор”), как М.Чехова (в фильме “Человек из ресторана”). Уже появились кинокомедии с участием Игоря Ильинского (“Закройщик из Торжка”, “Папиросница от Моссельпрома”, “Шахматная горячка”)...

Хотя это были еще только немые фильмы, уже никто не спорил, искусство кино или не искусство, но зато горячо спорили, каким должно быть советское киноискусство. Подобно тому как было образовано “Общество друзей радио”, возникло “Общество друзей советского кино” – ОДСК. На членском билете ОДСК были начертаны слова Ленина, сказавшего, что из всех искусств самым важным для нас является кино. Члены ОДСК собирались на просмотры новых кинофильмов, обсуждали их, устраивали дискуссии. Не только кинодеятели, но и люди разных профессий, простые зрители могли высказывать свое мнение о просмотренных фильмах. Отчеты об этих обсуждениях публиковались в печати. Казалось, в деле кино были заинтересованы все: и те, кто его делал, и те, для кого оно делалось. Так оно и было. Так и должно было быть.

Если театр, как сказал Гоголь, является такой кафедрой, с которой можно сказать миру много доброго, то и кино является кафедрой, но с еще большей аудиторией. Мне также хотелось сказать миру хоть сколько-нибудь доброго. Но в чем заключается добро – это надо было узнать. Надо было учиться.

Как раз незадолго до этого Киевское училище живописи и ваяния было реорганизовано в художественный институт, в котором, помимо живописного, скульптурного, архитектурного и полиграфического факультетов, имелось киноотделение, готовившее кинооператоров и художников-декораторов для кино. На это киноотделение я и решил поступить, без всяких колебаний распрощавшись с мыслью поступить в Политехнический институт.

ТАЙНА РАСКРЫТА?

Начав заниматься фотографией, я уже не мог это дело бросить и все оставшиеся у меня деньги тратил на покупку пластинок, фотобумаги и нужных химикалий, так что в конце концов остался буквально (прошу простить за не слишком изящное выражение) без штанов. Вернее сказать, без собственных штанов, так как штаны на мне все же были, но не собственные, а государственные. Короче сказать, я ходил в полученной мной на заводе спецовке,

имевшей довольно непрезентабельный вид.

Помню, отец почему-то был дома и как-то по-особенному, внимательно посмотрел на меня, и на лице у него появилось выражение, словно он сделал неожиданное для себя открытие.

– Слушай, – сказал он мне, – да ведь ты у нас, оказывается, невезучка!

Я даже опешил вначале, потому что уж никак не считал себя обиженным в чем-то судьбой. Учеба моя шла хорошо. У меня было увлекательное занятие, дававшее мне глубокое удовлетворение, я бы даже сказал – ощущение счастья. Работать я перешел на ближний завод, и свободного времени оставалось больше. Еще на первом заводе я вступил в профсоюз, и у меня был уже солидный (по тем временам) стаж. Сам отец очень гордился своим профсоюзным стажем, а вступил он в члены профсоюза железнодорожников, еще когда работал в железнодорожных мастерских. Так что, по моим понятиям, у меня все складывалось довольно благоприятно, и я был просто озадачен таким заявлением отца.

– Почему невезучка? – с недоумением спросил я.

– Да вон Павлушка, смотри, в профшколе учится, картину продал, экипировался, а ты...

У меня так и чесался язык сказать, что никакой картины Павлушка не продавал, что ему, правда, повезло однажды с золотом, но на таком везении никаких разумных расчетов строить нельзя, потому что с тех пор он перекопал чуть ли не весь участок, но ни одной крупиночки золота так и не нашел.

Я, однако, удержался и ничего не сказал отцу. Брату же я говорил, что золото, очевидно, залегает на большой глубине и для его разведки надо копать поглубже или бурить скважины, на что брат отвечал, что он не дурак, чтоб бурить скважины, потому что если повезет, то золото можно найти и на поверхности, а если не повезет, то тут хоть бури, хоть не бури

– все равно ничего не найдешь.

– А если ты дурак, то бери и бури, – предлагал он мне.

У меня, должен признаться, к тому времени интерес к золотоискательству почему-то совсем пропал и не было охоты не то что бурить, а даже копать.

А на следующий день отец поехал в Киев и случайно встретил Апельцына, который рассказал ему, что Павлушка продал ему золотой песок. Домой он вернулся в этот день рано и был мрачный, как грозовая туча. Не сказав никому ни слова, он полез в шкаф, достал шкатулку, вынул из нее уже известный нам флакончик с щепоткой золотого песка. Убедившись, что золотой песок на месте, отец, однако, не успокоился, а помрачнел еще больше и метнул в сторону брата испепеляющий взгляд.

“Вот и молния! – пронеслось у меня в голове. – А сейчас будет гром”.

– Говори, мерзавец, где ты взял золото? – загремел отец, не выпуская из рук флакончика.

– Ка-а-кое золото? – заикаясь от испуга, пролепетал брат.

– Которое ты продал Апельцыну. Ты где его взял?

– Ах, это... – протянул, овладев собой, брат. – Ну, я взял его там, где и ты.

– Там, где и я? – возмутился отец. – У меня нет никакого золота!

– А это что у тебя в руках?

Отец встряхнул флакончик, который все еще продолжал держать в руках, и сказал:

– Этот песок я привез из Сибири.

– Знаем, из какой Сибири, – с насмешкой ответил брат.

– Где же я, по-твоему, его взял, если не в Сибири?

– В колодце.

– В каком колодце?

– Ну, в нашем колодце. В каком же еще?

– А-а... – протянул отец и раскрыл рот, словно вытащенный из воды окунь. – А... а ты, значит, песок, который отвез Апельцыну, достал из колодца?

– Из колодца, – подтвердил брат. – О чем же я тебе толкую?

– А какое же ты имел право брать песок из колодца? Ты его положил туда, что ли?

– А ты, что ли, его туда положил? – парировал брат.

– Да, если хочешь знать, именно я его туда и положил. А ты что думал?

– Я думал... Что я думал? – растерянно пробормотал брат, как бы спрашивая сам себя. – Я думал, там золотиносная жила.

– Что? Золотиносная жила?!

Отец вдруг расхохотался так громко, что я заподозрил, не спятил ли он с ума.

– Варя! – закричал отец, зовя мать, которая была занята чем-то во дворе. – Послушай, что этот пентух придумал!

Отец всегда называл брата пентухом, когда сердился. Когда мать пришла, он рассказал, что Павлушка умудрился выудить из воды золотой песок, который они вместе с ней бросили в колодец на счастье в день своей свадьбы.

Не помню, чтоб мать была очень огорчена этим обстоятельством. Еще прошлой весной мы продали ставшие ненужными нам телегу, сани, конскую упряжь и купили хорошую молодую дойную козу. Эта

коза давала очень вкусное молоко, а есть могла все: и траву, и сено, и осыпавшиеся с деревьев осенние листья, и хлебные корки, и картофельные очистки, и капустные кочерыжки. Нынешней весной она родила козленочка, вернее, козочку. Они обе, и коза и козочка, бегали за матерью, как собачонки. А матери словно доставляло удовольствие заботиться о них.

Выслушав юмористический рассказ отца про золотonosную жилу, мать ушла к своим козам. Отец же стал допытываться у брата, почему ему пришло в голову лезть в колодец. Брат ответил, будто я сказал, что в колодце есть золотые слитки. В результате отец переключил свое внимание на меня и стал спрашивать, откуда я взял, что там золотые слитки. Я ответил, что сам впервые слышу про золотые слитки и никогда о золотых слитках не говорил, а если и говорил что-нибудь, то только о серебряных слитках, которые перевозили в почтовом вагоне на поезде, а какие-то не то бандиты, не то экспроприаторы отцепили вагон, слитки переложили в телегу и ускакали с ними на тройке лошадей, а потом полиция целый год искала этих похитителей и только одного из них поймала, а он сказал, что слитки бросили в колодец.

— В наш колодец? — удивился отец.

— Да почему в наш! — ответил я. — Мало ли колодцев на свете.

— Просто какая-то чушь, ерунда, сапоги всмятку! — ворчал недовольно отец. — Золотonosная жила, серебряные слитки, экспроприаторы, полиция... Какая сейчас может быть полиция!

— Так это же не сейчас, а при проклятом старом прошлом еще, — ответил я.

Отец только рукой махнул, но тут же спохватился.

— А деньги, которые ты получил от Апельцына, где? — обратился он к брату.

— Деньги на мне, — ответил Павлушка.

– Это как понимать?

– Ну, на мне. – Брат похлопал себя рукой по пиджаку, по брюкам.

– А-а... – понимающе протянул отец. – А ты говорил, картину продал. Ты продал картину?

– Да ну вас с картиной! – с досадой ответил брат. – Теперь не старый режим. Теперь буржуев нет, и никакой дурак тратить деньги на картины не станет.

– Как это так?

– Да вот так.

– Чушь какая-то, – начал было снова отец, но тут же махнул рукой и больше к этой теме не возвращался.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО

Штаны, или, вернее сказать, более или менее приличный костюм мне все же пришлось купить, так как наступила пора сдавать экзамены в институт, куда я не мог явиться в простой рабочей спецодежде. Да и со спецодеждой, беря расчет на заводе, я вынужден был распроститься. Пришло время волнений, известных каждому, кто когда-нибудь куда-нибудь поступал. И пусть не думают теперешние абитуриенты, что тогда поступить в институт было легче, что конкурсы были меньше. То был период, когда всех обуяло стремление чему-нибудь учиться. Поступала не только молодежь, получившая среднее образование, – поступали кадровые рабочие, которые в дореволюционные годы не имели возможности учиться, теперь закончившие рабфаки; поступали бывшие военные, демобилизовавшиеся из армии и успевшие пройти нужную подготовку.

Признаюсь, что больше всего я боялся экзаменов по рисованию, так как совсем не готовился к ним. Экзаменов этих было три: рисунок с натуры, рисунок по памяти и вольная композиция в цвете. Когда я узнал, что только на рисунок с натуры дается

целых пять часов, я воспрянул духом. За пять-то часов, думалось мне, я уж что-нибудь да намалюю. Никогда в жизни на рисование больше двадцати минут за один присест я не тратил. Мне повезло в том отношении, что я познакомился с ребятами, учившимися на подготовительных курсах, имевшихся при институте. Большинство из них обычно успешно проходило приемные испытания, так как усваивало манеру преподававших на курсах институтских профессоров. Этим профессорам нравилось иметь последователей, иметь, так сказать, “свою школу”, а сами они рисовали так, чтоб фигуры или предметы были словно вырезаны из картона, как у художника Матисса, или представляли собой как бы соединение водосточных труб, вроде как у художника Фернана Леже, и притом еще, чтобы как бы разваливались на куски, как у Пикассо. Манеру эту нетрудно было усвоить, – требовалось только пойти на компромисс со своей совестью тому, у кого уже установились какие-то взгляды на искусство, но поскольку мои взгляды еще не определились и я тогда не знал, в чем заключается искусство живописи, и думал, что оно, может быть, и заключается в том, чтоб выворачивать вот так наизнанку предметы, и поскольку к тому же я не собирался сделаться живописцем, то мне, в сущности, все равно было, как рисовать.

На фотокиноотделении, куда я поступил, все ребята отличались какой-то одержимостью, приверженностью к своему делу. И это как бы само собой объединяло, сближало нас. А может, это была просто молодость вообще. Уж очень мы любили поболтать, порассказать друг другу о разных случаях из своей жизни, главным образом с юмористической окраской, поговорить о кино, о театре, вообще об искусстве. Многие не расходились по домам тотчас после занятий, а оставались, чтоб порисовать в мастерской, поснимать в павильоне, проявить в фотолаборатории материал или просто потрепаться (это тогдашний жаргон) с товарищами. Часто темы разговоров не исчерпывались тут, а продолжались еще и на улице, по дороге домой.

Однажды, когда я шел с одним из своих товарищей, Виктором

Конотопом, по Большой Подвальной, он вдруг предложил:

– Зайдем к Женьке Зотову.

О своем знакомстве с Зотовым Виктор мне никогда не говорил, но сказано это было так, словно я должен был знать, о ком идет речь. Я сказал, что, когда учился в приготовительном классе гимназии, у нас был мальчишка по фамилии Зотов. В самом начале года он имел несчастье стащить у товарища очаровавший его мальчишечью душу перочинный ножичек. За это его тут же исключили из гимназии. Он бежал из дому, добрался до Одессы, пробрался тайком на корабль и пустился в дальнее плавание.

– Это он, – сказал Виктор.

Я почувствовал, что совершил оплошность, сболтнув то, что Виктор мог и не знать о своем знакомце. Боясь, как бы не сделать и еще глупость, я сказал:

– А хорошо получится, если я вдруг приду? Такая встреча может быть для него неприятна.

– Вся эта история ему дорого обошлась, – сказал Виктор. – В конце концов он вырос честным человеком, но в нем живет чувство вины и какая-то неуверенность в себе. Хотелось бы, чтоб он убедился, что его детской ошибке сейчас значения уже никто не придает, что все это осталось в прошлом. Когда его мать узнала, что мы вместе учимся, то просила затащить тебя к ним. Она, кажется, знает твоего отца и тебя, кажется, где-то видала.

Мы поднялись на второй этаж и очутились в квартире, напоминавшей нашу бывшую квартиру на Марино-Благовещенской улице, но более обжитую, где каждая вещь как бы срослась со стенами и что-то говорила о ее хозяевах. Я был до крайности удивлен, как мало могло измениться лицо восьмилетнего мальчишки, превратившегося в долговязого худощавого юношу, или, вернее было бы сказать, молодого человека. Хотя прошло больше десятка лет, я его сразу узнал. Тот же непокорный вихор

на лбу. Те же светлые, почти не приметные на лице брови. Открытый взгляд приветливых серых глаз и робкая, привычная, словно застывшая на губах улыбка. Непривычны были только его большие, подвижные, как у музыканта, руки и острые, худые коленки, обрисовывавшиеся под материей брюк, когда он сидел на низком кресле.

Разговор завязался так, будто мы расстались только вчера. Я расспрашивал о морях и странах, где ему пришлось побывать. Он рассказывал скромно, без того превосходства, которое встречается у “старых морских волков” перед сухопутной крысой вроде меня, которая знает море только по учебнику географии да по романам Жюль Верна. Я спросил, что он делает сейчас. Он сказал, что работает кочегаром на паровозе, в море уходить не собирается, так как хочет поступить на рабфак, но побаивается, что не одолеет алгебры.

Я ответил, что бояться нечего, так как я задумал снять учебный фильм: “Пять уроков алгебры для отстающих или непонимающих”.

– Так это еще жди, когда ты снимешь, – ответил он.

– Ждать не надо. Я тебе расскажу содержание, и ты все поймешь.

В это время в комнату вошла женщина. Мне показалось, что я ее уже где-то видел. Виктор сказал:

– Мария Гавриловна, это Коля Носов.

Приветливо улыбнувшись и протянув мне руку, она сказала:

– Мы, кажется, с Николаем Николаевичем уже немножко знакомы. Вы помните?..

– Я помню чудное мгновение, – ответил я, сразу вспомнив обстоятельства нашей встречи, как только услышал ее голос.

А обстоятельства были такие. Я смотрел концерт из-за кулис, куда меня привел отец лет десять назад. На сцене артист, которому я от души желал провалиться под пол, старательно

исполнял романс Глинки на слова Пушкина “Я помню чудное мгновенье...”. В это время в противоположной кулисе появилась молодая красивая женщина... та, которая сейчас стояла передо мной. Услыхав мой ответ, она залилась счастливым смехом и сказала:

– Я вижу, вы точно помните. А я правда была тогда хороша собой?

– Вы и сейчас не хуже, – ответил я.

– Вы дамский угодник! – продолжая смеяться, сказала она. – А тогда смотрели на меня волчонком. Вы были такой хорошенький маленький гимназистик, и мне так хотелось приласкать вас!

Она ласково взъерошила волосы на голове Женьки, сидевшего в кресле и со своей застывшей улыбкой слушавшего наш разговор. Мне вспомнилось легкое прикосновение ее теплой ладони к моей макушке. Тогда. Там. За кулисами.

– Вы зачем смотрели на меня волчонком? – строго спросила она.

– Я вас принял за артистку, – ответил я. – А я с тех пор, как был малышом, очень боялся артисток, потому что, как только попадался им на глаза, они тотчас бросались меня целовать.

– Но теперь вы уже не боитесь артисток? – спросила она.

– Теперь не боюсь, но теперь они почему-то уже не бросаются целовать меня.

Этот ответ насмешил всех, а меня самого, как это случается с некоторыми остротами, больше всех.

Она сказала:

– Вы, я вижу, как и прежде, любите посмеяться. Тогда вы, кажется, чуть не упали от смеха со стула у нас на представлении.

– Вы наговариваете на меня, Мария Гавриловна. Я не чуть не

упал, а просто свалился со стула на пол.

Она позвала нас пить чай. За столом спросила о моем отце. Я сказал, что у отца дела плохи. С тех пор как распался квартет, он играет со своим приятелем в кабачке.

Главная же беда – пьет.

– Что пьет? – спросил Женька.

– Ну, не чай, конечно, – развел я руками.

– Это я понял. Я в том смысле спрашиваю, водку пьет или легкие вина.

– Пьет водку и от легких вин не отказывается. Это зависит от того, чем угостят захмелевшие посетители. А у них страсть: как только напьются, сейчас же музыканта угостить.

– Да, это нехорошее для него место, – сказала Мария Гавриловна.

– А куда он пойдет? В драматические актеры не годится. Петь не может.

– Почему петь не может? – спросил Женя.

– Чтоб петь, надо голос иметь, – говорю.

– Как же он пел в квартете?

– Так квартет как строится, – начал объяснение я. – Там четыре голоса: первый тенор, второй тенор, баритон и бас. Первый тенор, баритон и бас могут выступать соло. Это красивые голоса. А у него второй тенор. Что называется, ни два, ни полтора. Высокие ноты, как первый тенор, он брать не может, низкие ноты, как баритон, тоже не может. В квартете партию второго тенора он может вести, а для сольного выступления не годится. Петь, конечно, можно, только слушать нельзя.

– А что он до этого делал?

– По-моему, он всю жизнь пел да на гармошке играл. Правда, одно время работал на железной дороге. Зимой лопаты делал, но это ему не нравилось. Летом кочегаром на паровозе ездил. Это, кажется, ему было больше по душе.

– Почему же сейчас на паровоз не идет?

– Сейчас, говорит, безработица.

– Какая безработица? – махнул рукой Женя. – Сейчас транспорт развивается. Мы покупаем паровозы в Швеции. Получаем новые сормовские паровозы. В депо требуются кочегары, машинисты, помощники машинистов.

– Хорошо, что ты сказал. Надо будет сказать ему, – ответил я.

– Мамуся, – обратился Женя к матери, – Коля собирается снять научную кинокартину “Алгебра в два счета для дураков”. Он поможет мне одолеть эту науку.

– А вы хорошо учились по алгебре в школе? – спросила Мария Гавриловна.

– Хуже некуда! – ответил я. – Но это как раз и ценно, потому что я теперь знаю, на чем обычно спотыкаются изучающие этот предмет. А вообще – это не наука, а, как говорил Манилов Чичикову, в некотором роде совершенная дрянь, чепуха, выдуманная, чтоб пугать маленьких детей. А взрослому человеку надо только растолковать, в чем секрет фокуса, глядишь – и самого фокуса нет: просто ловкость рук, мыльный пузырь, просто фу-фу, как говорил Чичиков.

– Это ты уж загнул, – сказал Виктор. – Про мыльный пузырь Чичиков не говорил.

– Но про фу-фу говорил?

– Про фу-фу говорил. Это точно, – согласился Виктор. – И еще он говорил: “Какой же русский не любит быстрой еды?”

Этой шуткой он до слез рассмешил Марию Гавриловну, которая только и делала, что подсовывала нам чего-нибудь поесть, и, казалось, была очень довольна, что мы с Виктором уписывали все с истинно студенческим аппетитом.

О многом мы болтали в тот вечер. Прощаясь, Мария Гавриловна просила нас с Виктором приходить. И это была не просто вежливость.

Я возвращался в студенческое общежитие, где тогда жил, и у меня было такое чувство, словно я возвращаюсь из своего прошлого, из своего детства, куда так неожиданно для себя вдруг попал.

ТАЙНА

Обычно по субботам я приезжал на воскресенье домой. И не только для того, чтобы побыть с родными, но и, как говорится, в рассуждении, чего бы покушать, потому что жили мы с братом на одну стипендию. На одну в буквальном смысле слова, так как стипендию получал только я. В те времена стипендиями обеспечивали не всех студентов подряд, а лишь членов профсоюзов, рабочих с производственным стажем, беднейших крестьян, так называемых незаможников. Брат же ни под одну из этих категорий не подходил.

На этот раз у меня еще была цель: поговорить с отцом относительно появившейся возможности поступить работать на железную дорогу. Я не знал, как приступить к этому разговору, потому что отец не любил, когда его, как он выражался, начинали учить жить. В эту субботу к тому же отец явился домой с новыми проклятиями по адресу своего постоянного невезения. На этот раз невезение заключалось в том, что его приятель Демка решил окончательно вернуться к себе в Венгрию. Неодолимая сила уже давно тянула его в родные края. Распадался, таким образом, еще один процветавший “художественный ансамбль”. Подыскать замену такой бесшабашной головушке, как Демка, по всей очевидности, было трудно.

Я подождал, когда отец понемногу уgomонится, и начал разговор издаleка.

– Тебе Мария Гавриловна велела кланяться, – говорю.

– Какая Мария Гавриловна?

– Зотова.

– А, это у которой с сыном что-то случилось?

– Ничего, – говорю, – с ним не случилось. Объяехал на пароходе полсвета, теперь на железной дороге работает кочегаром. Доволен. На паровозе, говорит, лучше. Не то что в море!

– Да уж, конечно.

– Только не каждого туда и берут, – говорю. – Я, помню, хотел на железную дорогу хотя бы путевым ремонтным рабочим устроиться, – не взяли. Сказали, что только членов профсоюза железнодорожников принимают. Это законно, по-твоему? Чтоб стать членом профсоюза железнодорожников, надо на железной дороге поработать, а чтоб поработать на железной дороге, надо членом профсоюза железнодорожников быть. Заколдованный круг!

– Ну, на железной дороге свои правила, – сказал отец. – У членов профсоюза железнодорожников привилегии. Бесплатный проезд, например. Напринимай всех в профсоюз, а потом катай всех бесплатно!

– Ну и получили пиллю! – говорю. – Паровозов в Швеции накупили. Машинисты требуются, кочегары, а их нет. Вот и стоят паровозы без дела...

– Какая чепуха!

– Вот тебе и чепуха! – говорю.

Мать вмешалась.

– Ты бы пошел, – говорит. – Хотя, – она махнула рукой, – тебя

не возьмут.

– Это почему же? – вскинулся отец.

– От тебя винищем за версту разит. Разве пьянице паровоз доверят?

– Какой же я пьяница? Если выпью когда, то разве что для компании.

– Все алкоголики так говорят.

– Ну вот: я уже алкоголик! Я член профсоюза железнодорожников. Меня не имеют права не взять.

– Какой же ты член?

– У меня профсоюзный билет есть.

– Так там уже забыли, что у них такой член. Ты и членских взносов не платишь.

– Я безработный. Имею право не платить.

В общем, разговорная машина была пущена в ход, и в конце концов уже не мать говорила, что отцу надо на паровоз идти, а отец матери.

В конце концов он все же пошел в депо, где встретил многих старых знакомых. Его приняли на должность кочегара. Отец попросился на нашу линию, то есть на линию, которая шла через Ирпень. Когда я в следующий раз приехал домой, малыши, то есть Лялька и Бобка, ходили надувшись от гордости, словно два индюка.

– Папка будет на паровозе работать! – таинственно сообщил мне Бобка и, переглянувшись с Лялькой, добавил: – Видал миндал?

Это такое присловие было у отца. Малыши подхватили его и теперь к каждой своей фразе добавляли этот “видал миндал”.

– Будет машинистом! – сказал Бобка.

– Видал миндал! – ответила Лялька. – Кочегаром!

– Ну, сначала кочегаром, а потом машинистом. Видал миндал?

– Видал миндал! – ответила Лялька. – В машинисты сразу не берут. Сначала помощником машиниста.

– Ну, помощником машиниста, а кто главнее, по-твоему, машинист или кочегар?

– Конечно, машинист.

– Много ты понимаешь! Кочегар важнее. Видал миндал?

– Смотрите на него! Видал миндал! Машинист управляет машиной!

– А без кочегара паровоз все равно не поедет. Вот тебе и видал миндал!

Не зная, что сказать, Лялька просто дала Бобке по шее, спросив при этом, видал ли он миндал.

Бобка ответил ей тем же и тоже спросил про миндал. Некоторое время они просто тузили друг друга и только было слышно:

– Видал миндал?

– Видал миндал?

В это время пришел отец и спросил, из-за чего шум. Драчуны бросились к нему со слезами на глазах.

– Вот скажи, кто главнее на паровозе: машинист или кочегар? – перебивая друг друга, спрашивали они.

– Оба главнее, – попробовал отшутиться отец.

– Нет, ты скажи.

– Я и говорю. У машиниста свои обязанности, у кочегара – свои.

Ты, наверно, думаешь, что у кочегара только и дела, что уголь в паровозную топку лопатой бросать? – спросил он Бобку.

– Да, – наивно отвечал Бобка.

– Как бы не так! А за температурой кто должен следить? Кочегар! А за давлением в паровом котле? Опять кочегар. А колосники кто должен прочистить?

– Какие колосники?

– Подрастешь – узнаешь! – не вдаваясь в подробности, ответил отец. – А трубы продуть? А нагар снять? А запас воды в тендере сделать?

– А разве воду в тендере возят? – спросила Лялька.

– А ты думала, в чайнике? – рассмеялся отец. – А каменный уголь в топке разжечь? Вы, может быть, думаете, что уголь в топке как дрова в печке – сунул спичку, они и горят?

– А разве нет?

– Вот я вам принесу с паровоза кусок угля. Вы его бросьте в печку. Увидим, загорится он у вас или нет.

На следующее утро, заслышав грохот колес проносящегося по мосту поезда, малыши с визгом выскакивали из дома и, остановившись на пригорке у края обрыва, махали руками вслед пронесившимся поездам.

Я в тот день в институт не поехал, сейчас уже не помню почему. Кажется, простудился и прихворнул. Малыши учились во вторую смену и после обеда убежали в школу. Днем пригородные поезда ходили редко. До наступления темноты из Киева должен был пройти еще только один трехчасовой поезд. Мать что-то шила, пристроившись у окна. Я заметил, как она не то нетерпеливо, не то тревожно поглядывает на стрелки стенных часов. Потом накинула на плечи свое ветхое осеннее пальтецо, пошла в сарай и вывела на пригорок козу. Была поздняя осень. Трава на

пригорке увяла. В окно я видел, как коза опускала голову вниз, нюхала увядшую траву, потом поднимала голову кверху и заглядывала в глаза матери, будто хотела спросить, зачем она ее сюда привела.

Но вот со стороны моста слышался грохот. Выскочив из-за прибрежных ив, поезд помчался по железнодорожной насыпи. Мать подняла руку, словно хотела поправить платок на голове, застенчиво огляделась по сторонам и робко помахала рукой навстречу приближавшемуся паровозу. Из окошечка паровозной будки кто-то высунулся и замахал рукой, в которой трепетал на ветру зеленый железнодорожный флажок.

Отгрохотал, затих исчезнувший за поворотом дороги поезд. Мать вернулась домой. Украдкой вытерла набежавшие на глаза слезы. Я сделал вид, что ничего не заметил.

В ту же ночь выпал снег и уже не сходил с земли до самой весны. Были морозы и оттепели. Были метели, и вьюги, и снежные заносы, задерживавшие движение поездов.

И прошло полгода. И снова была весна. И покрылась новеньким зеленым ковром земля. И зазеленели свежей весенней зеленью деревья вокруг.

И было ослепительное апрельское утро. Мы с отцом шли на станцию. Он ехал на работу, я – в институт. И он сказал:

– У меня сегодня торжественный день. Уже не кочегаром поеду, а помощником машиниста. Теперь уже смело могу сказать, что трудности позади.

– Трудно было кочегарить? – спросил я.

– Кочегарить было нетрудно. Трудно было человеком стать.

– Как это? – сделал я вид, что не понял.

– Все тянуло к старому, понимаешь! Спасибо, мать помогла!

– Как же она помогла?

– В первый же день она вышла на бугор перед домом и помахала рукой. И не знаю, почему эта картина так взволновала меня. На следующее утро у меня было, однако ж, такое настроение, что впору бросить все и пойти обратно в этот вертеп с его пьяным угаром, к которому я привык за столько лет. Но я задумал: поеду еще раз; если мать выйдет снова, значит, такова судьба – останусь на паровозе.

– И она вышла?

– Вышла. И представь себе: с тех пор каждый раз – и в снег и в мороз, и в метель и в дождь – что бы ни было, она выходит на пригорок и машет рукой. Теперь вот – поверишь? – уже месяц меня совершенно не тянет к вину. И я знаю: больше уже и не потянет. Я свободный человек. Поезжу годик помощником и стану машинистом. Так что все впереди! И запомни: мы чувствуем, что счастье было, когда оно уходит от нас. Но не чувствуем, когда оно есть. Не надо гневить судьбу. Я счастлив.

– Вот видишь, как вышло, – сказал я. – Пока ты верил, что тайна на дне колодца принесет счастье, оно отворачивалось от тебя. А теперь, когда на дне колодца нет тайны, счастье пришло.

– Почему же теперь нет тайны?

– Ну, мы с Павлушкой золото вынули.

– Золото вынули, а тайна осталась, – ответил отец. – Когда в день нашей свадьбы мы с матерью бросили в колодец это золото, каждый из нас задумал желание, и мы дали обещание прийти в день нашей золотой свадьбы, то есть через пятьдесят лет, к колодцу и сказать друг другу, что каждый задумал.

– И вам ни разу не хотелось сказать, что вы задумали?

– Хотелось, конечно. Терпеть трудно. Но сказанное легко забывается. А то, что нужно хранить в тайне, помнишь крепче.

Вот мы и терпим оба. И хочется дожить, чтоб сказать...

Так мы разговаривали в тот раз.

И я навсегда запомнил тот разговор.

И куда бы я ни поехал с тех пор, где бы я ни был, я вижу картину.

Я вижу мчащийся по рельсам поезд. Я вижу пригорок и стоящую на краю обрыва маленькую женщину. Она машет рукой поезду, уносящемуся вдаль.

Я вижу старый колодец. И я вижу мужчину и женщину с белыми, словно в снегу, головами. Они идут по зеленой траве, взявшись за руки. Так ходят маленькие детишки, боясь потеряться в этом странном мире, где мы с вами живем. Я вижу, как они подходят к дряхлому полуразвалившемуся колодцу и долго стоят с непокрытыми головами. И я вижу, как он наклоняется и что-то шепчет ей на ухо. И я вижу, как, обхватив его за шею руками, она что-то шепчет в ответ. Но я не слышу, о чем они говорят. Это тайна.

     (Голосов: **14**. Рейтинг: **2,71** из 5)

 Загрузка...